АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1973

СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). К теории синтаксических отношений 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. В. Колшанский (Москва). Функции паралингвистических средств в языковой коммуникации 16
Н. И. Жинкин, В. Н. Соболев, Л. Н. Хромов (Москва). Работа гортани при произнесении интервокальных смычных глухих согласных в русском языке 26
Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая (Ленинград). О фонетических характеристиках заударных флексий в современном русском языке . . . 37

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. П. Дульзон (Томск). Происхождение падежных аффиксов алтайских языков 50
Л. А. Гиндин (Москва). Проблемы античной балканистики 64
Б. Б. Ходорковская (Москва). Корневой перфект и структура глагольного корня в латинском языке 79
Л. Н. Макарова (Киров). К истории аффрикат в русском языке 87

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

С. К. Кенесбаев, А. Т. Кайдаров (Алма-Ата). Казахское языкознание за 50 лет 99

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

З. М. Петрова (Ленинград). Вопросы изучения лексики русских народных говоров 109
Н. Д. Арутюнова (Москва). Проблемы синтаксиса и семантики в работах Ч. Филлмора 117

Рецензии

Ю. С. Степанов, М. А. Кумахов (Москва). «Энгельс и языкознание» 125
В. Н. Ярцева (Москва). *В. М. Солнцев.* Язык как системно-структурное образование 130
И. А. Дзендзелевский (Ужгород). «Mały atlas gwar polskich». I—XIII 134
В. И. Кодухов (Ленинград). *Б. Н. Головин.* Язык и статистика 138
А. А. Смольевский (Ленинград). *Е. А. Реферовская.* Синтаксис современного французского языка. Сложное предложение 142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 147

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), *Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Р. А. БУДАГОВ

К ТЕОРИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1

Специалисты считают, что от Платона и Аристотеля до наших дней согласие между философами разных направлений всегда было исключением, правилом же — несогласие [1]. Почти то же можно сказать и о лингвистике в ее историческом движении, в частности, и о синтаксических теориях. Расхождения начинались и начинаются уже с обоснования того, что такое синтаксис и какими методами его следует изучать. Не до конца ясными и сложными остаются отношения между синтаксисом отдельного языка, синтаксисом родственных языков и типологическим синтаксисом. Еще менее разработана теория взаимоотношений синхронии и диахронии в синтаксисе. И это несмотря на бесчисленное количество публикаций по отдельным синтаксическим вопросам тех или иных языков.

Допустим, что синтаксис отдельного языка — понятие достаточно определенное; тогда как же следует толковать синтаксис ряда родственных языков? Как расширяются границы синтаксиса при типологическом его изучении?

Дело в том, что синтаксис двух родственных языков обычно во многом бывает несходным даже тогда, когда морфологически эти языки мало чем отличаются друг от друга. В современном португальском языке бытуют формы личного инфинитива, неизвестные испанскому языку. В свою очередь испанский язык лишь формами pretérito anterior морфологически отличается от португальского, тогда как синтаксические системы обоих языков во многом и существенном несходны. Времена испанского глагола, морфологически почти совпадающие с временами португальского глагола (исключение pretérito anterior), синтаксически функционируют в двух языках неодинаково. Следовательно, при сравнительном изучении родственных языков синтаксические проблемы приобретают особое значение. Как увидим, сама природа синтаксиса обусловливает необходимость функционального к нему подхода.

Проблема формы и содержания является центральной в синтаксисе. Здесь эта проблема уточняется как проблема формы и функции или как проблема формы и функции содержания формы. То или иное решение этой центральной проблемы обычно приводит к прямо противоположным выводам.

Синтаксические конструкции нередко рассматриваются абстрактно, в изоляции от многообразных форм материального наполнения этих конструкций в каждом конкретном языке. Одновременно в наши же дни, теперь уже все чаще и чаще, проводятся опыты построения «контекстно-чувстви-

[1] Т. И. Ойзерман, Главные философские направления (Теоретический анализ историко-философского процесса), М., 1971, стр. 3.

тельных грамматик» [2], в которых прослеживается разное поведение и разная функция синтаксических конструкций, находящихся в прямой зависимости от конкретного материала языка. В этом случае лингвисту уже совсем не безразлично синтаксическое поведение частей речи в зависимости от их семантики, например, глагола *скудеть* в русском языке: *озеро не скудеет рыбой*; *в сердце не скудеет нежность*. Семантика глагола *скудеть* оказывается «чувствительной» к тем или иным синтаксическим построениям, как и сами подобные построения — к семантике глагола [3].

Но здесь сейчас же возникает другая, еще более сложная проблема. Как понимать зависимость синтаксиса от лексики? Быть может, лексика — это содержание синтаксиса? Синтаксис — форма, а лексика — содержание? Нужно с самого начала подчеркнуть, что это совсем не так. При всей важности постоянного и систематического взаимодействия синтаксиса и лексики, лексика не является содержанием синтаксиса, подобно тому как и синтаксис — не форма лексики. В последующих строках будет сделана попытка показать, что синтаксис располагает с в о и м и с о д е р ж а т е л ь н ы м и к а т е г о р и я м и, обнаружить которые можно в процессе изучения функций синтаксических категорий [4].

На протяжении ряда десятилетий в лингвистике неоднократно возникал спор о том, существуют ли в индоевропейских языках «пустые предлоги» (обычно без кавычек) или не существуют. При этом под пустыми предлогами понимаются предлоги, не имеющие самостоятельного лексического значения. Так, например, один из самых распространенных французских предлогов — предлог *de* считается пустым (иногда к нему присоединяют и предлог *à*), а предлоги, например, *pour* «для» или *jusque* «до» — знаменательными [5].

Для теории синтаксиса характерна сама постановка вопроса о пустых предлогах. В многочисленных работах на эту тему все сводится к тому, имеет ли тот или иной предлог в конкретном языке лексическое значение или не имеет. Если самостоятельного лексического значения у предлога обнаружить не удается, то он объявляется пустым. Насколько мне известно, до сих пор никто не сформулировал вопроса иначе: почему, собственно, отсутствие лексического значения должно превращать предлог в пустой? Разве синтаксическая функция предлога (часто весьма важная) — это пустая функция? Получается, что исследователи ищут категорию значения только в сфере лексики, лишая синтаксис своих содержательных категорий. Это, разумеется, неправомерно.

Предлог *de* в таких аналитических языках, как французский или английский, действительно не имеет никакого лексического значения, но он располагает важнейшими синтаксическими значениями, выполняя многообразные синтаксические функции в словосочетаниях и предложениях. «Пустота» в лексическом плане оборачивается «заполненностью» в синтаксическом плане. При всей важности взаимодействия лексики и грамма-

[2] Подзаголовок «Опыт построения контекстно-чувствительной грамматики» имеет, например, книга Е. И. Шендельс «Многозначность и синонимия в грамматике», М., 1970.

[3] Между тем еще в 1937 г. Р. Карнап утверждал, что «значения слов совершенно несущественны для синтаксиса» (R. C a r n a p, The logical syntax of language, London, 1937, стр. 3).

[4] Т. П. Л о м т е в (см. его статью «Вопросы выбора глагола» в сб. «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972, стр. 343) утверждает, что «правила вхождения лексики» в структуру предложения относятся не к лексикологии, а к синтаксису. Это верно. Но автор тут же подчеркивает, что в случае изгнания лексики из синтаксиса произойдет «оскудение синтаксиса как науки». Вопрос о том, имеет ли синтаксис свои содержательные категории, при такой постановке вопроса остается открытым.

[5] G. G o u g e n h e i m, Y-a-t-il des prépositions vides en français?, в его кн.: «Études de grammaire et de vocabulaire français», Paris, 1970.

ки их нельзя смешивать, нельзя не различать. К тому же подобное смешение обедняет понятие синтаксиса, лишая его своих, весьма существенных, содержательных категорий.

Известно, что в некоторых романских и германских языках имеется особая форма длительного настоящего времени. Действие, передаваемое подобной формой, обычно мыслится как ограниченное во времени. Поэтому можно, например, сказать *The man is standing in the garden* «Человек находится в саду», но нельзя сказать *The house is standing in the garden* «Дом стоит в саду», так как дом обычно не может стоять в «ограниченном периоде времени». Создается впечатление, что все определяется только лексикой, как будто бы подтверждая тем самым схему: лексика — содержание, синтаксис — форма.

Конструкция «длительного настоящего» (в английском, в испанском и в некоторых других языках) действительно обобщает сотни случаев, подтверждающих семантику этого времени. Оно ограничено в своей протяженности. Само по себе подобное обобщение не зависит от лексики. Лексика может лишь ограничить сферу употребления длительного настоящего, не допустить его распространения на те или иные словосочетания, но лексика не в состоянии опровергнуть синтаксическую семантику этого времени. Поэтому, когда говорят, что длительное настоящее означает настоящее, ограниченное определенным периодом (ср. в испанском *trabajo* «я работаю», но *estoy trabajo* «я работаю в данное время»), то выявляют синтаксическую семантику, в типовом отношении не зависящую от лексики. И это естественно. В синтаксисе имеется своя категория содержания, как имеется она и в лексике. Эти категории соотносительны, но отнюдь не тождественны.

Совсем недавно между специалистами возникла полемика, насколько романские языки (в первую очередь испанский и итальянский) отличаются от английского в сфере употребления описательных форм, передающих семантику глагольной длительности. Х. Мэрченд, в частности, утверждал, что английский язык более строго, чем языки романские, дифференцирует глаголы допускающие и глаголы, не допускающие описательные формы [6]. Его оппоненты показали, что это не так. В итальянском, например, возможно построение типа *stava rimestando* «я вспоминал» («находился в состоянии воспоминания»), но аналогичная конструкция едва ли возможна с глаголом *dire* «говорить» [7]. Хотя синтаксическая конструкция и находится во взаимодействии с семантикой разных глаголов, но подобная семантика выступает в своем категориальном обобщении (допускаются одни типы глаголов, не допускаются другие типы глаголов), характерном для синтаксиса. Через «голову», казалось бы, отдельных глаголов синтаксис взаимодействует с определенными типами глаголов.

Категория принадлежности в современном французском языке передается, как известно, чаще всего с помощью предлога *de*: *le livre de Pierre* «книга Петра». Но в старофранцузском (до XIV в.), где аналогичная конструкция тоже уже была широко распространена, многое зависело от семантики второго имени существительного. Если речь шла о неодушевленном имени, встречалась уже эта конструкция, если же речь шла об имени одушевленном (прежде всего о человеке), то предлог *de* еще не употреблялся. Отсюда различие, бытовавшее в старом языке: с одной стороны, *la table de bois* «деревянный стол» (современная конструкция), с другой — *la nièce le duc* «племянница герцога» (несовременная конструкция, где отношение выражено старым косвенным падежом и где еще нет предлога).

[6] H. Marchand, On a question of aspect, «Studia linguistica», IX, 1955.
[7] A. Hatcher, M. Musa, On a certain pattern, «La linguistique», 1970, 1.

Старофранцузская «конструкция принадлежности» была более дробной, менее обобщенной, чем современная конструкция. Но и старофранцузская конструкция уже обобщала определенные типы значений. Понятия одушевленности и неодушевленности в грамматике выступают как понятия категориальные.

Итак, как правило, в синтаксис «вмешивается» не семантика отдельных слов, а семантика определенных (более общих или менее общих) категорий.

Возможна и ситуация иного рода. Известно, что в большинстве романских языков перфектная форма глагола передает значение завершенного действия. Практически, однако, во многих литературных текстах перфект может сочетаться с наречиями и наречными оборотами, имеющими противоположное значение (повторяемость действия). Например, у Сервантеса в «Дон Кихоте» (т. 1, гл. 5) «muchas veces le *aconteció* á mi señor» «Много раз это *случалось* с моим господином» (буквально: *случилось*, но *много раз* придает глаголу значение неоднократности). В итальянском у Мандзони («Обрученные», гл. 8): «*invitó* poi piú volte Lucia» «затем много раз он *приглашал* Лучию» (буквально: *пригласил*). Во французском у Мопассана («Милый друг», гл. 3): «plusiers fois *il dit* tout haut» «много раз он *говорил* громко» (буквально: *сказал*).

Опровергают ли подобные примеры категориальное значение романского перфекта (законченность действия)? Нет, не опровергают. В подобных случаях особенно необходимо различать лексическое и синтаксическое значения. Романский перфект сохраняет свое категориальное значение законченности действия, но лексика, в приведенных примерах с помощью наречного словосочетания *много раз*, осложняет это значение. Создается взаимодействие синтаксического и лексического значений, которое временно может «перетянуть» в ту или иную сторону, но не свести на нет своеобразия каждого из этих двух типов значений. К тому же количественное соотношение между типичными и нетипичными употреблениями перфекта выражается примерно в пропорции 9 к 1. Имеется в виду «средний» разговорный тип речи, с колебаниями в ту или иную сторону в разных языках и в разных стилях [8]. Вместе с тем приведенные примеры свидетельствуют о том, что синтаксическое значение, даже на одном синхронном «срезе», подвижно и может осложняться под влиянием стилистических тенденций языка и индивидуальной манеры крупных писателей. И все же нет никаких оснований отрицать основное значение грамматической формы, грамматической конструкции, как это теперь часто делают: оно сохраняет свою категориальную определенность.

2

Следует различать два понятия: специфику синтаксиса и автономность синтаксиса. Обычно считают, что признание первого неизбежно вызывает и признание второго [9]. Это не так. Синтаксис, безусловно, имеет свою специфику, вместе с тем он не автономен, он постоянно и глубоко взаимодействует с морфологией и словообразованием, с одной стороны, с лексикой, лексикологией и стилистикой — с другой. Но синтаксис сохраняет свою позицию.

Уже в 30-х годах об автономности синтаксиса писал Л. Теньер. Он утверждал, что такие внешне совсем несхожие конструкции, как *liber*

[8] См. об этом: Р. А. Будагов, Проблема семантики перфекта во французском языке, «Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та», Серия филол. наук, 5, 1941.

[9] См., например, главу «Автономность синтаксиса» в кн.: V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943.

Petri «книга Петра» и *le livre de Pierre*, относятся «к одному и тому же синтаксическому явлению», так как в обоих случаях выражается «одно и то же значение принадлежности» [10]. При подобной постановке вопроса возникает опасность сведéния автономности синтаксиса к универсальности логических отношений. Собственно от синтаксиса ничего не остается. Становится совершенно неясно, что же должен изучать, в частности, сравнительный синтаксис, если различия в структурных отношениях между языками его интересовать не могут. Рецидивы подобных взглядов встречаются и в наши дни у тех ученых, которые отождествляют логические и синтаксические отношения [11].

Совсем недавно М. И. Стеблин-Каменский писал, что по существу нет принципиального различия между логическим истолкованием предложений типа *Шопот. Робкое дыхание* и предложений типа *Шопот наличествует. Имеющее место дыхание характеризуется робостью* [12]. Но синтаксису совсем не безразлично, как выражается одно и то же логическое содержание. Больше того. Различие в специфике языковой передачи логического содержания и образует «душу» синтаксиса — и в том случае, когда подобное различие обнаруживается в пределах одного языка (разные типы предложений), и в том случае, когда речь идет о несходстве между разными языками (межъязыковые синтаксические расхождения). Совершенно независимо от поэтической интонации двух первых предложений они образуют в самом языке особый тип, который надлежит тщательно исследовать в синтаксисе.

Было бы несправедливо считать, что несходство синтаксических структур вообще не имеет никакого отношения к логике и семантике. Сравним построения типа *Ученик пишет*, *В доме тишина* с построениями иного типа *Я никуда не пойду*, *Только с тобой*. Вслед за новой грамматикой русского языка необходимо признать, что предложения первого типа сами передают определенное сообщение, тогда как предложения второго типа ясны лишь в определенной ситуации и могут оказаться не вполне ясными в другой ситуации [13].

Специфику синтаксиса надо искать не в изоляции синтаксиса и не в стремлении отождествить синтаксис и логику (в чем же тогда специфика каждого?). Специфика синтаксиса определяется его функцией: передавать и выражать мысли и чувства людей средствами, которыми он располагает (разумеется, наряду со средствами, находящимися в распоряжении лексики, морфологии, фонетики, интонации и т. д.). В этом отношении синтаксис не автономен. Как и язык в целом, синтаксис всегда находится на службе самого человека, его мыслей и чувств, его «коммуникабельности».

Остановимся еще на одной новейшей попытке обосновать автономность синтаксиса. Исследователь сравнивает французские словосочетания *le kilo de raisin* «килограмм винограда» и *l'air de famille* «семейное сходство» и утверждает, что предлог *de* выполняет в обоих словосочетаниях «одну и ту же функцию принадлежности». Кто же усматривает здесь разные функции предлога *de*, тот, по мнению этого лингвиста, растворяет синтаксис в семантике и смешивает его с лексикой [14]. Как и в работах Теньера

---

[10] L. Tesnière, Comment construire une syntaxe, «Extrait du Bulletin de la faculté des lettres de l'Université de Strasbourg», 1934, стр. 229.

[11] О синтаксических взглядах Н. Хомского я не говорю, так как они резко меняются каждые два-три года. См.: Ch. Hockett, The state of the art, The Hague, 1968, особенно стр. 105—106.

[12] М. И. Стеблин-Каменский, Называние и познание в теории грамматики, ВЯ, 1971, 5, стр. 36.

[13] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 541.

[14] F. François, De l' autonomie fonctionnelle, «La linguistique», 1970, 1, стр. 11.

30-х годов, здесь делается попытка отделить синтаксическую функцию от функции семантической и тем самым обосновать «автономию синтаксиса».

Чтобы понять, в чем неправ этот современный исследователь, необходимо вновь вернуться к взаимодействию формы и содержания в синтаксисе. В словосочетании *le kilo de raisin* предлог *de* передает отношение количества, в словосочетании же *l'air de famille* тот же предлог *de* выражает уже другое отношение — определительное. Если согласиться с Ф. Франсуа, что «это одно и то же», тогда снимается проблема взаимодействия формы и содержания. Именная модель с предлогом *de* становится универсальной. Между тем разграничение таких понятий, как «отношение количества» и «определительное отношение», не может привести к смешению синтаксиса и лексики, так как каждое из этих двух отношений обобщает сотни отдельных количеств (*кило винограда*, *кило яблок*, *кило гвоздей* и т. д.) или сотни отдельных определительных отношений (*семейное сходство*, *духовное сходство*, *физическое сходство* и т. д.). Понятие количества и понятие определения выступают здесь в своих обобщенно-синтаксических значениях и уже этим отличаются от аналогичных понятий в лексике.

Здесь же возникает другая проблема — многозначность синтаксических средств языка. Выполняя разные синтаксические функции, один и тот же предлог *de* формирует разные синтаксические конструкции. Среди этих функций обычно выделяется основная, наиболее типичная и характерная, подобно тому, как и в полисемантическом слове обычно выделяется его центральное значение, наиболее распространенное в данную эпоху.

Вопрос о дроблении синтаксических категорий на своеобразные подкатегории, так же, как и вопрос о «потолке» обобщений в каждой синтаксической конструкции, сложен. Здесь нет и не может быть общих рецептов. Необходимо исследование материала отдельных языков, групп родственных и неродственных языков. В свое время Потебня прекрасно показал, что значат отдельные подкатегории в общей системе творительного падежа в славянских и некоторых других индоевропейских языках. Творительный места, времени, орудия, образа действия, причины и некоторые другие были им установлены на материале конкретных языков [15]. Творительный места или творительный времени выступают как подкатегории общей категории творительного падежа, а сам творительный падеж — как частная разновидность падежа вообще. И здесь возникает проблема п р е д е л а д р о б л е н и я одной категории на ее видовые разновидности.

У самого Потебни были и колебания: где проходят границы одного падежа? Не образуют ли разновидности творительного падежа самостоятельные падежи? Напрашивалась аналогия с полисемантичными словами, отдельные значения которых иногда, в определенных условиях, откалываются от основных значений слов. И все же Потебне удалось миновать опасные рифы на пути этого трудного исследования и блестяще показать сложное и многогранное соотношение общего значения падежа и его частных разновидностей.

Быть может, еще труднее решить, где в подобных случаях проходят границы морфологии и где — границы синтаксиса. На эту тему написаны многие сотни работ, но проблема продолжает оставаться открытой. К каким только ухищрениям не прибегали лингвисты, какие только новые термины не вводили! Между тем проблема и сложна и проста одновременно. Она сложна при неясности исходных позиций, но она же может

[15] См. главу «Творительный падеж» в книге А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике», 2-е изд., Харьков, 1888, См. также вступительную статью С. Б. Бернштейна к сборнику «Творительный падеж в славянских языках», М., 1958.

оказаться простой, если вернуться к положению о постоянном взаимодействии формы и содержания в синтаксисе.

Падеж — категория морфологическая, но функция падежа — категория синтаксическая. Предлог — категория морфологическая, его же функции в словосочетании или предложении — категория синтаксическая. То же следует сказать и о других частях речи и о других грамматических категориях. Меня могут упрекнуть в непоследовательности: я же сам возражал против такого понимания соотношения лексики и синтаксиса, при котором лексика оказывается содержанием, а синтаксис формой. Но лексика и грамматика (грамматика в целом) — разные аспекты языка, тогда как морфология и синтаксис вместе формируют грамматику, вместе цементируют грамматическую структуру языка. Поэтому и неудивительно, что морфологические категории функционально раскрываются главным образом на уровне синтаксиса.

Но следует ли говорить о тройном соотношении в синтаксисе — форма, функция, значение — или функция и значение в синтаксисе совпадают? На мой взгляд, функция и значение в синтаксисе всегда стремятся к сближению. Само выявление и осмысление синтаксической функции связано с выявлением и осмыслением значения этой функции. В свое время Л. Ельмслев и его последователи утверждали, что лишь формальное совпадает с функциональным. Когда говорят, например, что конъюнктив в романских и германских языках — конструкция синтаксического подчинения, то тем самым дают функциональное определение конъюнктива [16]. Но это не функциональное определение. Типы синтаксического подчинения могут быть самыми различными, и их функции тоже различны — как в пределах одного языка, так, особенно, между разными языками.

Сравним одно и то же предложение в итальянском, испанском и французском. *Credo che sia vero* «я думаю, что это верно» (глагол *credere* «думать, полагать» сочетается с конъюнктивом последующего глагола *sia*), *creo que es verdad* (здесь второй глагол в индикативе), *je crois que c'est vrai* (второй глагол тоже в индикативе, как и в испанском, но не как в итальянском). Синтаксическое подчинение в итальянском тем самым более последовательно ассоциируется с конъюнктивом, чем в испанском или французском. Самое же существенное в том, что связь конъюнктива с подчинением сама по себе еще не определяет, как функционирует конъюнктив в том или ином языке. В одних языках и в одних конструкциях конъюнктив может частично передавать свою функцию лексике (глаголы типа *думать*, *полагать*, *надеяться* и пр. уже сами напоминают о модальном значении), в других же языках он этого сделать либо не может, либо осуществляет подобный процесс «передачи» иначе, иными средствами и иными ресурсами.

Пример с конъюнктивом дает возможность еще раз показать различие между категориями значения в лексике и в синтаксисе (при их же непрерывном и постоянном взаимодействии). Если сомнение, предположение, пожелание, неуверенность и т. д. выражаются самой семантикой глаголов типа *думать*, *предполагать*, *считать*, мы имеем дело с лексическим значением. Если же аналогичные категории передаются нейтральными по своей семантике глаголами типа *быть*, *иметь*, но находящимися в форме конъюнктива, выступает вперед синтаксическое значение.

Как я уже пытался показать, понятие функционального в синтаксисе всегда стремится опереться на понятие смыслового. Установив функцию творительного падежа в *писать пером* (творительный орудия или средства действия) в отличие, например, от функции того же падежа в *ехать днем*

[16] L. H j e l m s l e v, La notion de rection, AL, 1, 1939, стр. 14. Развитие этих идей см.: G. M o i g n e t, Essai sur le mode subjonctif en latin post-classique et en ancien français, Paris, I—II, 1959.

(творительный времени), тем самым устанавливают и значение каждой конструкции.

Иногда, однако, проблема осложняется. Хорошо известно, что в ряде славянских языков прямое дополнение может выражаться и винительным и родительным падежами в зависимости от семантики всей конструкции: *купить хлеба* (родительный падеж части или родительный разделительный — какую-то часть хлеба), *выпить молока*, но *выпить все молоко* (винительный падеж). На этом основании иногда говорят, что функция и значение — это разные категории. Родительный и винительный падежи здесь выполняют одну функцию (прямое дополнение), тогда как их семантика неоднородна. Думается, однако, что подобные случаи не дают основания для противопоставления функции и значения функции. Известно, что в русском языке переходные глаголы управляют не только винительным, но и родительным падежом без предлога в большинстве случаев совершенно независимо от разделительного значения родительного падежа. Если в *купить хлеба* такое значение ощущается, то в *хотеть славы* или в *достигать известности* его уже нет [17].

И все же различие между *выпить молоко* и *выпить молока* поучительно. Синтаксическая дифференциация такого типа заставляет осторожнее формулировать тезис о единстве функции и ее значения. Функция лишь стремится опереться на значение, а значение лишь стремится наполнить содержанием функцию.

3

В новой грамматике русского языка находим такие разделы: «Связь, при которой управляемая форма восполняет информативную недостаточность управляющего слова» [18]. Действительно, семантика, например, глагола *поступать* в сочетании *поступать на работу* иная, чем семантика того же глагола в сочетании *поступать хорошо* или *поступать смело*. В «Грамматике» такие случаи обобщаются, выделяются определенные группы глаголов, сочетающиеся с разными падежами и разными предлогами. Подобные примеры, однако, не свидетельствуют о том, что отмеченные два типа значений (синтаксический и лексический) перестают различаться. Напротив, они лишь отчетливее обрисовываются. *Поступать на что-нибудь* (службу, работу, кафедру и пр.) — это конструктивно обусловленное значение, лишь реализующее одно из лексических значений, уже свойственное полисемантическому глаголу *поступать* или могущее у него возникнуть. В. В. Виноградов, в свое время предложивший термин «конструктивно обусловленное значение», не связывал, однако, этот термин с разграничением лексического и синтаксического значений [19].

Присмотримся внимательнее к характеру подобного разграничения. Для этой цели вернемся к функциям предлогов в романских языках.

Особое положение предлогов, как и других служебных частей речи, издавна привлекало к себе внимание не только лингвистов. В свое время Бертран Рассел весьма остроумно иллюстрировал различие между самостоятельными и служебными частями речи. Чтобы объяснить ребенку, что такое *лев* или *слон*, достаточно повести маленького человечка в зооло-

---

[17] См. обширный материал в исследовании: А. И. Томсон, К вопросу о возникновении родительно-винительного падежа в славянских языках, СПб., 1908 (ИОРЯС, XIII, кн. 3).

[18] «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 495.

[19] В. В. Виноградов, «Основные типы лексических значений слова», ВЯ, 1953, 5. По мнению автора, конструктивная обусловленность «...лишь вносит своеобразные оттенки в основные типы значений слов» (стр. 28).

гический сад и, показав ему клетку со львом или слоном, прибавить: вот это *лев*, вот это *слон*! Но еще никто не придумал, как столь же наглядно пояснить значение предлога *в* или союза *и* [20]. Даже если оставить сейчас в стороне вопрос о том, что и имена существительные не всегда столь «предметны», как в приведенном случае, мысль Рассела все же ясна. Семантика служебных слов абстрактна, тогда как семантика самостоятельных слов [21] если и не всегда конкретна, то всегда стремится к номинации предметов, явлений, понятий.

Любопытно, что абстрактность служебных слов вызывала и вызывает к ним пристальный интерес со стороны представителей математической лингвистики. Не может ли человек,— рассуждают они,— активно воздействуя на язык, сделать так, чтобы все слова напоминали структуру служебных слов и были бы лишены «обременительной вещественности»? Слова должны быть только знаками, только сигналами и по возможности только однозначными! Здесь-то и обнаруживается глубокое различие между искусственными языковыми построениями, вполне возможными для определенных технических целей, и естественными языками мира, которые выступают не только в своих узко коммуникативных устремлениях, но и как носители духовной культуры народов, говорящих на тех или иных языках.

Попытаемся теперь уточнить на некоторых примерах центральное для настоящей статьи понятие синтаксического значения.

Латинскому словосочетанию типа *corona aurea* «золотая корона» (чаще «золотой венок») в романских языках соответствует конструкция с предлогом *de*: франц. *couronne d'or*, исп. *corona de oro*, итал. *corona d'oro*, порт. *coroa de ouro*, рум. *cunună din* (или *de*) *aur*. Если отвлечься от некоторых вариантов (рум. *din* из сочетания *de* + *in*), то можно сказать, что функция предлога *de* в отношениях подобного рода (определительных) в романских языках одинакова. А за пределами определительных отношений? Как мы уже знаем, в одном только французском языке с помощью предлога *de* передаются весьма разнообразные отношения — определительные, принадлежности, свойства, направления, аппозитивные и многие другие. Совпадают ли эти функции с соответствующими функциями предлога *de* в других романских языках? Пример «с золотой короной» как будто бы подсказывает положительный ответ на последний вопрос. В действительности в языковой практике все предстает сложнее и функции предлога *de*, совпадая в одних случаях, не совпадают в других.

Материал романских языков показывает, что объем именной модели с предлогом *de* в одних языках оказывается шире, в других — у́же. Французскому предлогу *de* в итальянском соответствуют по крайней мере два предлога — *di* (этимологически из *de*) и *da*, а в румынском — *de* и *din*. Ср., например, итал. *l'affetto di mia madre* = франц. *l'affection de ma mère* «любовь моей матери», но франц. *le sujet de tragédie* = итал. *il soggetto da tragedia* «содержание трагедии», рум. *de lemn* = франц. *de bois* «деревянный», но франц. *de Moscou* = рум. *din Moscova* «из Москвы» и т. д. В свою очередь можно привести немало сопоставлений, при которых на месте одного из предлогов в итальянском или румынском выступают два или даже три предлога во французском.

В разных языках функции, казалось бы, одной и той же модели оказываются неодинаковыми. И здесь все сводится к тому, каким материалом на-

[20] Б. Рассел, Человеческое познание. Его сфера и границы, М., 1957, стр. 140. См. также: П. А. Флоренский, Мнимости в геометрии, М., 1922, стр. 7.

[21] К сожалению, до сих пор обычно называемых знаменательными словами. Все слова по-своему знаменательны. В термине «знаменательные слова» вновь обнаруживается пренебрежение к синтаксическому значению как к значению особому.

полняется модель в разных языках и как дробится общая модель на разновидности в каждом языке (ср. разновидности одного падежа в одном и том же языке). Едва ли «знаковые схемы» в лингвистике сами по себе могут быть исследовательскими, о чем сейчас пишут многие [22]. Я думаю, весь вопрос о том, как интерпретируются подобные схемы и каким содержанием они наполняются. Насколько возможно судить, именно здесь следует искать одно из отличий моделей языковых от моделей математических.

Стремясь хотя бы в известной степени показать всю сложность взаимодействия формы и содержания в синтаксической модели, остановлюсь немного подробнее на двух-трех таких моделях.

Известно, что во французском языке как языке аналитическом при определенных семантических условиях именные предложные сочетания стремятся образовать известные смысловые единства той или иной степени устойчивости (ср. *un chapeau de paille* «соломенная шляпа»). Можно экспериментально показать, что словосочетания подобного рода тяготеют к известному лексическому и синтаксическому единству. Обращение к здравому смыслу всегда существенно, но экспериментально не всегда убедительно. К тому же остается невыясненным, чем предложное сочетание такого образца отличается от беспредложного сочетания флективного образца (ср. русск. *соломенная шляпа*). Как показали статистические исследования последних лет, сочетания типа *un chapeau de paille* очень неохотно раздвигаются, чтобы пропустить сквозь свой строй другие слова, в частности, определения. *Un chapeau vert de paille* «зеленая соломенная шляпа» (буквально: «шляпа зеленая соломенная») встречается в современном языке гораздо реже, чем сочетание типа *un chapeau de paille vert*, где сохраняется контактное расположение первых двух имен. По подсчетам шведского лингвиста Карлссона, соотношение здесь 84% к 16% в пользу второй конструкции *un chapeau de paille vert* [23].

В испанском, менее аналитическом языке, чем его французский собрат, первая конструкция с вторжением прилагательного (*el agua mineral de mesa*, буквально: «вода *минеральная* столовая») попадается чуть ли не в два раза чаще, чем во французском. Казалось бы, все объясняется разной степенью аналитичности двух языков, т. е. чисто формальными причинами. Между тем и здесь синтаксическое содержание вступает во взаимодействие с синтаксической формой.

Вот как это происходит. Приведенное процентное соотношение окажется иным, если мы присмотримся к фактору синтаксической семантики. Дело в том, что «выброшенное» к концу словосочетания прилагательное обычно обнаруживает тенденцию к предикации. Словосочетание *un chapeau de paille vert* более предикативно, чем словосочетание *un chapeau vert de paille*. Два первых существительных первого словосочетания, тяготея к сложному слову, тем самым предицируют последующее прилагательное. Во втором словосочетании этого не происходит. Прилагательное *vert* вторгается в потенциальную группу возможного словосочетания и поэтому попадает не в русло предикации, а в русло субстантивации. Синтаксическая форма взаимодействует с различными содержательными синтаксическими процессами (предикация, субстантивация).

В рекламных листках итальянских газет часто публикуются объявления типа *corsi celeri di dattilografia* «краткосрочные курсы машинописи». Прилагательное *celeri* («быстрые», «краткосрочные») легко вторгается в словосочетание *corsi di dattilografia*, так как здесь начинают взаимодей-

[22] См., например: А. М. Мухин, Структура предложений и их модели, Л., 1968, стр. 28.

[23] L. Carlsson, Le degré de cohésion des groupes subst. + de + subst. en français contemporain, Uppsala, 1966, стр. 169.

ствовать два смысловых комплекса — «курсы машинописи» (*corsi di dattilografia*) и «краткосрочные курсы» (*corsi celeri*). Для фирмы, помещающей подобные объявления, одинаково существенно подчеркнуть и наличие подобных курсов и возможность их быстрого прохождения. В данном случае неважно, что импульсы подобного рода могут иметь внешний источник. Существенно прежде всего другое: что́ позволяет и чего́ не позволяет язык. И в том и в другом случае важно уметь обнаружить взаимодействие структурных моделей с их обобщенным синтаксическим значением.

4

В лингвистике есть два способа отрицания категории значения: либо прямое ее отрицание, либо утверждение, что «в языке все значение» [24]. Для самой категории значения одинаково опасно и то, и другое. Если в языке «все значение», то становится совершенно неясно, что же такое значение. Да и как можно представить себе тезис «все значение», если язык немыслим без внешней оформленности, без форм в самом широком смысле. Если же оформленность — это и есть «все значение», то тогда наступает смерть значению, такая же смерть, как и при прямом отрицании значения. Крайности сходятся.

Прямое отрицание значения было характерно для некоторых направлений лингвистики в 50—60-е годы, тезис же «в языке — все значение» защищается в этих же направлениях в наши дни. Любопытно, что нечто сходное наблюдается и в отдельных литературоведческих концепциях, где постулат о том, что в художественном тексте все значение, становится весьма популярным [25]. В этой связи хочется напомнить глубокую мысль К. Маркса: «... если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня ...» [26].

На мой взгляд, для теории синтаксиса неприемлемо и другое положение, находящее сейчас многочисленных сторонников, согласно которому «языка нет вне контекста». Разумеется, роль контекста в языке значительна, в синтаксисе — особенно. И все же следует трезво оценивать эту роль. Язык дан человеку объективно. И категории языка, в том числе и синтаксические категории, бытуют объективно. Предлоги и падежи, в частности, о которых велась речь в предшествующем разделе, могут уточняться, а иногда и видоизменяться в контексте, но если они имеются в том или ином языке, само их наличие не находится ни в какой зависимости от контекста. Все это существенно и для теории синтаксиса, который оперирует определенными категориями. Из положения о роли контекста никак не следует, что вне контекста языка вообще не существует. Здесь допускается двойная ошибка — логическая и фактическая.

На протяжении 50—60-х годов структура языка обычно противопоставлялась категории значения. Создавалось впечатление, что система и значение находятся друг к другу в обратной пропорциональности: чем более строго ведется структурное исследование, тем меньшее отношение оно имеет к семантическим проблемам языка, как и наоборот — семантические разыскания в любой сфере языка будто бы всегда обречены быть разысканиями антисистемными. Казалось, само понятие структуры враж-

[24] Второй тезис защищается, например, в работе: A. G r e i m a s, Sémantique structurale, Paris, 1966, стр. 5—7. Яркая рецензия на эту книгу принадлежит перу известного английского лингвиста С. Ульманна («Lingua», 1967, 3). См. также: R. J a k o b s o n, Linguistics and poetics, «Style in language», Massachusetts Institute of technology, 1960, стр. 376—377.

[25] См., например: Ю. М. Л о т м а н, Структура художественного текста, М., 1970, стр. 45—65.

[26] К. М а р к с, Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 25, ч. 2, 2-е изд., М., 1962, стр. 384.

дебно понятию субстанции, понятию значения. Такой антагонизм сначала обосновывался в логике, затем он был перенесен и в лингвистику [27]. Не касаясь здесь вопросов логики, замечу, что подобное противопоставление в лингвистике оказалось несостоятельным, так как система любого естественного языка не может не опираться на конкретную материю (субстанцию) этого же языка.

В последние годы у нас в стране было опубликовано немало книг, статей и сборников, посвященных роли системного анализа в разных науках [28]. Рецензенты этих изданий недавно справедливо писали: «Будущее системных исследований связано... с наличием развитой содержательной плоскости в самих системных исследованиях. Только на этом основании можно ожидать в будущем теоретического синтеза» [29]. То же следует сказать о системных исследованиях в лингвистике, и, в частности, в синтаксисе. Возникает старая, но забытая в последние два десятилетия проблема содержательного аспекта синтаксических систем, которая разрабатывалась у нас в стране такими лингвистами, как А. А. Потебня, А. А. Шахматов, И. И. Мещанинов и некоторыми другими.

Нет никаких оснований считать, что категория отношения в синтаксисе вместе с тем сама же является и категорией значения. Сторонники этой доктрины отождествляют две разные категории. Возникает концепция, весьма напоминающая только что раскритикованную теорию, согласно которой «в языке все значение». Один из вариантов этой теории: в самом синтаксическом отношении все принадлежит значению; отношение поглощает значение. В результате вновь снимается проблема в з а и м о д е й с т в и я отношения и значения.

В свое время В. Мейер-Любке, очень много сделавший для развития романской лингвистики, утверждал, что у лексикологии и у синтаксиса «один и тот же предмет исследования», но только в лексикологии анализируются отдельные слова, а в синтаксисе — группы слов [30]. Такая постановка вопроса, разумеется, устарела. В наше время она кажется наивной. Проблема сложнее. Лексикология интересуется не только отдельными словами, но и отношениями между ними. Нельзя, например, заниматься синонимами, не анализируя взаимодействия между ними. Весь вопрос в том, что отношения в лексикологии отличны от отношений в синтаксисе. В первом случае исследуются семантические отношения, во втором — синтаксические. То же следует сказать и об абстрактных категориях. Они бытуют не только в синтаксисе, но и в лексике. Однако это разные абстрактные категории. В лексике постоянно приходится иметь дело с абстракцией предмета или понятия, в синтаксисе — с категориальной абстракцией, в которой отношение передает обобщенное значение (принадлежности, свойства, законченности или незаконченности действия и десятки других аналогичного характера).

Особые проблемы возникают и перед историческим и сравнительно-историческим синтаксисом. За последние 20—30 лет в этой области сделано очень мало. В коллективной статье, написанной видными зарубежными учеными, утверждается, что структурная лингвистика, достигшая известных положительных результатов в области синхронии, почти ничего не

---

[27] Ср., например, утверждение одного из видных логиков: «Логика хочет остаться антисубстанциональной» (Ш. С е р р ю с, Опыт исследования значения логики, М., 1948, стр. 167).

[28] См. сборники: «Системные исследования», М., «Наука», 1969; «Проблемы формального анализа систем», М., 1968, и ряд других.

[29] ВФ, 1971, 1, стр. 153.

[30] W. M e y e r - L ü b k e, Grammatik der romanischen Sprachen, III, Wien, 1890, стр. 2.

смогла дать историческому языкознанию [31]. Это же относится и к историческому синтаксису. Трудность проблемы обнаруживается здесь уже в том, что для говорящих на определенном языке людей синтаксис — такая система, нарушение которой воспринимается либо как недостаточное знание языка, либо как недостаточная общая грамотность. Надо говорить так, а не иначе («так не говорят»). В лексике же движение языка понять легче. К тому же здесь всегда уживаются рядом старое и новое, хорошо усвоенное и недостаточно усвоенное. Непонятное можно просто не употреблять или употреблять осторожно. В синтаксисе иначе. Здесь не только говорящим трудно разграничить синхронию и диахронию. С аналогичными трудностями сталкивается и синтаксическая наука. Это одна из причин, по-видимому, обусловившая слабую разработку исторического синтаксиса и, в особенности, сравнительно-исторического синтаксиса.

В свое время Е. Д. Поливанов, объясняя свою неприязнь к арифметическим задачам с товарными и курьерскими поездами, подчеркивал, что ученого-математика в этих случаях фактические (реальные) поезда совершенно не интересуют. Совсем иначе обстоит дело в лингвистике. Здесь без реального материала трудно что-либо сделать [32]. И это, разумеется, верно. Поливанов писал при этом о своей любви к осмыслению фактического материала, о науках, где роль подобного материала значительна. Проблема имеет и более общее значение. Разные науки, оперирующие понятием модели, вкладывают в него различное содержание.

В этой связи приведу еще один пример. При актуальном членении предложения, где, казалось бы, возможна любая формальная последовательность элементов, многое зависит от самого материала предложения. В греческом и латинском, в русском и польском, как и в большинстве других индоевропейских языков флективного строя, предложения без подлежащего — явление достаточно распространенное. Но в синтаксическом строе таких языков, как новофранцузский или ретороманский, бесподлежащные предложения — явление исключительно редкое и нехарактерное. Местоимения, непременные спутники глаголов, в этих языках обычно выполняют функцию подлежащего. В зависимости от того, какой конкретный языковой материал попадает в распоряжение актуального членения, во многом зависит и членение самого материала. Между тем актуальное членение, казалось бы, должно преодолевать всякий барьер конкретного материала. В действительности этого не происходит.

Итак: 1) при всей важности постоянного взаимодействия синтаксиса и лексики не следует забывать, что синтаксис располагает своими содержательными категориями. Поэтому в науке о языке не могут бытовать такие ошибочные, дезориентирующие термины, как «незнаменательные части речи», «пустые служебные слова» и тому подобные представления; 2) проблема моделей и их синтаксического содержания («наполнения»), как и проблема дробления этих моделей на более частные разновидности и варианты, оказывается в центре теоретического синтаксиса; 3) как и в языке вообще, категория значения является центральной и в синтаксисе. Следует помнить, что противники этой категории выступают против нее с двух «противоположных», но по существу идентичных позиций: либо выводят значение за пределы языка, либо объявляют — «в языке все значение». Между тем вне категории значения синтаксис лишается своей «души» и превращается в сумму мертвых и условных «правил» [33].

[31] U. Weinreich, W. Labov, M. Herzog, Empirical foundations for a theory of language change, сб. «Directions for historical linguistics. A symposium», ed. by W. Lehmann and Y. Malkiel, University of Texas-Press, 1968, стр. 98.

[32] Е. Поливанов, За марксистское языкознание, М., 1931, стр. 172—173.

[33] Эти строки примыкают к статьям автора: «О предмете языкознания» (ИАН ОЛЯ, 1972, 5) и «Терминология и семиотика» («Вестник МГУ», Филология, 1972, 5).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. В. КОЛШАНСКИЙ

ФУНКЦИИ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Социальное поведение человека при всем разнообразии конкретной исторической обстановки обусловлено в первую очередь возможностью общения людей при помощи языка. Вербальная коммуникация является в этом смысле условием существования человека и общества, дающим ему возможность развивать свое материальное производство как основу всякой жизни.

Язык является первичной естественной формой выявления мыслительного процесса человека. В этом смысле язык является единственным, а, следовательно, и достаточным средством выражения мышления.

Необходимость включения в той или иной форме в сферу лингвистического исследования факторов, непосредственно сопровождающих речь, в современном языкознании отчетливо была выражена в «Тезисах Пражского лингвистического кружка», в которых концепция функционального подхода к языку естественно требовала расширения понятия средств языкового общения. «Следует систематически изучать жесты, сопровождающие и дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном общении со слушателем, жесты, имеющие значение для проблемы лингвистических региональных союзов...» [1] — настоятельно подчеркивается в тезисах.

Теоретически мыслимая возможность, так сказать, коммуникация в стерильных условиях, сопряжена с созданием чисто логического языка, где условие однозначности структуры должно строго определять характер информации, независимо от любых внешних условий [2]. Изучение процессов вербальной передачи информации поэтому всегда должно опираться как на языковые, так и на смежные неязыковые факторы (или, как писал Балли, артикулируемые и неартикулируемые знаки), сопровождающие вербальную коммуникацию.

Два плана языковой информации выделяет, например, Р. Диксон, а именно значение внутреннее (internal) и внешнее (external), причем первое он относит к самому тексту, а второе к ситуации. Только при учете их корреляции можно извлечь из языковой структуры действительное значение.

Несмотря на текучий характер внешних обстоятельств, существуют некоторые стереотипы ситуаций, которые сопровождают тот или иной тип коммуникации, определяют то или иное конкретное содержание акта коммуникации. В процессе развития языка участие сопутствующих обстоя-

---

[1] Сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 25.

[2] См., например, требования к логическому языку у Дж. Брауна: 1) максимальная доступность; 2) нейтральность; 3) простота; 4) полнота; 5) однозначность (J. C. B r o w n, Loglan — a logical language, Gainesville, 1966).

тельств при коммуникативном процессе может быть типизировано, и на уровне некоторого обобщения эти факторы могут быть постоянно закреплены в конкретной сфере языкового общения, в результате чего образуется симбиоз интра- и экстралингвистических характеристик речевого акта. В живое речевое общение вплетено множество обстоятельств, сопровождающих как целое высказывание, так и его фрагменты, причем внеязыковые факторы лишь сопутствуют речи, но не заменяют ее и не получают самостоятельного существования. Экстралингвистические факторы играют вспомогательную роль, а для языка всегда открыта возможность использовать для сообщения только собственные средства [3]. Экстралингвистические факторы, сопровождающие речевое общение, и представляют собой сферу паралингвистики.

Вообще паралингвистический аспект релевантен только в сочетании с изучением вербального общения. Случаи так называемого неязыкового общения лежат вне сферы паралингвистики, на стыке психологии с физиологией и этнографией [4].

Естественный процесс объединения имманентно-языковых и внеязыковых факторов, сопутствующих однозначной передаче информации, может быть объяснен в принципе двумя причинами: первая причина — определенная избыточность выбора вербальных средств, вторая причина — материальная конкретность коммуникативного процесса. По естественной необходимости эти два фактора должны были бы быть объединены в процессе развития языка. Характер этого объединения, однако, весьма своеобразен, так как он не образует некоторого органического соединения интра- и экстралингвистических факторов, а является по существу своему объединением, лежащим на поверхности языка. Экстралингвистический фактор не включен и не может быть включен в структуру языка, так как система языка функционирует имманентно и в принципе не нуждается в каких-либо дополнительных средствах для выявления коммуникативного содержания.

Однако возможная избыточность языка при полном вербальном раскрытии какого-либо содержания снимается в естественных условиях путем элиминирования чисто языковых средств и одновременного включения в коммуникацию экстралингвистических средств, подкрепляющих абсолютную однозначность конкретного речевого акта. Так как «противошумовая» гарантия в естественном языке создается за счет наличия более чем достаточного набора выразительных средств всех уровней (фонетика, лексика, грамматика), то участие паралингвистических средств в коммуникации имеет двойственный характер — с одной стороны, именно существование паралингвистических способов выражения коммуникации делает возможным употребление «свернутых» словесных фраз, а с другой, — они же служат компенсирующим фактором речи.

Несмотря на некоторые трудности отграничения экстралингвистики от паралингвистики все же можно с большой определенностью утверждать, что область экстралингвистических факторов затрагивает функционирова-

[3] В данном случае не рассматриваются два явления, которые могли бы свидетельствовать о несколько иной роли внеязыковых факторов: 1) язык глухонемых, где сущность жестов и символов может трактоваться двояко—и как первичная (собственно языковая) система, и как вторичная (код-заместитель); 2) язык жестов у некоторых народов, который, однако, может рассматриваться как символическая система вторичного происхождения, существующая на базе естественного языка. Ср: R. K l e i n p a u l, Sprache ohne Worte, Leipzig, 1888 (reprint: The Hague — Paris, 1972).

[4] См., с одной стороны: R. K l e i n p a u l, Das Leben der Sprache und ihre Weltstellung, Leipzig, 1893, а с другой — A. B a r b a r a, Non-verbal communication, «The journal of communication», 1963, 3; R. F o x, The cultural animal, «Social science information», IX, 1, 1970.

ние и развитие всей системы языка в целом, а именно: взаимодействие жизни общества и языка, культуры народа и языка, влияние межнациональных связей на язык, все социолингвистические явления, соотношение материальных предметов и обозначений (номинации), в то время как паралингвистические факторы затрагивают каждый раз лишь конкретное высказывание, участвуя в формировании однозначного содержания речевого акта. К паралингвистике поэтому относятся как факторы субъекта, так и ситуационные явления: предметное окружение в момент говорения, выделение, подчеркивание с помощью различных движений и указаний говорящего ситуационных маркеров. Различие между этими сферами паралингвистики можно было бы еще провести с учетом того, что вторая является своего рода внешним фоном, а первая — средством выражения для самого человека. Необходимо предварительно заметить, что в данном случае имеются в виду факторы субъекта, паралингвистические (по своему происхождению, а не по качеству), ибо к характеристике субъекта будут относиться все виды признаков его физической (биологической) природы, не используемые в сфере паралингвистики. Объектом паралингвистики являются не только звуковые характеристики речи (фонация), но и те динамические и статические маркеры, которые вовлекаются в формирование конкретного речевого акта.

В зависимости от условий общения в устной или письменной форме паралингвистические способы компенсации речевого акта могут быть подвижными или неподвижными (ср., с одной стороны, движение руки, пожимание плечами, а с другой — движущиеся знаки, разнообразные знаки мультипликационного типа, простое расположение предметов, простые обозначения в тексте, символы). Внеязыковые средства, участвующие в коммуникации, и есть те паралингвистические условия, которые вплетаются в языковое общение. В этом смысле паралингвистический аспект отличается от просто экстралингвистических факторов тем, что он определяет языковое общение каждый данный раз на конкретный момент коммуникативного акта, т. е. он имеет силу в чисто синхронном срезе. В отличие от этого, экстралингвистический фактор в вышеуказанном смысле более проявляется в процессе развития языка в тех или иных социальных условиях. Имманентная лингвистика рассматривает язык вне всякой связи в историческом аспекте с экстралингвистическими факторами.

Следовательно, понятие паралингвистики наиболее тесно примыкает к имманентной лингвистике в области, где изучаются реальные условия акта общения. Но, как было сказано выше, эти реальные условия общения в большей своей части стереотипизируются и в обобщенном виде могут быть представлены как некоторая модель функционирования языка при участии всей совокупности паралингвистических средств. Вполне естественно, что изучение языка в его внутренней структуре, в поведении его элементов в рамках знаковой системы, а в целом — семиотической системы должно быть тесно увязано с моментом взаимодействия этой семиотической системы с другими системами, где функционирование знаков также построено по законам соотношения означающего и означаемого. В связи с этим задачей паралингвистики является изучение возможного свертывания структуры высказывания в условиях реального общения и анализ внеязыковых элементов, служащих опорой для эксплицитного развертывания конкретного высказывания при восприятии языкового сообщения.

Проводя разграничительную линию между интра-, экстра- и паралингвистикой, необходимо отделить еще одну область, затрагиваемую языковым общением. Речь идет о передаче в процессе коммуникации некоторой информации, характеризующей не само высказывание и не ситуацию, связанную с содержанием высказывания. Имеется в виду характеристика

самого субъекта, производящего речевой акт. Характеристика субъекта, в данном случае относящаяся к внеязыковым данным, к области личности, например, характер голоса (тембр, тон), особенности артикуляции (например, шепелявость, грассирование и т. д.), ни в коей мере не может быть включена в структуру высказывания, поскольку эти факторы не имеют никакого отношения к содержанию коммуникации.

Указанное обстоятельство является чисто биологической характеристикой субъекта, присущей ему как физическому лицу, а не как автору сообщения о некотором событии и явлении. Другими словами, в содержание и структуру высказывания не может быть подключен ни один из признаков самого субъекта, обнаруживаемых в физическом процессе речепроизводства. Характеристика субъекта в данном случае вообще не может являться областью какого-либо лингвистического исследования в связи с тем, что она лежит вне параметров системы и структуры языка и представляет собой объект изучения в науках, имеющих дело с человеком как физическим объектом (биология, медицина и т. д.).

К паралингвистическим средствам должны быть отнесены лишь те функционально оправданные физические состояния говорящего субъекта, которые необходимы для восполнения пробелов в вербальной коммуникации. В этом смысле область паралингвистики — это не «сверхъязыковой остаток» (А. И. Смирницкий), т. е. не та сфера, которая дополняет функцию речевого высказывания, другими словами, не та сфера, в которой происходит распознавание высказывания по оценке говорящего индивидуума в связи с его физическими данными. Паралингвистика — не есть «остаток», вычитаемый из языковой системы, а функциональный компонент речевой системы, релевантный по-особенному в каждом конкретном речевом общении.

Для обозначения особой дисциплины, которая изучает семиотику телодвижений, все чаще употребляется термин «кинесика». Кинесика в этом случае будет изучать все непаралингвистические телодвижения. Собственно паралингвистические средства вычленяются из сферы экстралингвистики, как было сказано выше, на том основании, что они представляют собой некоторую подсистему конвенциональных средств.

По мнению некоторых авторов, все виды неязыковой человеческой коммуникации могут быть объединены в категорию более общего порядка, как, например, зоосемиотика. В пределах зоосемиотики так или иначе должна быть выделена антропосемиотика, как ее обозначает Т. Себеок [5], в которой зоосемиотические моменты будут играть роль подсистемы.

Нельзя не согласиться с тем, что неязыковые коммуникативные системы человека являются подчиненными, вторичными системами. Однако, несмотря на самое разнообразное их происхождение, они по своей функции лишь примыкают к языку, используются языком и декодируются с помощью языка. В этом смысле все паралингвистические средства могут быть объединены только по своей функции, т. е. по функции участия в формировании информации речевого высказывания, а не по своему материальному статусу. Одни и те же материальные формы «неязыкового поведения» (non-verbal behavior) человека, с одной стороны, должны быть отнесены к паралингвистике, а с другой стороны, к любой другой отрасли науки (например, к генетике и т. д.). С этой точки зрения, например, изучение жестов может быть и биологическим, и культурно-историческим, и этнографическим, и паралингвистическим [6].

[5] См.: Th. A. S e b e o k, Semiotics and ethology, «Approaches to animal communication», The Hague — Paris, 1969, стр. 209.

[6] См., например: Е. М. В е р е щ а г и н, Вопросы теории речи и методики преподавания иностранных языков, М., 1969, гл. 4.

Понятие паралингвистики есть прежде всего функциональное понятие и поэтому самое паралингвистику следует определять как вспомогательную область лингвистики, изучающую функциональное использование неязыковых средств для формирования конкретного речевого высказывания [7]. Простое соположение разных коммуникативных систем, например, вербального и «жестового» языка, не в состоянии дать лингвистическое истолкование функционального взаимодействия этих разноприродных явлений и приведет лишь к обычному семиотическому описанию, скажем, жестовых движений человека с самым разнообразным назначением [8].

Вообще тенденция, особенно заметная в более ранних трудах, в какой-то степени ограничить паралингвистику просто некоторыми формами человеческого поведения объяснима первоначальным стремлением исследователей рассмотреть паралингвистические средства, принадлежащие только человеку как производителю речевого акта.

На наш взгляд, существенным для языковой информации является способ использования человеком любых неязыковых средств, другими словами, не субстанция этих средств, а функциональное их преобразование в процессе речи. Субстанциональный фактор здесь вторичен, он подчинен функциональному. Существенным для лингвистики является исследование способов включения посторонних для языка средств в процессе речепроизводства (вспомогательных факторов, функционально входящих в акт коммуникации). Соотношение фонетической, лексической и грамматической структуры речевого акта с неязыковыми средствами, способствующими формированию однозначно воспринимаемого речевого сообщения, и есть важнейший объект изучения раздела науки — паралингвистики. Паралингвистика поэтому не может быть отраслью науки, изучающей просто ситуации и поведение человека, она должна ставить себе задачу непосредственно лингвистического истолкования неязыковых факторов применительно к конкретной структуре речевого высказывания, функциональных связей, возможностей, границ, типов этих факторов и их взаимодействия с языковой структурой.

Конечно, несмотря на первостепенность функционального подхода к паралингвистическим явлениям, вспомогательная классификация их по субстанциональной природе может быть целесообразной. В этом плане необходимо прежде всего различение двух видов паралингвистических явлений — явлений, связанных с говорящим субъектом, и явлений, связанных с внешними по отношению к субъекту факторами (ситуация).

Эти неязыковые факторы представляют собой некоторую семиотическую подсистему, которая непосредственно связана с чисто языковой коммуникацией и которая включается в сферу вербального общения, хотя связь этой подсистемы с собственно языковой системой является не органической, а симбиозной. Назначение паралингвистических средств определяется опосредованным включением этих средств в акт высказывания и

[7] Ср. в этой связи определение: паралингвистика — «область, изучающая явления, сопровождающие вообще всякую языковую деятельность» (Т. М. Николаева, Б. А. Успенский, О новых работах по паралингвистике, ВЯ, 1965, 6, стр. 116).

[8] См., например, в этой связи работу З. М. Волоцкой, Т. М. Николаевой и др. «Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения» в кн. «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», М., 1962. В этой работе авторы рассматривают как равноценные типы коммуникативного поведения, как равноценные коды двигательную активность человека (оптический код), пластические искусства, музыку (акустический код), тактильную коммуникацию (осязательный код) и др. Описание «кинетической активности» человека приобретает в этой работе характер систематизации употребления жестов в различных ситуациях (жесты в речи, лекции, театре, пантомиме, немом кино), собственно паралингвистический подход перекрывается общесемиотическими задачами исследования кода (его словаря, грамматики), что выходит уже за рамки лингвистики.

выполнением ими двух функций: 1) функции подсобного элемента для достижения однозначности коммуникации в связи с обобщенным и полисемантическим характером собственно языковых имманентных средств, 2) функции компенсации элиминированных в реальном процессе коммуникации некоторых избыточных языковых средств.

В некотором отношении эти две функции могут рассматриваться как противоположные по той причине, что первая компенсирует эвентуальное отсутствие однозначности высказываний и в этом смысле как бы ограниченность самой структуры языка, а вторая функция компенсирует снятую языковую «избыточность» в некотором конкретном коммуникативном процессе. Здесь одно «снятие» уже предполагает соответствующую компенсацию. Динамика языка в живой коммуникации и состоит, видимо, в том, чтобы обеспечить в любой сфере однозначность высказывания как необходимое условие вербального общения и выбор того или иного неязыкового средства в конкретных условиях общения, т. е. привлечение паралингвистических средств.

В лингвистике, в принципе, накопилось достаточно наблюдений над функционированием языка, прежде всего, в условиях устного общения, на основании чего результаты этих наблюдений в дальнейшем были экстраполированы на язык в целом, в частности в вопросе о языковой избыточности. Возможно, что надежность передачи информации в вербальной форме как раз и требует этой избыточности, лежащей, судя по чисто теоретическим предположениям, в пределах 50%. В одной работе Р. Коудена утверждается, что около 90% предложений могут иметь неправильную структуру, а высказывание будет понятным [9]. Немецкий языковед Г. Грабанд допускает грамматическую избыточность для английского языка 75%, а для немецкого 66%. Естественным аргументом полноценности языкового общения в этих условиях является, безусловно, ссылка на контекст, ситуацию или вообще на любые паралингвистические факторы. По утверждению Г. Грабанда, английская фраза: *Passengers are not allowed to ride on the platform* может быть понята только при условии, если она будет прочтена на трафарете в английском автобусе [10].

Во всех этих случаях речь идет о вербальном общении, но с учетом тех внешнеязыковых факторов, которые участвуют в формировании понимания высказывания. Вариативность динамического использования средств пара-и интралингвистики особенно разительна при анализе двух видов речевого общения — устной и письменной речи. Паралингвистические средства, как было сказано, всегда включаются в контекст, будь то в письменной или устной речи. Однако роль контекста, особенно в письменной речи, совершенно другая, так как контекст относится к чисто языковым средствам, и является своего рода расширением рамок слова или предложения в случаях, когда значение того или другого не может быть установлено в пределах минимальной замкнутой единицы. Контекст по своей структуре содержит чисто языковые данные, по которым читатель или слушатель получает конкретную информацию, содержащуюся в каком-либо многозначном элементе высказывания. Если контекст и является дополнительным средством для однозначной реализации коммуникации, то он, однако, не выходит за рамки языка и не может быть отнесен поэтому к паралингвистическим средствам. В письменной речи языковые ситуации строго фиксированы, что дает возможность при восприятии информации опираться на надежные показатели языковой структуры.

Чисто языковой контекст в предложении или в целом абзаце дает воз_

[9] R. C o w d e n, The inflexional forms in spoken English, London, 1930.

[10] G. G r a b a n d, Betrachtungen zum Strukturalismus in der Sprachwissenschaft, «Linguistics», 48, 1969.

можность читателю восполнить информацию, используя дополнительные источники чисто вербального характера, другими словами — средства самой языковой системы. Так, предложение *В 17 часов забил фонтан* может быть однозначно воспринято в пределах чисто языкового окружения текстового контекста, в котором, например, содержалось указание по ключевым словам (буровая, нефтедобыча и т. д.) на безусловную связь с нефтью, в результате чего содержание вышеприведенной фразы ясно раскрывалось как «забил нефтяной фонтан». В лингвистическом плане определение лексемы *фонтан* получено здесь на основе лексического окружения (дистрибуции), но не в рамках непосредственного словосочетания, а опосредованно через связь предложений в пределах, скажем, абзаца, т. е. в пределах некоторого контекста. Распознавание значения этой фразы состоялось, таким образом, на основании языковых данных. В ином случае (без языкового контекста), например в устной форме, при наличии соответствующей предметной ситуации (митинг геологов, диалог на нефтеразработке, у нефтевышек и т. д.) восприятие фразы опирается на неязыковые факторы, т. е. на паралингвистические обстоятельства, по которым слушающий делает умозаключения об истинном смысле высказывания.

В письменном языке, однако, определяющим фактором однозначной коммуникации могут быть не только сами языковые условия, но и такие факторы, участие которых в вербальном письменном общении обуславливается их же паралингвистической функцией. В письменной речи употребляются именно средства, которые не могут быть отнесены к интралингвистическим, хотя и являются контекстуальными. Они представляют собой пример внешних по отношению к языку указателей, которые будут относиться уже к области паралингвистики.

Такими указателями могут быть в первую очередь некоторые письменные знаки, обычно употребляемые в тексте в грамматической функции. К ним могут быть отнесены восклицательные знаки, многоточие, комбинации восклицательных и вопросительных знаков в паралингвистическом использовании. Сюда же должны быть отнесены различные изображения в тексте, как-то: рисунки, чертежи, графики и т. д.

Второй вид знаков, хотя и весьма специфичен, поскольку он не принадлежит к области грамматики, но его паралингвистическая роль в письменном языке несомненна. Причем использование первой группы знаков идет не по линии обычной пунктуации, т. е. чисто грамматического маркирования структуры высказывания, а по линии внешних символов, означающих некоторую дополнительную информацию для чтения и соответствующего понимания речевого высказывания. Так, сочетание восклицательных и вопросительных знаков после определенного слова, после некоторого словосочетания может давать паралингвистическую информацию, свидетельствующую о неправдоподобности сообщаемого, об «удовлетворении» и о различных оценочных моментах авторской речи.

К паралингвистической графике должны быть отнесены различного рода варианты красочного и шрифтового оформления текста. Особый шрифт или краска (например, в газете — заголовки в красках, крупный шрифт, курсив в тексте и т. д.) заставляют читателя присоединять к информации, непосредственно извлекаемой из высказывания, мысль о важности, срочности, опасности, безотлагательности некоторого действия. Например, вывеска на магазине: *магазину требуется РАБОЧИЙ* с особым написанием слова *рабочий* способствует точному пониманию высказывания (не просто «работник», «продавец», «кассир», а «рабочий»). Причем, вряд ли здесь шрифт выполняет функцию логического ударения — здесь фраза не имеет противительного значения («а не...»), и шрифт выполняет лишь вспомогательную функцию для правильного прочтения объявления.

Многозначность слова, употребление слов в основном значении декодируется лишь при наличии ясных паралингвистических признаков. Например, письменное объявление *Удлиненных детей забирайте не позднее 7 ч. вечера* легко (и даже без иронии) воспринимается в узко профессиональном значении — «дети, находящиеся на режиме продленного дня» — при условии, что это объявление подкреплено паралингвистической ситуацией — вывешено у входа, скажем, в школу или детский сад.

По сравнению с устной речью набор паралингвистических средств в тексте ограничен, что также вполне объяснимо тем простым обстоятельством, что письменная речь всегда достаточно пространна (мы говорим здесь о диалогической форме и других конструкциях) и по существу избыточна по набору языковых знаков.

При восприятии письменного текста получатель информации ограничен только узким каналом, а именно, письменными знаками сравнительно ограниченного набора. Эти условия и накладывают большие ограничения на использование паралингвистических средств в письменной речи. Ориентировка на текст исключает привлечение для этой информации каких-либо других параметров. Другое дело устная коммуникация в условиях реальной ситуации, в которых находятся говорящий и слушающий. Обилие посторонних факторов, включающих характеристику места, времени, набор окружающих предметов, деятельность говорящего и т. д., создает, в противовес письменной речи, безграничный простор для вовлечения всех этих обстоятельств в процесс коммуникации. В связи с тем, что начальным и естественным видом коммуникации является устная речь, использование паралингвистических средств, как было указано выше, не только приобрело большой размах, но и в результате длительного опыта человека дало возможность выработать стереотипы связи определенной структуры высказывания и паралингвистических маркеров.

Наиболее общим паралингвистическим средством устного общения является ситуация как совокупность реальных временных, пространственных и предметных условий, служащая как бы своеобразным тематическим индексом всей коммуникации (эту ситуацию надо четко отличать от понятия тематических контекстов в письменном языке).

Роль ситуации в устном общении сводится к тому, что она снимает все избыточные средства, которые в условиях письменного общения должны быть раскрыты в высказывании, а в устном общении зрительные и слуховые восприятия дают возможность без дополнительного разъяснения однозначно воспринимать информацию. Эти факты достаточно изучены и признаны. Сошлемся здесь на одно высказывание В. В. Виноградова: «В речевой общественной практике разговорного обмена мыслями, в связи с конкретной ситуацией, при наличии мимики и жестов как вспомогательных выразительных средств, при большой экспрессивной силе интонации формируются такие структурные типы предложений, в которых отсутствует словесное выражение каких-нибудь отдельных членов, ясных из контекста и ситуации». «Такие предложения, в словесной ткани которых „не хватает“ одного или нескольких членов, обычно называются неполными» [11]. Примеров тому — бесчисленное множество. Приведем здесь только один характерный. Ситуация у кассы метро в Берлине не оставляет никаких сомнений в однозначности восполнения эллипсиса: *eine, dritter, Alex* (*bitte, eine Karte dritter Klasse, bis zum Alexanderplatz*).

К совокупности зрительных и слуховых факторов паралингвистической ситуации должны быть отнесены предметы, природное окружение и

[11] В. В. Виноградов, Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, 1, стр. 29.

др. Наряду с таким широким ситуационным паралингвистическим контекстом устное общение широко пользуется типизированными, как было указано выше, физическими проявлениями говорящего субъекта, направленными на ориентацию слушающего однозначно воспринимать исходящее высказывание. К этим средствам относятся прежде всего жесты и мимика. По обычно принятому определению к жестам относятся различного рода телодвижения, т. е. кинесика, а к мимике — состояние лица говорящего.

Необходимо сразу заметить, что и в этих средствах надо проводить разграничительную линию между жестами и мимикой, участвующими в процессе коммуникации, и между кинесикой, сопровождающей речь на чисто физическом и биологическом уровне.

Функционирование паралингвистических средств в языковой коммуникации детерминируется возможностью декодирования этих средств как маркеров однозначного восприятия информации, содержащейся в высказывании. Набор любых паралингвистических средств является не произвольным, а систематизированным и внутренне приспособленным к характеру вербального высказывания. Только эта связь словесной структуры и паралингвистической характеристики дает возможность декодировать каждый данный раз конкретное сообщение.

Естественно, что паралингвистические средства без возможности их интерпретации применительно к конкретному высказыванию остаются немым окружением — их значение есть их интерпретируемость по отношению к структуре языковой информации. Причем эти средства служат опорными пунктами для эвристического процесса построения некоторой цепи умственных действий по восполнению словесных элементов высказывания. Этот эвристический процесс вряд ли строится на каких-либо других основах, кроме логико-понятийных, свойственных человеческому мышлению вообще. Механизм декодирования заключается в опосредованном восприятии некоторого сообщения, проходящего по двум этапам. Первый этап составляет восприятие чисто словесной структуры. Второй этап представляет собой некоторую цепь умозаключений, нацеленных на восполнение элементов семантики, которые отсутствуют в словесной структуре.

Только после завершения построения некоторой цепи умозаключений словесная структура может быть воспринята однозначно, хотя, естественно, с некоторой задержкой (относительно) в получении информации. Рассмотрим, например, объявление на автомате по продаже газированной воды в форме *Юбилейные монеты не бросать*. На первом этапе восприятия эта словесная информация в изоляции от всех паралингвистических средств, основным из которых в данном случае является предметная ситуация (а именно место прикрепления трафарета), может быть понята в прямом смысле «не бросать на землю». Однако второй этап декодирования с учетом паралингвистической ситуации однозначно подает значение глагола *бросать*, а именно «опускать в монетоприемник». Зрительное восприятие предметной ситуации только на втором этапе, проходящем во времени практически мгновенно, явилось в данном случае той опорой для умозаключения, которая привела читающего к правильному пониманию данного объявления.

Принципиально тот же путь декодирования проходит любой субъект, воспринимающий устное сообщение, сопровождаемое жестами. Эллипсис словесной структуры *дай* при указании рукой, движением глаз на некоторый предмет есть, пожалуй, самый экономичный и оправданный способ построения высказывания, так как отсутствие дополнения в предложении мгновенно компенсируется умственным действием («... этот предмет...»).

Типизированные жесты, получившие в каком-либо обществе стандартную форму, приобретают тем самым довольно строгую паралингвистическую однозначность и вследствие этого как крайний случай выступают вне прямой связи с вербальной формой, а самостоятельно (например, движение головы — «да, нет»; жест руками — «не согласен, не верно» и т. д.). Требование однозначности резко суживает арсенал этих средств и не дает оснований вообще говорить о существовании некоторой самостоятельной, скажем, жестовой семиотической системы. Зачастую даже стереотипные жесты сопровождают словесное высказывание в форме междометий *ах*, *увы* и т. д.,— получающих однозначное содержание при подкреплении соответствующим жестом. Такие немногочисленные стереотипные жесты образуют один из основных и наиболее употребительных типов паралингвистических средств как вспомогательных приемов вербальной (в любом случае и в конечном итоге) коммуникации. Естественно, что, в зависимости от характера паралингвистических средств, механизм декодирования может быть разный как по структуре умозаключения, так и по затрате времени для получения однозначного решения. Но, несмотря на разные структуры логического процесса восприятия информации, сам этот процесс является вторым логическим этапом речепонимания, что и характеризует собственно назначение паралингвистических средств как вспомогательных маркеров при передаче информации в условиях вербальной коммуникации.

Характер функционирования паралингвистических средств еще раз подтверждает то положение, что основой всякого высказывания является вербальная конструкция, трансформируемая в условиях реальной ситуации до пределов, которые разрешают те или иные типовые паралингвистические средства. Этот закон взаимодействия интра- и паралингвистических средств покоится на сочетании непосредственного и опосредованного восприятия информации, что создает условия безграничного варьирования словесных структур в живой коммуникации с использованием минимума языковых знаков для получения максимума эффекта информации.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Н. И. ЖИНКИН, В. Н. СОБОЛЕВ, Л. Н. ХРОМОВ

РАБОТА ГОРТАНИ ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ ИНТЕРВОКАЛЬНЫХ СМЫЧНЫХ ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. До недавнего времени все без исключения фонетисты не сомневались в том, что звук *п* в слове *папа* потому и называется смычным и глухим, что в процессе его произнесения голосовые связки не работают, на смычке происходит перерыв фонации, а в момент снятия смычки появляется глухой (безголосый) взрыв. Замечено, что согласные, и особенно глухие, являются артикуляционно более сильными, чем гласные. Это значит, что слабая фонация глухих усиливается более активной артикуляцией и обеспечивается бóльшим воздушным давлением, что может быть достигнуто путем раскрытия голосовой щели. Традиционная концепция подтверждается фактами, очевидными по своей наглядности при безинструментальном наблюдении, и не противоречит нашему восприятию звуков речи.

В последнее время обнаружились факты, которые колеблют ясную и простую традиционную концепцию. Но новые факты все же противоречивы. По наблюдениям одних оказывается, что при произнесении интервокального согласного голосовая щель не открыта, а плотно закрыта, по наблюдениям других голосовая щель признается открытой, но вопреки прежним представлениям смычка губ не прерывает фонации, так как на голосовых складках иногда образуется основной тон определенной частоты. В таком случае *п* нельзя назвать глухим. Можно ли тогда говорить о противопоставлении глухости и звонкости? Но так как тонкий человеческий слух все же не замечает в потоке речи тона в глухих согласных, следует как-то объяснить это странное явление восприятия речи.

Воспринимаемые в речи единицы трудно интерпретировать, если не учесть иерархическую структуру объекта восприятия. Возможно, что на разных уровнях характер восприятия различен. В этой связи представляют интерес соображения Х. Рихтера, который предлагает рассматривать речевой поток на трех уровнях [1]. Фонемно-аллофонный уровень (или, как автор называет его, текст) состоит из дискретных сегментов. Следующий — фонетический уровень образует непрерывные сегменты, слоги. Этот уровень является объектом слухового восприятия. Если же аудитору предъявляются тексты, в которых следует описать признаки перцептивного кодирования в процессе производства речи говорящим, то в этом случае сегментные тексты, вне зависимости от того, являются ли они фонемно-аллофонными или фонетическими, рассматриваются как неслуховые тексты (keine auditive Texte). В качестве слуховых (аудитивных) текстов на третьем уровне выступают только интонационные, супрасегментные тексты. Супрасегментная значимость не может служить специфическим различителем того класса звуковых признаков, которые являются релевантными в языковом плане.

---

[1] H. Richter, Zur Kategorialitätsegmentelle Abhörtexte, сб. «Gesprochene Sprache», Wiesbaden, 1966.

Из классификации Х. Рихтера все же остается неясным, воспринимаются или нет звуки в процессе речи как дискретные элементы, что происходит с этими звуками, когда на них накладывается сильный груз интонации и почему собственно языковые признаки при этом остаются релевантными, в то время как речевые значительно меняются. Если язык рассматривать как код, т. е. как свод парадигматических правил кодирования, а речь как реализацию этих правил в каком-либо сенсорном сигнальном материале и соответственно как знаковую систему, то проблема восприятия сведется к определению уровней кодирования и декодирования при производстве и приеме речи.

2. Факты, изменяющие традиционное представление о производстве смычных глухих в интервокальном положении, были впервые установлены в лаборатории Л. А. Чистович А. В. Венцовым [2]. Автор исходит из предположения о том, что время смычки согласного находится в диапазоне 60—250 мсек, а время полного сведения и разведения голосовых связок занимает 160—170 мсек. Таким образом, время цикла отведение — приведение не всегда укладывается во время смычки. Следовательно, при смычке голосовая щель должна оставаться сомкнутой, как при произнесении гласных, а не раскрытой, как думали раньше. Однако голосовые складки, хотя и сомкнуты, но не фонируют, так как, по предположению А. В. Венцова, ослабляется натяжение поперечной черпаловидной мышцы и раскрывается так называемый шепотный треугольник, через который воздух входит в ротовую полость; в результате подсвязочное и ротовое давления выравниваются и условия для фонирования пропадают. После окончания смычки перепад давления на связках восстанавливается и начинается фонация гласного. Эта гипотеза проверялась на специально сконструированном аппарате, позволяющем искусственно снижать внутриротовое давление.

Опыты, проведенные А. В. Венцовым, следует признать искусными, а аргументация гипотезы кажется логичной. Однако возникают некоторые сомнения. Если фонация предшествующего гласного кончается в момент начала смычки и возобновляется на следующем гласном, а во время смычки имеет место чистая или пустая пауза, то остается неясным, почему возникающий звук является согласным определенного качества и слышится как глухой (*п*, *к*, *т*). Пусть одновременно с закрытием рта для смычки откроется шепотный треугольник. Тогда перевес ротового давления над подсвязочным прекратит фонацию. При взрыве фонация возникает снова, так как связки уже подготовлены к звучанию гласного, но при этих условиях не может образоваться звук, специфический для глухого согласного Он не может возникнуть и на смычке, так как беззвучие не порождает звука.

Сомнение возникает и относительно работы шепотного треугольника. При фонации поперечная черпаловидная мышца накрепко запирает шепотный треугольник. Иначе воздух, проходящий мимо голосовой щели, будет нарушать речевое дыхание. Появится так называемая воздушность произнесения, наблюдаемая при патологии речи. Сомнительно, чтобы такая экстренная мера, как раскрывание шепотного треугольника на время смычки, была принята в ряду других артикуляционных приемов. Тем более, что голосовая щель может стать шире или уже, без осуществления полного цикла приведения и отведения. Так, голос певца может легко переходить с грудного регистра на фальцет, при котором голосовая щель остается слегка приоткрытой. Следует обратить внимание также и на недостаток

[2] А. В. Венцов, О работе голосовых связок при глухих смычных интервокальных согласных, сб. «Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков», М.— Л., 1966.

методики проверки гипотезы А. В. Венцова — понижение внутриротового давления проводилось искусственно, а не в естественных условиях речи.

Для выяснения механизма работы гортани при произнесении глухих согласных было признано необходимым произвести прямые наблюдения в естественных условиях [3]. Для наблюдения были применены два прибора — глотограф и фотолор. Глотограф регистрирует электрический импеданс гортани. По глотографической записи можно судить о моментах открытия и закрытия голосовой щели. При этом записываются два вида колебаний: а) низкочастотные — в диапазоне частот от 1 гц до 200 гц и б) высокочастотные — в диапазоне частот от 16 гц до 1000 гц. В контрольных опытах было определено, что низкочастотные колебания соответствуют установочным изменениям просвета гортани, в том числе приведению и отведению голосовых связок; высокочастотные регистрируют частоту колебаний голосовых связок. Фотолор представляет собой фотоаппарат, который может быть введен в полость рта так, что испытуемый способен произносить гласные.

Из глотографических записей видно, что интервокальное *n*, например, в слове *папа* произносится в полуволне увеличения электрического импеданса, что свидетельствует о том, что голосовая щель открыта.

Фотографии, полученные при помощи фотолора, показывают, что при шепотном произнесении гласных раскрытие голосовой щели начинается с конца, который на очень короткое время действительно приобретает вид треугольника, но в дальнейшем раскрытие распространяется на всю длину голосовой щели. При этом в разных случаях размер поперечника щели меняется — щель принимает форму от очень тонкой до сравнительно широкой полоски. В зарегистрированных опытах шепотного произнесения никогда не отмечалось полного отведения голосовых мышц. Хотя фотолор не дает возможности зарегистрировать положение голосовых связок при произнесении согласных, полученные данные прямо свидетельствуют о том, что голосовая щель может быть приведена в разные позиции по величине отстояния голосовых складок. Соответственно время раскрытия может меняться от нескольких миллисекунд до 90 мсек.

Эти данные, как видно, восстанавливают традиционную концепцию произнесения шумных взрывных согласных. Однако соображения общего порядка все же толкают на пересмотр старых взглядов.

Неизвестно, как влияет отсутствие основного тона в глухих согласных на мелодику как один из существенных компонентов интонации речи. Будет ли мелодика прерываться и при каких перерывах она может быть восстановлена в восприятии за счет избыточности мелодического движения? Усиливает или ослабляет основной тон всяких согласных вообще просодическую функцию речи?

Эти вопросы затрагивают как акустический аспект процесса, так и психологию восприятия речи. Апория, поставленная А. В. Венцовым, возвращается, но в другой, более общей формулировке. Дело не в том, что время смычки меньше, чем цикл разведения и сведения голосовых складок. Пусть время, необходимое для приведения складок в фонационное состояние, сократится — все равно остается неясным, чем создается глухость смычного согласного.

---

[3] См.: Н. И. Жинкин. Ю. М. Отряшенков, Г. Т. Бекбулатов, Л. Н. Хромов, Приведение и отведение голосовых складок как компонент артикуляции, сб. «Теоретические и экспериментальные исследования в области структурной и прикладной лингвистики», 6, М., 1972; см. также: Н. И. Жинкин, Ю. М. Отряшенков, Г. Т. Бекбулатов, Л. Н. Хромов, Существует ли шепотный треугольник?, там же.

3. Надо было воспользоваться такой методикой, которая разрешала бы надежное выделение основного тона не только из состава гласного, но и из согласных разного вида, в том числе и глухих взрывных. Такая методика была разработана Ю. А. Лейбманом и В. Н. Соболевым [4].

Речевой сигнал $f(t)$, записанный на магнитную ленту, вводится посредством аналого-цифрового преобразователя в электронную цифровую вычислительную машину [5]. В процессе ввода непрерывный сигнал $f(t)$ заменяется последовательностью его дискретных значений $f(n)$ [6]. Машина разбивает дискретизированный речевой сигнал на ряд последовательно расположенных отрезков продолжительности $T = 22$ мсек. Для каждого отрезка речевой волны машина рассчитывает дискретизированную кратковременную автокорреляционную функцию по формуле

$$R_j(l) = \sum_{k=0}^{K} f[(j-1)K + k] \cdot f[(j-1)K + k + l],$$

где j — номер отрезка речевой волны, l и k — дискретные времена, текущие с момента, соответствующего началу j-го отрезка [$l = 0, 1, 2, \ldots, K$ $k = 0, 1, 2, \ldots, K$; $K = \text{entier} \left\{\frac{T}{2\Delta t}\right\}$.

Абсциссы максимумов функции $R_j(l)$ соответствуют интервалам наибольшей корреляции в речевой волне, поэтому наиболее вероятные значения усредненной (на интервале T) частоты основного тона рассчитываются машиной по формуле

$$F_o^i = \frac{1}{\lambda_i \cdot \Delta t},$$

где $\lambda i = \arg \max_{0<l<K} [R_j(l)]$, i — номер максимума.

Чем выраженнее всплеск в автокорреляционной функции, тем больше вероятность того, что он соответствует усредненному периоду основного тона. Поэтому значение $R_j(\lambda_i)$ в известной степени характеризует вероятность того, что истинное значение усредненной частоты основного тона совпадает с рассчитанным значением F_o^i.

Для кажного отрезка речевой волны машина печатает таблицу предполагаемых частот $\{F_o^i\}$, соответствующую ей таблицу вспомогательных величин $\{R(\lambda_i)\}$ и величину $R(0)$, характеризующую квадрат интенсивности речевого сигнала. Перед выдачей данных с целью облегчения последующей ручной обработки машина располагает величины ожидаемых частот F_o^1 в порядке убывания их вероятностей.

Обрабатывая последовательности таблиц $\{F_o^1\}$ и $\{R(\lambda_i)\}_j$, оператор строит интонограмму речи в виде зависимости $F_0 = \varphi(t)$. При построении интонограммы, ориентируясь на время развития интонационного процесса, оператор исключает выбранные машиной значения, соответствующие гармоникам и субгармоникам основной частоты, заменяя их значениями $F_o^{i,j}$ с меньшим λ_{ij}, но близким по величине к значениям надежно выделенных $F_o^{i,j-1}$ и $F_o^{i,j+1}$. Наложенная на построенную зависимость кривая интенсивности позволяет разделить участки интонограммы, соответствующие гласным и согласным звукам.

---

[4] В. Н. Соболев, Экспериментальное исследование корреляционного метода выделения основного тона речи, «Акустический журнал», XIV, 3, 1968.

[5] См.: Ю. А. Лейбман, В. Н. Соболев, Преобразователь аналог-цифра для ввода речевого сигнала в вычислительную машину, «Электросвязь», XVII, 8, 1963.

[6] Постоянная отсчета $\Delta t = t/n$ выбрана равной 111 мсек.

4. Для исследования по описанной выше методике был составлен список из 13 слов, куда входили, кроме глухих смычных и фрикативных в интервокальном положении, также и звонкие согласные. Слова произносились один раз в наиболее удобном для диктора темпе и второй раз — в убыстренном темпе. Согласно инструкции, которая достаточно подробно разъяснялась, чтение слов не должно было происходить в перечислительной или какой-либо другой интонации. Для этого после каждого слова делалась пауза достаточной длины. Восемь лиц, приглашенных для записи, имели высшее образование и считали русский язык родным. Все чтецы прошли осмотр врача ларинголога для проверки нормального состояния гортани. Запись производилась в сурдокамере.

Общая картина результатов исследования глухих согласных в интервокальном положении показана в таблице, в которой отмечены в общем количестве произнесений случаи, когда основной тон предшествующего гласного проходит непрерывно через весь глухой согласный и вливается в тон последующего гласного.

Таблица

Звук	Количество произнесений	Число появлений основного тона
п	16	4
с	16	1
ш	32	3
х	16	1
ф	16	1

Из рассмотрения таблицы видно, что основной тон регистрируется в разном числе случаев на пяти глухих согласных. В частности, в четырех случаях из 16 при произнесении слова *папа* кривая мелодии оказалась непрерывной.

На рис. 1 и 2 представлены интоногаммы (*а*) и кривые (*б*), отражающие энергетическую динамику слова *папа*. Рис. 1 соответствует женскому голосу, рис. 2 — мужскому. Рис. 1 соответствует случаям регистрации непрерывной мелодии в слове *папа*, рис. 2 соответствует случаю, когда по описанной выше методике не регистрируется основной тон во время произнесения интервокального *п*.

Возникает вопрос, является ли наличие основного тона на *п* случайным явлением, например связанным с индивидуальными особенностями диктора, или оно закономерно, т. е. соответствует природе возникновения глухого согласного в русском языке.

При неоднократном прослушивании исходных записей не было замечено никаких отклонений от обычного произнесения одиночных слов, не было обнаружено и каких-либо специфических выразительных интонаций. В поисках ответа на поставленный вопрос целесообразно обратиться к осциллограммам исходных записей. Если присмотреться внимательно к осциллографическим записям смычки, то на некоторых из них можно обнаружить периодичность колебаний. Поэтому было решено произвести значительное усиление сигнала перед его записью на шлейфовом осциллографе. В результате было установлено, что колебания на смычке при произнесении интервокального *п* имеют место во всех исходных записях у любого диктора. На рис. 3—5 приводятся осциллограммы [7] произнесения слова *папа* теми же дикторами, интоногаммы которых были представлены на рис. 1 и 2. Верхние осциллограммы (на рис. 3—5) получены без предварительного усиления речевого сигнала, нижние — после примерно десятикратного усиления. На осциллограмме произнесения третьего диктора (рис. 5) также зарегистрированы отчетливые периодические колебания на участке, соответствующем интервокальному *п*. Было выяснено, что амплитуда колебаний на смычке соизмерима с шагом квантования речевого сиг-

[7] Отметки времени (см. верхнюю дорожку на осциллограммах) следуют с периодом 10 мсек.

нала по уровню (при вводе речи в ЦВМ), что являлось причиной искажения формы автокорреляционной функции и обусловливало ненадежное выделение основного тона для ряда дикторов. Усиление колебаний перед

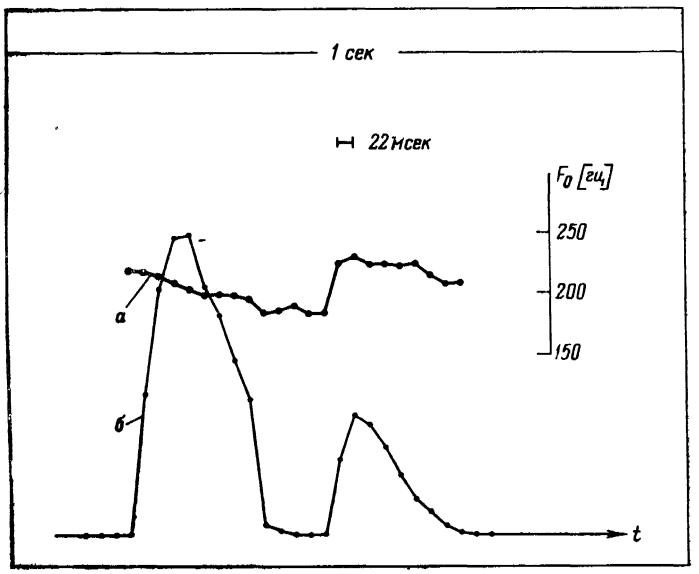


Рис. 1

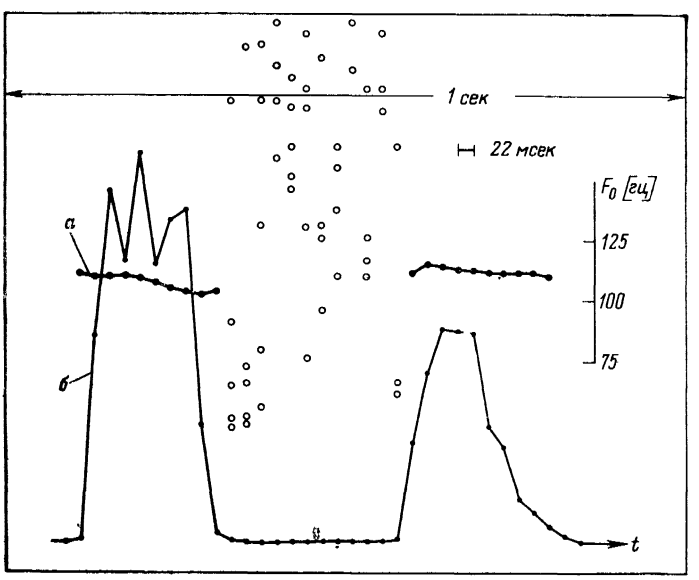


Рис. 2

вводом в машину привело к повышению надежности выделения основного тона на участке фонограммы, соответствующего смычке на *п*.

Из вышеизложенного следует, что регулярные периодические колебания имеют место во всех случаях на смычке глухого согласного в интервокальном положении. Это явление парадоксально, так как тем самым

ставится под сомнение противопоставление звонкости и глухости. Поскольку указанное противопоставление отчетливо воспринимается слухом, необходимо ответить на вопрос, на чем базируется различие в артикуляции и слуховом восприятии этих звуков.

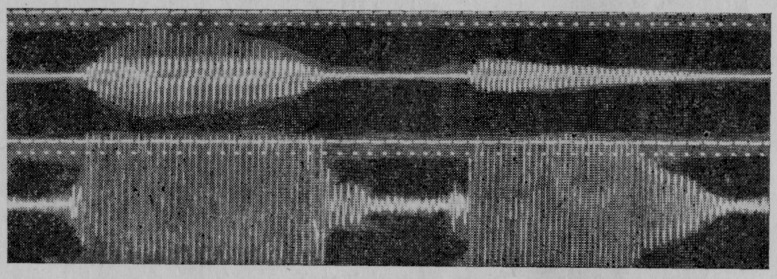


Рис. 3

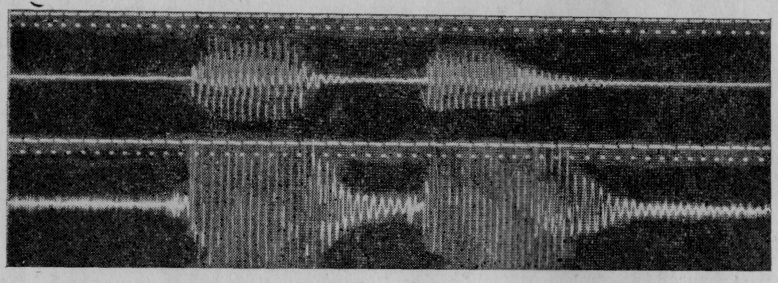


Рис. 4

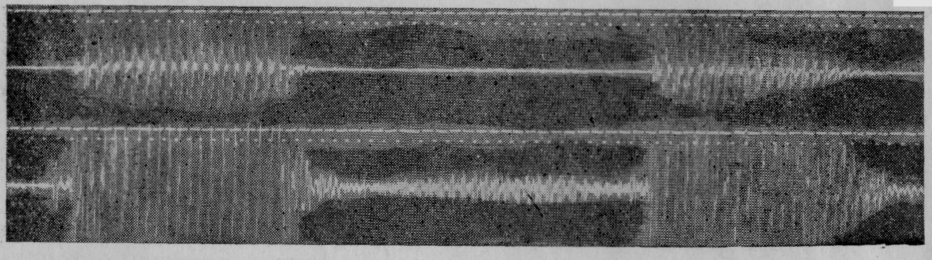


Рис. 5

Для более подробного изучения поставленного вопроса проводился ряд наблюдений.

Наблюдение 1. В фонограмме слова *napa* устранялся весь участок, соответствующий смычке, и заменялся ракордом соответствующей длины. Остальные участки — до и после смычки — оставались при этом неискаженными. При предъявлении такой препарированной фонограммы слышится слово *napa*.

Напрашивается вывод о том, что перерыв фонации интерпретируется слухом как глухость согласного.

Наблюдение 2. Изолированный гласный разрезался пополам и в разрыв вставлялся ракорд, длительность которого равнялась средней длительности смычки в слове *napa*. В этом случае аудиторы отчетливо слы-

шали чистый звук *а* с перерывом (*а* — *а*). К аналогичному результату приводило прерывание любого изолированного звука (*а*, *о*, *у*, *э*, *ы*, *и*).

Наблюдение 3. Фонограмма слова *баба* разрезалась в середине смычки и в разрыв вставлялся ракорд, длительность которого соответствовала при воспроизведении отрезку времени 70 *мсек*. Полученная фонограмма воспринималась как естественное слово *баба*.

Наблюдения 2 и 3 подтверждают утверждение о том, что беззвучие не порождает звука, и тем самым опровергают интерпретацию первого наблюдения.

В наблюдении 1 при вставке ракорда на место смычки интервокального *п* *папа* слышится потому, что резонанс взрыва на *п* содержится при переходе от *п* к *а*, сохраненном без повреждений при вырезке. Из наблюдения 2 вытекает, что при отсутствии такого перехода вставка ракорда между отрезками *а* воспринимается как перерыв фонации. В наблюдении 3 перерыв, внесенный ракордом, не нарушает переходных процессов от *а* к *б*. Кроме того, он не искажает цельности образа слова, что характерно для восприятия знаковых образований, так как избыточность, свойственная стереотипу узнающей системы, позволяет не только восстановить отсутствующий компонент, но и «сбросить со счета» лишний, если он не входит в систему усвоенного стереотипа.

Наблюдение 4. В фонограмме слова *баба* участок, соответствующий смычке на *б*, заменялся ракордом соответствующей длины. Хотя участки до и после смычки оставались неискаженными, внесение ракорда все же нарушало цельность образа слова. При прослушивании такой конструкции в подавляющем большинстве случаев аудиторами регистрировалось звукосочетание *бапа*.

Полученный результат свидетельствует о том, что в восприятие глухости или звонкости взрыва входит оценка интенсивности колебаний на смычке. Необходимость этого условия очевидна, а достаточность требует доказательства. Следует также выяснить, в какой мере интенсивность определяет принадлежность согласного к классу глухих или звонких.

Наблюдение 5. Участок фонограммы, соответствующий смычке на *п* в слове *папа*, вырезался и склеивался в кольцо. При предъявлении полученных таким образом записей для разных дикторов слышался либо звук типа барабанной дроби, либо звук, состоящий из регулярных шумовых импульсов. В обоих случаях звуки были весьма слабыми. Интенсивность колебаний на смычке составляла примерно 0,02—0,03 от интенсивности стационарного участка колебаний гласного в слове *папа* и примерно 0,1—0,3 от интенсивности колебаний на смычке, соответствующей интервокальному *б* в слове *баба*.

Наблюдение 6. Участок фонограммы, соответствующий смычке на *п* в слове *папа*, вырезался; производилось усиление колебаний смычки; усиленная фонограмма вставлялась на прежнее место в фонограмму слова *папа*. Проведение указанных операций приводило к усилению колебаний в слове лишь на участке смычки интервокального *п*. Коэффициент усиления выбирался таким, чтобы интенсивность колебаний на участке смычки интервокального глухого (*п* в слове *папа*) была равна интенсивности колебаний на участке смычки интервокального звонкого (*б* в слове *баба*). При прослушивании фонограммы слова *папа* с усиленной смычкой все аудиторы опознавали слово *папа*, однако отмечали некоторую неестественность произнесения.

Таким образом, влияние интенсивности колебаний во время смычки на решение вопроса о глухости или звонкости звука ограничено. Решающее значение имеет качество звука.

Теперь можно ответить на основной из поставленных вопросов. Глу-

хой смычный согласный, во всяком случае интервокальный, образуется в гортани. При этом возможны два вида звука — шумный и тоновый, что связано, вероятно, с особенностями голоса говорящего.

Если учесть данные о том, что при произнесении глухих согласных голосовые складки приоткрыты, можно считать, что различие в образовании шума и тона зависит от величины раскрытия голосовой щели. При произнесении глухого согласного с тоном голосовые складки наиболее сближены. На их краях и образуется звук *п*. Этот звук на смычке очень слаб и в естественных условиях не прослушивается, так как рот закрыт. Но именно это и создает специфический тембр глухости. Таким образом, специфические колебания голосовых связок во время смычки следует рассматривать как необходимое условие образования глухого взрыва в момент открытия рта после смычки.

При другом способе произнесения глухого согласного голосовые связки более раздвинуты. При их краевых колебаниях образуется шумовой звук.

При произнесении звонкого согласного, например *б*, голосовые складки сближены вплотную; вырабатывается последовательность регулярных импульсов другой формы и значительно большей интенсивности, чем на *п*. В результате смычки повышается обратный импеданс [8] и частота колебаний голосовых связок падает.

5. Область гортани и ее деятельность в процессе речи изучены очень мало. Спор между миоэластической и нейрохроноксической теориями остается нерешенным. Роль гортани в образовании языковых единиц также не очень ясна. Еще не определено в общей форме, происходят ли и если происходят, то в каких случаях, перерывы основного тона в речевой просодии. Поведение гортани при произнесении глухих согласных также нуждается в рассмотрении с общих позиций. Ниже по этому поводу будут сделаны лишь очень краткие замечания.

Язык можно представить как код и соответственно как систему знаков определенной сенсорной природы и как свод правил выработки и соединения этих знаков. Тогда речь можно представить как реализацию этих знаков в безграничных по числу условиях человеческого общения. Речь — это знаковая система; в ней вырабатываются сообщения. Язык не может быть назван знаковой системой, так как в нем не содержится сообщений, но он обеспечивает возможность появления знаковой системы.

Существенным признаком знаковых единиц является их дискретность. Реализация же знаков происходит в непрерывном потоке речи. Перерыв звучания — это или знак границы знаковой последовательности, или признак состояния говорящего.

Для управления речевым процессом необходимо решить довольно сложную задачу — добиться членораздельности непрерывного речевого потока. Сложность состоит в том, что дискретные единицы языка образуют не менее, чем пятиуровневую иерархическую структуру. Некоторая совокупность единиц нижнего уровня образует единицу второго уровня и так далее до пятого уровня, которым можно считать уровень предложений. В слоговой динамике речи должны реализоваться два встречных процесса — с одной стороны, аналитический, обеспечивающий дискретность, с другой стороны, синтетический, обеспечивающий целостность единиц данного уровня.

Сделанных замечаний достаточно, чтобы отметить синтетическую роль деятельности гортани при формировании единиц на уровне фонем и на более высоких уровнях — слов и просодии.

[8] См.: Л. А. Чистович, Изменение основной частоты голоса как различительный признак согласных, «Акустический журнал», XIV, 3, 1968, стр. 449—456.

Если человек открывает или смыкает губы, то никакого звука не возникает. Можно получить звук причмокиванием, но это звук не речевой категории. Продолжает существовать мнение, что *п* образуется в результате прорыва смычки сильным давлением воздуха. Это можно проверить, надув щеки и ударом прорвав смычку. Но и в этом случае появится неречевой звук. Более приемлемое представление состоит в том, что затвор губ не прорывается, а по нервному импульсу на мышцы губы быстро приоткрываются, пропуская тонкую струю быстро выходящего воздуха, накопившегося во рту за время смычки. В этом случае действительно может образоваться *п*, но такое слабое, что оно будет замаскировано соседними звуками. Усилить его и таким образом устранить этот дефект невозможно, так как уровень громкости произвольно задается по меньшей мере слову, а не отдельным звукам этого слова, громкость которых регулируется непроизвольно. Распределение уровней громкости для разных звуков речи можно рассматривать как один из критериев анализа и синтеза речевых единиц. Звук *п* должен быть усилен в определенной масштабности с другими звуками слова. Иначе этот звук будет казаться неестественно сильным, и такое усиление не будет декодироваться как знак.

Сохранение масштабности на уровне громкости является одним из средств синтетического формирования цельности звуковой структуры слова как единицы речи. Одновременно отграничиваются звуковые элементы слова как единицы, входящие в него и подчиняющиеся по вариации громкости другим правилам регулирования громкости. При образовании *п* согласно гипотезе, предлагаемой в этой статье, происходит синтез звука на фонемном уровне при участии гортани. Если бы этот звук формировался только на губах, он не был бы слышен в слове. Если бы голосовые связки при его образовании были сомкнуты, появился бы звук *б*. Добавление основного тона голосовых связок описанным выше механизмом решает эту апорию. Включение гортани участвует в самой природе образования специфического для русской речи глухого звука. Это обеспечивает сохранение противопоставления звонкости и глухости.

Можно отметить еще один существенный способ участия основного тона гортани в образовании целостности звуковой структуры на уровне слова. Известно, что при акустических записях отдельных слов, намеренно произносимых без интонации, возникает часто непрерывно, а иногда с перерывами основной тон, характерный для всего слова [9]. Это такой же признак слова, как и отмеченная выше кривая масштабности уровня громкости, так как состав слова (словоформы в предложении) постоянен.

Учет движения основного тона как признака слова чрезвычайно важен. Целостность слова позволяет различать, с одной стороны, единицы нижележащего, фонемного уровня, и, с другой стороны, единицы вышележащего уровня просодии. На каждом из этих уровней функция основного тона различна. Фигура основного тона, проходящего на уровне слов, является нулевой линией для отсчета мелодии речи. Если к этому добавить кривую непроизвольной громкости единиц ниже уровня слов и кривую средней длительности звуков в составе слова, то станет возможным учет речевой интонации в целом. Надо думать, что эти три аналитико-синтетические нулевые линии речи вырабатываются в опыте коммуникации при усвоении языка и составляет решетку, по которой идет декодирование (восприятие) речи. Иначе нельзя было бы разобраться в том обилии звуковых комбинаций, которые на краткое время появляются и уходят, теряясь в потоке речи.

[9] См.: В. Н. Соболев, указ. соч., стр. 445.

Возможно, что присутствие основного тона в составе глухих согласных следует рассматривать как явление универсальное, свойственное разным языкам. Наличие тона можно понять как антропофоническое свойство артикуляционного аппарата. Программа речи задается не отдельному звуку в слоге, не слогу и не слову, а цепочке слогов некоторой длины как системной совокупности знаков, декодируемых по смыслу. В этих условиях артикуляционный аппарат до начала фонации должен получить из центра установочный импульс, обеспечивающий готовность всей произносительной системы производить операции в нормированно членимое время и выдавать звуки нормализованного качества при затрате определенных порций энергии.

Переход от гласных к согласным (и наоборот) для гортани значительно сложнее, чем для губ, нижней челюсти и языка — вследствие сложности аппарата гортани и предназначенности ее не только для генерации звуков, но и для дыхания. По существующему сейчас представлению фонация гортани на протяжении непрерывного отрезка речи может то включаться, то выключаться. При этом не учитывается, что при каждом выключении будет теряться настройка и готовность всего голосового аппарата к тонким модуляциям. В действительности голосовые складки, не теряя способности к фонации, могут работать то в начально сомкнутом состоянии, то в режиме приоткрытой в разной степени голосовой щели, как это потребуется программой при производстве речи в звуковом коде.

Учитывая эти тонкие переключения гортани, можно объяснить такое странное, на первый взгляд, явление, как акустический переходный процесс от *п* к *а* и от *а* к *п*. Легко представить, как формируется переходный процесс, например, от *а* к *у*. К концу звучания *а* губы будут постепенно сужаться, приближаясь к произнесению *у*. Но непонятно, при каких артикуляционных движениях произойдет переход от *п* к *а* и от *а* к *п* в слове *папа*. При произнесении *п* губы сомкнуты и размыкаются мгновенно на *а*. Здесь, вместо взаимопроникающего перехода, должен был бы появиться перерыв фонации. Так и происходит, о чем свидетельствует наблюдение 2. Если в *а* не содержится переходного процесса от *п*, то смычка (ракорд) воспринимается как фонологически незначимый перерыв *а*. Но стоит только при том же ракорде оставить по бокам переходные процессы, перерыв пропадает и отчетливо слышится слово *папа*. Это явление отмечено в наблюдении 1. Таким образом, в состав звука *а*, при котором рот открыт, входит звук *п*, при котором рот явно закрыт. Остается думать, что в этом случае в формировании переходного процесса принимает участие гортань.

Вообще говоря, было бы достаточно двух указанных наблюдений для того, чтобы доказать основную мысль этой статьи. Но, конечно, наличие прямых данных о присутствии основного тона в глухих согласных усиливает этот тезис. И хотя можно все же подумать, что наличие такого тона не информативно, так как он слаб по интенсивности и не воспринимается как заметная высота, но именно в этом и состоит его информативность. Отсутствие качества заметной высоты позволяет противопоставить *п* звонкому *б*. Слабая же интенсивность в соединении с малозаметной высотой создает специфический тембр глухости, что уже информативно.

Главный же вывод состоит в том, что гортань надо рассматривать как сложный и тонко чувствительный синтезатор звука. Она работает как при звонкости, так и при глухости, она участвует в переходных процессах для выработки непрерывности в слогораздельности звуковых единиц с тем, чтобы приобрели значение смысловые перерывы речи.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Л. В. БОНДАРКО, Л. А. ВЕРБИЦКАЯ

О ФОНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЗАУДАРНЫХ ФЛЕКСИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Фонетический облик заударных флексий, по мнению многих исследователей русской фонетики, определяется двумя факторами: с одной стороны, эти флексии подвергаются тем звуковым изменениям, которые характерны для заударного вокализма вообще; с другой стороны, под влиянием морфологической аналогии заударные флексии как будто бы редуцируются значительно меньше, чем морфологически ненагруженные заударные гласные.

В истории изучения русской фонетики роль этих факторов оценивалась и оценивается по-разному. О преимущественном значении морфологической аналогии писали такие исследователи, как Ф. Е. Корш и А. А. Шахматов [1]. В современной литературе наиболее категорично оценивают ситуацию М. В. Панов, С. М. Кузьмина, М. Я. Гловинская, Н. Е. Ильина, считающие, что «...фонетика только чутко отвечает на потребности грамматического развития и преданно следует за ней. Сама же она лишена своей, собственно фонетической истории, т. е. истории, направляемой ее собственной сущностью» [2]. Исходя из этого предположения (заметим, что оно является именно исходным предположением, а не результатом анализа), авторы цитируемой работы полагают, что гласные заударных флексий выступают в роли показателей морфемного шва и вследствие этого качество их не определяется, во-первых, твердостью или мягкостью предшествующего согласного (принадлежащего основе), а во-вторых, не связано с закономерностями редукции безударных гласных. «Большинство флексий при этом получает под ударением и без ударения более или менее единообразный фонетический облик. Например, флексия ⟨о⟩ в словах *поле*, *сено* выражена одинаково звуком [ъ], флексия ⟨э⟩ (*на этом поле*, *в сене*) — звуком [и]... Этим обеспечивается укрепление одной из упоминавшихся тенденций агглютинации: стандартизации, уединоображивания фонетического облика морфемы» [3].

Более осторожно высказывается на тему о влиянии морфологических факторов на фонетику заударных флексий Л. Л. Буланин. «Не подлежит сомнению,— пишет он,— что предударный и заударный вокализм в известной степени противостоят друг другу. Если предударный вокализм основывается на чисто фонетических закономерностях, то на заударный вокализм известное влияние оказывают морфологические факторы: различение заударных гласных, главным образом, после мягких согласных, отчасти диктуется звуковым обликом суффиксов и особенно окончаний» [4].

---

[1] Ф. Е. Корш, Литература о русском правописании, ИОРЯС, 7, 1902; А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, Л., 1925.

[2] М. Я. Гловинская, Н. Е. Ильина, С. М. Кузьмина, М. В. Панов, О грамматических факторах развития фонетической системы современного русского языка, сб. «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1971, стр. 21.

[3] Там же, стр. 28.

[4] Л. Л. Буланин, Фонетика современного русского языка, М., 1970, стр. 113.

Экспериментально-фонетические исследования характера редукции свидетельствуют, однако, о том, что заударные слоги противопоставлены предударным по признаку чрезвычайно сильной редукции независимо от того, является ли данный заударный гласный элементом флексии или же он входит в состав основы.

Эти особенности обнаружены как при исследовании спектрально-временных характеристик заударных и предударных слогов, так и при изучении характера восприятия этих слогов испытуемыми — носителями русского языка [5].

Целью настоящей работы было объективное исследование фонетических характеристик гласных, находящихся в заударных флексиях.

Слуховой метод анализа оказался необходимым в связи с тем, что вопрос о различимости заударных флексий имеет первостепенное значение с точки зрения восприятия. При этом мы принципиально отказываемся от использования исследователя как аудитора: наши испытуемые аудиторы не знали существа проблемы и оценивали значение заударных флексий при отсутствии профессиональной установки [6].

Материалом для изучения служили отдельно произнесенные слова, а также словосочетания и предложения, содержащие интересующие нас формы. Флексии исследовались в трех частях речи:

1. Прилагательные муж., ср. и жен. рода в ед. и мн. числе; рассматривались отдельно прилагательные, основа которых оканчивается на твердый согласный (*добрая*) и на мягкий согласный (*синяя*) (в дальнейшем употребляются названия «твердая основа» и «мягкая основа»). Прилагательные брались в следующих формах: в им. падеже ед. числа всех родов; в им. падеже мн. числа; в род. падеже ед. числа жен. рода; в предл. и твор. падежах ср. рода (*добрая весть*, *доброе утро*, *добрые люди*, *добрый человек*, *доброй вести*, *на добром слове*, *добрым словом*; *синяя птица*, *синее море*, *синие птицы*, *синий платок*, *синей птицы*, *о синем море*, *синим морем*).

2. Глаголы в настоящем времени, в 3-м лице ед. и мн. числа с твердой и мягкой основой (*он держит*, *они держат*; *он видит*, *они видят*).

3. Существительные жен. и муж. рода в им., род., дат. и твор. падежах (*курица*, *курицы*, *курице*, *Польша*, *Польше*, *Польши*, *чужеземцем*, *чужеземцам*; *Вася*, *Васе*, *Васи*, *няня*, *няне*, *няни*).

Всего было записано около 300 слов в разных фонетических условиях. Прилагательные записывались произнесенные изолированно (например, *синяя*), в составе словосочетания (*синяя птица*) и в составе предложения с разным положением в нем (*Синяя птица летит на юг*, *На юг летит синяя птица*). Глаголы записывались в составе предложений (*Он видит окно — Они видят окно*). Существительные записывались в составе предложений, при этом положение слова в предложении изменялось (*Няня привела детей*, *Детей привела няня*). Слова и фразы записывались в случайном порядке.

С фонетической точки зрения весь материал подбирался с учетом следующих задач: 1) исследование особенностей редукции гласного в заударной флексии *а* после твердого и мягкого согласного; сравнение с редукцией гласных *і*, *ы* в аналогичных условиях (*синяя*, *добрая*, *Вася*, *курица*, *держат*, *видят*); 2) исследование особенностей редукции гласного, фонемная

[5] Л. В. Бондарко, Н. Д. Светозарова, О восприятии безударных слогов, сб. «Фонетика, фонология, грамматика», М., 1971.

[6] Подобного рода исследование было проведено в г. Барнауле Б. И. Осиповым и Б. Д. Николенко, которые также оценивали фонетические характеристики гласных в заударных флексиях по записям испытуемых-аудиторов. См.: В. И. Осипов, Б. Д. Николенко, Наблюдения над произношением заударных гласных в современном русском языке, сб. «Фонетические и морфологические исследования по русскому языку и сибирской диалектологии», Барнаул, 1972.

принадлежность которого разными лингвистами определяется по-разному. Речь идет о конечном гласном в словах типа *красные*, *Васе*, *поле*, *курице* и т. д. Фонетически здесь должен быть гласный *i* (*ы*), так как для безударных позиций употребление гласного *е* литературному произношению не свойственно. Однако существует мнение, что именно в перечисленных случаях морфологическая аналогия пересиливает фонетические правила и сохраняет *е*-образное качество гласного.

При рассмотрении этих двух вопросов взяты разные по отношению к ударению случаи: в первом, втором и третьем заударном слоге (*добрым*, *чищеным*, *чищеные*).

Дикторы. Весь материал был записан на магнитную ленту в произношении четырех дикторов-мужчин. Двое из них — носители московского варианта литературной нормы, двое — представители ленинградского варианта. В каждой из групп один диктор характеризовался как отчетливо произносящий, второй — как гораздо менее отчетливый [7]. В нашем материале представлены и разные стили произношения: практически изолированное произнесение слов приближается к полному стилю произношения, а произнесение тех же слов в сочетаниях или во фразах — к разговорному стилю (данные анализа восприятия подтверждают это предположение).

Из материала, записанного на магнитную ленту, выделялись интересующие нас слова, из которых затем составлялись серии для опытов по прослушиванию. Гласные опознавались, таким образом, в составе целого слова, но вне контекста, в котором эти слова произносились. Такой подход кажется более целесообразным, чем исследование восприятия выделенных из слов гласных: как уже говорилось, основная цель — это изучение возможности различать по заударным гласным разные флексии; в этом случае мы получаем более определенный ответ, если у аудиторов имеется возможность выбора из ограниченного и известного им числа единиц. В случае же опознавания выделенных из слога гласных такой определенности нет. Подобные опыты были проведены только для одной группы слов.

Аудиторы. В опытах по восприятию участвовало 20 человек (студенты 1—4 курсов филфака). Аудиторы записывали в своих анкетах либо сочетание предъявлявшегося прилагательного с существительным (*синий платок*), либо просто окончание (*-ий*); в опытах с глаголами испытуемые должны были, услышав глагол, найти совпадающее по числу местоимение (*он — они держит*); в опытах с существительными записывалось воспринятое слово. В специальной серии опытов испытуемые должны были оценить естественность словосочетания, полученного путем склеивания слов с несовпадающими грамматическими значениями.

Был проведен спектральный анализ гласных из флексий существительных, прилагательных и глаголов. Анализ производился на СЗЧ и динамическом спектрографе типа «Видимая речь».

Результаты опытов по восприятию форм

Iа. Прилагательные. Им. падеж жен. и ср. рода ед. и мн. числа (*добрая — доброе — добрые*; *синяя — синее — синие*; *чищеная — чищеное — чищеные*; *утренняя — утреннее — утренние*).

1. Формы произнесены изолированно или в составе словосочетаний. Лучше всего опознается флек-

[7] Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. П. Щербакова, Некоторые акустические корреляты особенностей дикции, «Материалы VII Всесоюзной акустической конференции», Л., 1971.

сия мн. числа прилагательных с твердой основой (максимальный процент опознания: д. 1 — 90%, д. 2 — 87%, д. 3 — 100%, д. 4 — 100%, минимальный процент — д. 1 — 80%, д. 2 — 64%, д. 3 — 87%, д. 4 — 79%). Прилагательные, произнесенные в составе словосочетаний, в большинстве случаев различаются аудиторами хуже, чем произнесенные изолированно. Наиболее трудный случай — различение прилагательных жен. и ср. рода (как с мягкой, так и с твердой основой); в среднем правильное опознавание этих форм достаточно низкое; наибольший интерес представляет зависимость распознавания от конкретной формы прилагательного.

а) Женский род. Твердая основа (*добрая*, *чищеная*). Аудиторы правильно опознают первую заударную флексию [8] далеко не всегда. Худшая распознаваемость — от 35 до 60% — связана как с особенностями диктора, так и с фонетическими условиями (в связной речи число ошибок больше, чем при изолированном произнесении). В среднем жен. род опознается по флексии в 70% случаев при изолированном произнесении слов и в 54% — в связной речи. Наиболее типичная ошибка — опознание прилагательного жен. рода как прилагательного ср. рода. Влияние местоположения ударения на опознаваемость флексии проявляется непоследовательно. В среднем данные практически совпадают: в изолированном произнесении первая заударная флексия опознается в 70% случаев, вторая заударная — в 68%, в словосочетаниях соответственно — в 54 и 52%. Типичные ошибки и во второй заударной флексии представлены, в основном, опознаванием жен. рода как ср. рода.

Мягкая основа (*синяя*, *утренняя*). Средняя опознаваемость первой заударной флексии 49% при изолированном произнесении и 57% — в словосочетании. Если сравнивать с опознанием флексий прилагательных с твердой основой, то в связной речи они опознаются практически одинаково, а изолированно произнесенные — значительно хуже. Интересно, что у всех дикторов (кроме четвертого) изолированно произнесенные прилагательные опознаются хуже, чем выделенные из сочетаний. Типичные ошибки — опознание жен. рода как ср. рода или же как мн. числа. Ошибочные ответы могут встречаться так же часто, как и правильные. Влияние местоположения ударения в этом случае проявляется более ярко. Флексии в словах, произнесенных дикторами-москвичами, характеризуются резким понижением опознания в словах типа *утренняя*. У диктора-ленинградца («неотчетливого») влияние места ударения также выражено очень значительно. Средняя опознаваемость второй заударной флексии после мягкой основы составляет 45% в изолированно произнесенных словах и 32% — в сочетаниях (против 49 и 57% в первой заударной флексии). Типичные ошибки — те же самые, что и в первой заударной флексии.

б) Средний род. Твердая основа (*доброе*, *чищеное*). Первая заударная флексия ср. рода опознается хуже, чем флексия жен. рода (в среднем в 38,5% случаев в изолированном произнесении и в 36% — в сочетаниях). Типичная ошибка — опознание ср. рода как жен. рода (*добрая*) или как мн. числа (*добрые*). Этот факт говорит о том, что заударное *а* может восприниматься как *ы* (от орфоэпической нормы это не зависит: у д. 1 — 26% случаев, у д. 2 — 29%, у д. 3 — 20% опознается как мн. число). Более чем в половине случаев ошибочные ответы встречаются или чаще правильных или почти так же часто. Влияние месторасположения ударения сказывается в некотором ухудшении правильного опознания ср. рода в словах типа *чищеное*. Однако ухудшение это не очень значительное.

[8] Первой заударной флексией называем двухсложную последовательность в словах типа *добр**ая***, *син**яя***; второй заударной флексией — двухсложную последовательность в словах типа *чищен**ая***, *утренн**яя***.

Мягкая основа (*синее*, *утреннее*). Первая заударная флексия в прилагательных ср. рода с мягкой основой опознается в среднем только в половине случаев в изолированном произнесении и значительно хуже — в словосочетании. Типичными ошибками является опознание как жен. рода или как мн. числа. В произношении дикторов 1, 2, 3 ошибочные ответы более вероятны, чем правильные. Вторая заударная флексия (*утреннее*) в среднем опознается не хуже (а в некоторых случаях даже лучше), чем первая заударная. Однако характер ошибок несколько меняется — появляются частые опознания ср. рода как мн. числа (д. 2 и д. 3, в сочетаниях), при этом ошибки такого рода встречаются чаще, чем правильные ответы.

в) Множественное число. Твердая основа (*добрые*, *чищеные*). Правильное опознание первой заударной флексии встречается довольно часто при изолированном произнесении слова; при выделении слова из сочетания опознание значительно ухудшается для слов, произнесенных ленинградцами, и несколько ухудшается для слов, произнесенных москвичами. Типичная ошибка — опознание мн. числа как формы муж. рода ед. числа (т. е. восприятие заударного *ы* сохраняется). Во второй заударной флексии картина в общем такая же, только число ошибочных ответов (опознание как муж. рода) возрастает.

Мягкая основа (*синие*, *утренние*). В первой заударной флексии опознаваемость довольно высокая (в среднем около 75%) в изолированном произнесении и приближается к 60% в словосочетаниях. Типичные ошибки — опознание на месте флексии мн. числа флексий муж., жен. и ср. рода. Средняя опознаваемость второй заударной флексии при мягкой основе (*утренние*) довольно низкая (около 40%); пожалуй, именно в этом случае зависимость опознания от места ударения максимальная.

Сводные данные о средней опознаваемости форм им. падежа жен. и ср. рода ед. числа и им. падежа мн. числа представлены на рис. 1.

2. Формы произнесены во фразах. Формы слов, произнесенных в словосочетаниях, как правило, опознаются хуже, чем формы изолированно произнесенных слов. Для приближения к условиям реальной речи все рассмотренные выше слова были записаны и в составе фраз, а затем, после их выделения из фраз, предъявлены аудиторам.

Формы муж. рода рассматривались в связи с тем, что при опознании других форм были ошибочные ответы, в которых мн. число опознавалось как муж. род. Только опознание жен. рода в некоторых случаях дает высокий процент (80% у д. 1, 60% у д. 3). В остальном же этот материал характеризуется очень низкой опознаваемостью флексий ср. рода ед. числа и мн. числа прилагательных. Что касается восприятия форм муж. рода, что они, как и следовало ожидать, опознаются достаточно хорошо.

Для определения общей тенденции, проявляющейся в фонетических характеристиках форм прилагательных в разных контекстах (изолированное слово — сочетание слов — предложение), были составлены графики средней опознаваемости форм, выделенных из разных контекстов (см. рис. 2). На этом рисунке видно, что опознаваемость формы тем хуже, чем больше контекст, из которого выделена форма. (Некоторые исключения из общего правила связаны или с особенностями диктора — см. данные по д. 1, или с тем, что при очень низкой опознаваемости слова, выделенного из сочетания, имеется небольшое повышение ее на слове, выделенном из предложения — не более, чем на 10%).

Iб. Прилагательные. Род.-дат.-предл. падеж жен. рода ед. числа (*чищеной*, *утренней*).

Анализ результатов восприятия показывает, что правильного опознания флексии по качеству практически нет. На рис. 3 представлены данные

об опознаваемости этих форм. Аудиторы, как правило, при прослушивании слов типа *чищеной*, *утренней* определяют эти слова как прилагательные муж. рода. им. падежа (*чищеный*, *утренний*). Влияние твердости или мягкости основы заметить трудно, как и влияние стиля произношения. Эти факты, а также абсолютное отсутствие правильных ответов приводят к

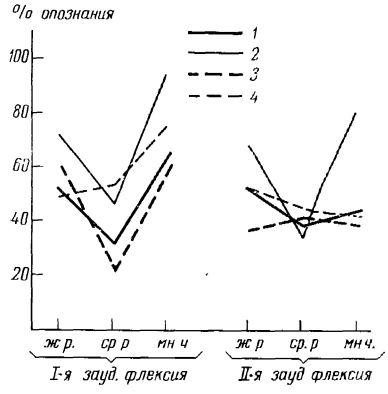


Рис. 1

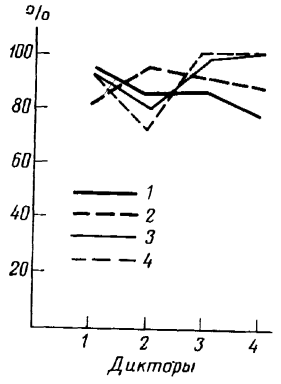


Рис. 3

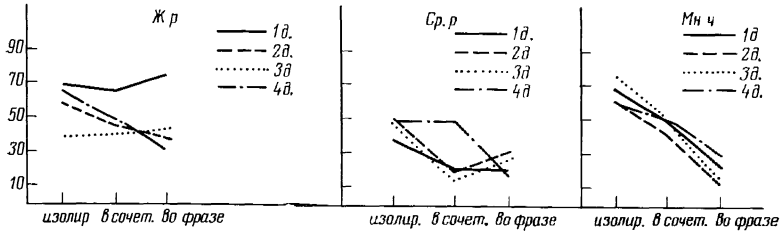


Рис. 2

Рис. 1. Опознаваемость форм прилагательных им. падежа жен. и ср. рода ед. числа и им. падежа мн. числа: 1 — слово с твердой основой в сочетаниях; 2 — изолированное слово с твердой основой в сочетаниях; 3 — слово с мягкой основой в сочетаниях; 4 — изолированное слово с мягкой основой

Рис. 2. Зависимость опознаваемости формы прилагательного от контекста произнесения

Рис. 3. Опознаваемость форм род. падежа жен. рода как им. падежа муж. рода. 1 — слово с твердой основой в сочетаниях; 2 — слово с мягкой основой в сочетаниях; 3 — изолированное слово с твердой основой; 4 — изолированное слово с мягкой основой.

мысли о том, что испытуемые при определении формы прилагательного опираются не на фонетические, а на какие-то другие характеристики слова.

В связи с тем, что характерной ошибкой было опознание *доброй* как *добрый*, было решено провести дополнительный опыт по опознанию прилагательных муж. рода. Оказалось, что муж. род опознается очень хорошо (не ниже 80%). Типичная ошибка — не опознание фонетически близкой формы *доброй*, а опознание мн. числа. Это свидетельствует о влиянии более сильного, чем фонетические характеристики, фактора: аудиторами выбирается не форма косвенного падежа (*доброй*), а форма прямого падежа мн. числа *добрые*, хотя она отличается от предъявляемого слова количеством слогов. Можно, однако, предположить, что и качество гласного *ы* не позволяет опознавать формы типа *добрый* как *доброй*.

Iв. Прилагательные. Предл. и твор. падежи муж. рода ед. числа (*о свежем — свежим*).

Наиболее общей закономерностью является восприятие форм типа *свежем* как формы твор. падежа *свежим* для прилагательных и с твердой, и с мягкой основой. Характер ошибок не зависит ни от орфоэпической

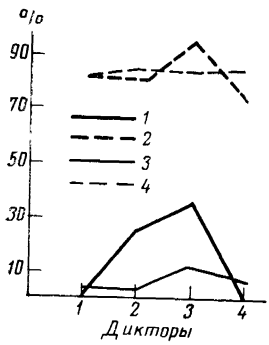


Рис. 4

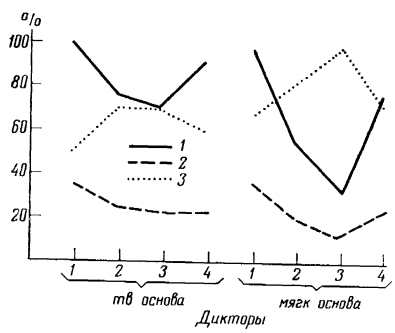


Рис. 5

Рис. 4. Опознаваемость форм прилагательных предл. падежа ед. числа муж.рода: 1 — *свежем*; 2 — *свежим*; 3 — *синем*; 4 — *синим*

Рис. 5. Опознаваемость флексий существительных: 1 — *а*; 2 — *е*; 3 — *и/ы*

нормы, ни от индивидуальных особенностей диктора: и у диктора-ленинградца и у диктора-москвича форма *свежем* вообще не опознается правильно (см. рис. 4); напомним, что д. 1 и д. 4 являются наиболее выразительными в своей группе.

Форма *свежим* опознается очень хорошо независимо от диктора и орфоэпической нормы. Тот факт, что при оценке этой формы почти нет ошибок в сторону *свежем*, а также и преимущественное опознание этой последней формы как формы *свежим* свидетельствует о следующем: фонетические характеристики флексии предл. падежа (*-ем*) недостаточны для ее правильного опознания; характер ошибок при восприятии свидетельствует об *ы*-образном звучании гласного флексии, что и приводит к соответствующему восприятию; с другой стороны, можно предположить, что форма *свежим* является более предпочтительной для аудиторов не только по фонетическим характеристикам: ошибки замены форм *свежем — свежим* и наоборот — *свежим — свежем* неравновероятны.

IIа. Существительные. Им., род. и дат. падежи жен. рода ед. числа с твердой (*улица — улицы — улице*) и с мягкой основой (*няня — няни — няне*).

Для существительных с твердой основой речь идет о сохранении фонетических характеристик заударного *а*, *ы* и *е*, для существительных с мягкой основой, кроме того, встает вопрос о качестве гласного во флексии: как известно, после мягких согласных безударное *а* должно чередоваться с *i*, но в окончаниях существительных с мягкой основой фонетисты находят скорее *а*-образный, чем *i*-образный звук, который обозначается как гласный заднего ряда (ъ).

Все исследованные слова произносились дикторами во фразах; каждое слово находилось обязательно и в начале (*Няня привела детей*) и в конце фразы (*Детей привела няня*).

На рис. 5 представлены данные об опознании флексий в словах, выделенных из этих фраз. Анализ данных, полученных в опытах по восприя-

тию, показал, что опознание форм слов не зависит от их места во фразе. Поэтому ниже приводятся данные независимо от положения слова в начале или в конце фразы.

Видно, что флексия им. падежа существительных с твердой основой (*улица*) опознается сравнительно хорошо — не менее, чем в 70% случаев. Флексия им. падежа существительных с мягкой основой (*няня*) опознается хорошо (74% и 97%) у диктора 4 и у диктора 1; у двух остальных дикторов опознание значительно хуже: 53% у д. 2 и 30% у д. 3. Худшая опознаваемость характеризует формы дат.-предл. падежа (*курице — няне*) как в словах с твердой, так и в словах с мягкой основой: максимальный процент опознания — 35%.

Опознание флексии род. падежа (*улицы*) занимает промежуточное положение в существительных с тведой основой: формы *улицы* опознаются лучше, чем *улице*, но хуже, чем *улица*. Для существительных с мягкой основой можно говорить о лучшем опознании формы род. падежа: для всех дикторов, кроме д. 1, формы *няни* опознаются лучше, чем *няня*.

Большая разница в опознаваемости флексии им. падежа существительных с мягкой основой в зависимости от диктора может быть объяснена в какой-то мере данными спектрального анализа: у дикторов 1 и 4 реализуются скорее *а*-образные звучания, тогда как у дикторов 2 и 3 спектр гласного в этом случае совпадает со спектром гласного *і* (см. рис. 6). Однако нужно заметить, что и на спектрограммах д. 1 и д. 4 только характеристики FI и FII сближают этот гласный с гласным *а*; интенсивность FIII очень велика, как это обычно наблюдается в гласных переднего ряда. На основании анализа частотных характеристик гласных в этих случаях можно предположить, что и у дикторов 1 и 4 реализуется все же не гласный заднего ряда. Для проверки этого предположения был проведен дополнительный эксперимент. Из тех слов, которые предъявлялись аудиторам в первом опыте целиком, были выделены конечные гласные; опознание этих гласных существенно отличается от опознания целых слов. На рис. 7 представлены данные о том, как воспринимаются гласные флексии им., род. и дат. падежей в тех случаях, когда они предъявляются не в составе слова, а отдельно. Как видно из рисунка, худшей опознаваемостью характеризуется флексия им. падежа (30—40% — максимальная опознаваемость после твердого согласного; после мягкого — не больше 5%). Такие данные приводят к мысли о том, что при опознании формы целого слова *няня* аудиторы используют не только спектральные характеристики гласного во флексии, но и его временные характеристики, а именно его относительную длительность в слове (известно, что для гласного *а* эта величина всегда больше, чем для *і*) [9]. Когда же гласный выделен из слова, эти сведения отсутствуют, и аудиторы определяют качество гласного на основе только спектральной картины, которая говорит о переднем характере гласного.

Интересно, что опознание изолированных флексий род. и дат. падежей не отличается практически от опознания целых слов (*улице, няне — улицы, няни*). Лучшей опознаваемостью и в этом случае характеризуются гласные *ы — і*.

---

[9] Разумеется, это же относится и к произносящим данные формы. Для реализации им. падежа используются такие средства, как относительно большая длительность заударного гласного — единственный след открытости гласного во флексии *а*. Влияние же мягкого согласного на этот гласный так велико, что никаких признаков заднего ряда в этом гласном нет. Таким образом, из сопряженных признаков гласной фонемы *а* — задний ряд и низкий подъем — более устойчивым оказывается признак подъема.

IIб. Существительные. Твор. падеж ед. числа и дат. падеж мн. числа некоторых существительных муж. рода (*чужеземцем — чужеземцам*).

Эти существительные также произносились во фразах в начале и конце; различия в опознании в связи с местом во фразе не было, поэтому

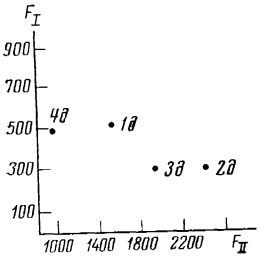


Рис. 6

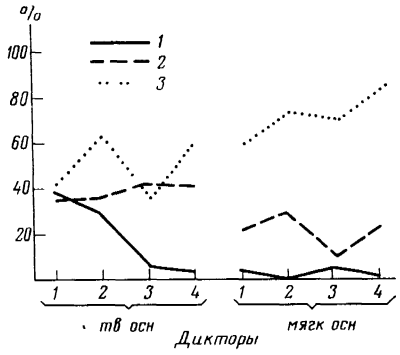


Рис. 7

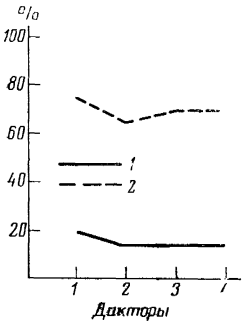


Рис. 8

Рис. 6. Частотное положение формант в гласном заударной флексии им. падежа существительных с мягкой основой (*няня*, *Вася*)

Рис. 7. Опознаваемость гласных, выделенных из флексий существительных им., род. и дат. падежей: 1 — *а*; 2 — *е*; 3 — *и*/*ы*

Рис. 8. Опознаваемость форм твор. падежа ед. числа и дат. падежа мн. числа некоторых существительных муж. рода: 1 — *чужеземцам*; 2 — *чужеземцем*

данные приводятся независимо от места слова во фразе. На рис. 8 приведены эти данные. Форма мн. числа (*чужеземцам*) опознается плохо (максимально в 20% случаев). В большинстве случаев эти формы опознаются как формы твор. падежа ед. числа. В свою очередь твор. падеж ед. числа опознается хорошо (в среднем в 70% случаев).

С фонетической точки зрения, эти флексии реализуются как *ы* — *чужеземцем* и *а* — *чужеземцам*; как мы уже видели, опознаваемость заударного *ы* всегда лучше (см. восприятие прилагательных), чем опознаваемость заударного *а*, так что эти результаты вполне объяснимы собственно фонетически. Сильная редукция заударного *а*, приводящая к значительному сдвигу частот первых двух формант и к сокращению длительности гласного, приводит к тому, что этот оттенок характеризуется самыми значительными отличиями от основного оттенка гласного *а*. Это, безусловно, и создает ситуацию «фонетической неопределенности», когда собственных характеристик звука недостаточно для его правильной идентификации. Однако неслучайность ошибочных ответов свидетельствует и о возможном действии нефонетических факторов, действующих при опознании.

III. Глаголы. Ед. и мн. число 3-го лица с твердой (*он держит — они держат*) и с мягкой (*он видит — они видят*) основой.

Результаты опытов по опознанию этих форм приведены на рис. 9. Видно, что слова, произнесенные дикторами-ленинградцами и дикторами-москвичами, опознаются по-разному. Мн. число глаголов с твердой и мягкой основой опознается очень редко у ленинградцев и очень хорошо у москвичей. Это, пожалуй, единственный случай отчетливого влияния орфоэпической нормы на произнесение заударных флексий. Для «ленинградского» произношения характерно, что глаголы во мн. числе опознаются чаще как глаголы в ед. числе, тогда как обратных ошибок практически нет. Можно предположить и здесь влияние психолингвистических факторов, благодаря которым отдается предпочтение единственному числу.

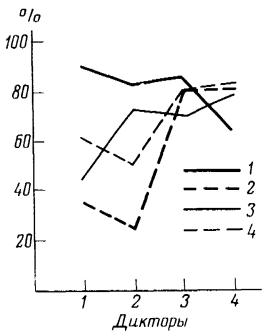


Рис. 9. Опознаваемость глагольных флексий ед. числа 3-го лица и мн. числа 3-го лица: 1 — *держит*; 2 — *держат*; 3 — *видит*; 4 — *видят*

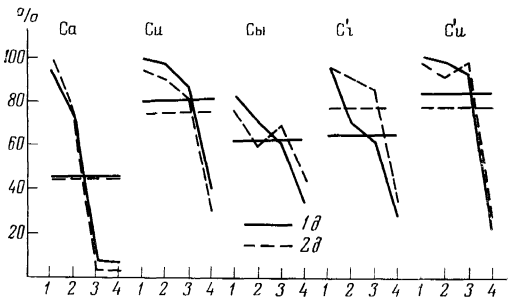


Рис. 10. Опознаваемость заударных гласных в морфологически ненагруженных слогах в сравнении с ударными и предударными: 1 — ударный; 2 — 1-й предударный; 3—2-й предударный; 4 — заударный

В московском варианте произношения опознаваемость обеих форм удовлетворительная. Тот факт, что ед. число опознается хорошо, не противоречит данным, приведенным выше,— мы видели, что всегда опознание заударного *ы* удовлетворительное. Объяснения требует лишь хорошая опознаваемость форм мн. числа (*слышат*, *видят*). Дело в том, что дикторы-москвичи произносили во флексии огубленный гласный *и* (хотя и сильно редуцированный), что подтверждают и данные спектрального анализа.

Анализ результатов

Данные аудиторского анализа показывают, что правильное опознание формы слова только по фонетическим характеристикам заударных флексий —явление достаточно редкое. Убедительный процент правильного опознания (75% и выше) встречается лишь в отдельных случаях, а процент правильного опознания от 49 до 54%, встречающийся чаще всего, скорее может свидетельствовать о чисто случайном выборе данной формы из двух возможных [10].

Анализ правильных и ошибочных ответов испытуемых, а также анализ акустических характеристик предъявлявшегося материала позволяет сделать следующие выводы:

1. Общий характер редукции заударных флексий такой же, как и остальных заударных гласных. Так, например, заударный гласный *а* после твердого согласного опознается достаточно плохо в том случае, ког-

[10] Этот вывод хорошо согласуется с теми сведениями, которые приводят в своей работе В. И. Осипов и Б. Д. Николенко.

да имеется возможность выбора из двух форм — с заударным *ы* или с заударным *а* (*держат* воспринимается как *держит*). Наоборот, заударный *ы* достаточно хорошо сохраняет свои характеристики (*держит* воспринимается правильно в большом числе случаев). Эти данные хорошо согласуются с данными о восприятии заударных слогов, выделенных из слов и не несущих морфологической нагрузки: при общей плохой опознаваемости любого заударного слога хуже всего опознаются слоги с заударным *а* (не более 5% правильных ответов), тогда как слоги с другими гласными опознаются правильно гораздо чаще. Причиной такой плохой опознаваемости заударного *а* является его сильная редукция, отличающая этот гласный от других заударных гласных и приводящая к значительному изменению его характеристик по сравнению с тем же гласным в ударном и первом предударном слогах. На рис. 10 приведены сведения о том, как опознаются морфологически не нагруженные слоги в разных по отношению к ударению положениях. Особое место заударных слогов с гласным *а* здесь видно очень отчетливо [11].

Спектральный анализ гласных в заударных флексиях показывает, что и на уровне акустических характеристик нельзя говорить о большей сохранности заударных флексий по сравнению с остальными заударными гласными. Так, частотные характеристики флексии им. падежа ед. числа существительных жен. рода с мягкой основой (*няня*, *гусыня* и т. д.) свидетельствуют скорее о переднем характере этого гласного (частота FII в большинстве случаев ближе к 2000 гц, чем к 1000 гц, а интенсивность FIII всегда очень высока, как это наблюдается в спектре *i*).

2. Степень редукции флексии, как и других заударных гласных, зависит от их положения по отношению к ударению; поэтому в общем случае «вторые заударные» флексии (*чищеная*, *утренняя*) опознаются хуже, чем «первые заударные» (*добрая*, *синяя*).

3. На характер восприятия флексии влияют как фонетические, так и нефонетические факторы. Анализ ошибок при распознавании форм слов показывает, что в случае фонетической неопределенности флексии ответы испытуемых нельзя считать случайными. Одни формы характеризуются лучшей опознаваемостью по сравнению с другими, фонетически с ними сходными. Лучшей опознаваемостью характеризуются прилагательные жен. рода с твердой основой (*добрая*) — от 55 до 70% правильных ответов, формы прилагательных мн. числа с твердой основой (*добрые*) — от 62 до 95% правильных ответов, формы твор. падежа ед. числа прилагательных муж. рода (*свежим*) — от 75 до 95% правильных ответов, формы твор. падежа ед. числа существительных муж. рода (*чужеземцем*) — от 65 до 75% правильных ответов, формы ед. числа 3-го лица глаголов с твердой основой (*слышит*) — от 62 до 90% правильных ответов.

Фонетически сходные с ними формы опознаются значительно хуже.

Хорошо опознаваемые формы	Плохо опознаваемые формы
добрая	*доброе*
добрые	*доброе*
свежим	*свежем*
чужеземцем	*чужеземцам*
слышит	*слышат*.

[11] Эти вопросы специально исследовались в работах: L. V. Bondarko, The syllable structure of speech and distinctive features of phonemes, «Phonetica», 20, 1969; Л. В. Бондарко, Н. Д. Светозарова, указ. соч; Л. В. Бондарко, Л. Е. Кукольщикова, Л. П. Павлова, Н. Д. Светозарова, А. С. Штерн, Восприятие фонем в слогах разных типов, сб. «Анализ речевых сигналов человеком», Л., 1971.

Здесь может идти речь о влиянии двух различных факторов: или собственно фонетические характеристики соответствующей формы выражены достаточно ярко, или правильное опознание определяется другими причинами. В этом последнем случае речь должна уже идти не об о п о з н а н и и, а о в ы б о р е соответствующей формы из числа возможных. Рассмотрим оба эти случая. Хорошая опознаваемость формы *свежим* и плохая опознаваемость формы *свежем* фонетически определяется тем, что и в том, и в другом случае имеется заударный гласный *ы*; это значит, что дикторы не различают эти формы в произношении, а качество заударного гласного достаточно определенно ассоциируется с гласным твор. падежа. Хорошая опознаваемость формы *добрая* и плохая опознаваемость формы *доброе* фонетически может быть истолкована так: обе формы реализуются у дикторов одинаково: [dobrai]; однако когда аудитор слышит комплекс [dobrai], он чаще отвечает, что это прилагательное *добрая*, и значительно реже приписывает этому звуковому комплексу значение *доброе*. Это приводит к мысли о психологической или психолингвистической неравноценности разных форм при их выборе аудиторами в случае фонетической неопределенности.

В связи с этим встает вопрос о том, какова роль смыслового контекста при оценке форм слов. Для выяснения этого были проведены специальные опыты, где исследовалось восприятие фонетически сходных форм, искусственно помещенных в несоответствующие контексты. Так как было обнаружено, что формы прилагательных жен. и ср. рода очень плохо различаются между собой, было решено провести дополнительный эксперимент, который заключается в следующем: из сочетания с прилагательным в жен. роде (*добрая слава*) вырезалось прилагательное и склеивалось с существительным ср. рода; из сочетания с прилагательным в ср. роде (*чищеное блюдо*) вырезалось это прилагательное и склеивалось с существительным жен. рода; полученные таким образом сочетания предъявлялись испытуемым вперемешку с естественными. Аудиторам предлагалось отмечать те сочетания, в которых, по их мнению, согласование прилагательного и существительного было нарушено. Оказалось, что в большом количестве склеенных сочетаний с действительно нарушенным согласованием испытуемые не замечают этих нарушений. Оказалось, что и в этом случае прилагательные ср. рода, помещенные в несоответствующий контекст, опознаются неправильно чаще, чем прилагательные жен. рода, и в первую очередь прилагательные с мягкой основой (т. е. *синее* опознается как *синяя*).

Это свидетельствует о преобладающей роли контекста в случае фонетической неопределенности заударного гласного и может служить основанием для вывода о том, что и в естественных условиях форма слова определяется не столько по ее фонетическим характеристикам, сколько на основе анализа смысловых отношений. При этом чем шире смысловой контекст, в котором произносится данная форма, тем более неопределенными становятся собственные фонетические характеристики заударной флексии, что приводит к значительному ухудшению их опознаваемости.

4. Результаты опознания зависят и от орфоэпической принадлежности диктора. Практически такая зависимость обнаружена только в одном случае — а именно при опознании глагольной флексии мн. числа (*они держат*, *они видят*): если произнесенные дикторами-ленинградцами эти формы чаще всего опознаются как формы ед. числа, то в московском варианте произношения они опознаются правильно почти всегда. В остальных случаях — как во флексиях прилагательных, так и во флексиях существительных — никаких существенных расхождений в оценке нет.

5. Из индивидуальных характеристик диктора имеет значение, с одной стороны, отчетливость произнесения, характерная для двух дикторов из

четырех (диктор 1 — ленинградец и диктор 3 — москвич — «отчетливые»), а с другой стороны — стабильность произнесения. Первое обстоятельство приводит к тому, что в каждой из групп (ленинградские дикторы и московские дикторы) флексии слов, произнесенных «отчетливым» диктором, опознаются значительно лучше, чем в произнесении «неотчетливого» диктора: в группе ленинградцев — в 2,3 раза, в группе москвичей — в 1,4 раза. Стабильность произнесения наиболее выражена у диктора 4 (москвича): хотя при чтении изолированных слов он может быть охарактеризован как «неотчетливый», его произношение словосочетаний и фраз значительно ближе к изолированному, о чем свидетельствует лучшая опознаваемость флексий именно в этих условиях. «Отчетливый» же, с точки зрения изолированного произнесения, диктор 3 (тоже москвич) настолько значительно изменяет фонетические характеристики флексий в потоке речи, что опознавание их значительно хуже, чем у диктора 4.

Все сказанное выше позволяет прийти к общему выводу о том, что при оценке фонетических реализаций разных морфологических единиц нельзя не учитывать собственно фонетические закономерности, свойственные современному русскому языку. При этом роль фонетических характеристик заударных флексий при опознании этих последних носителями языка нельзя преувеличивать, так как не меньшую роль играет при этом лингвистическая избыточность смыслового контекста.

Роль морфологической аналогии заключается, видимо, в том, что она обеспечивает потенциальную возможность произнесения в фонетически запрещенной позиции гласного, реализующегося обычно в соответствующих морфологических формах под ударением; бесспорно, что в настоящее время каждый носитель литературного русского языка может произнести слова *дыня*, *поле* и т. д. как [dɨn'a], [pol'e]. Однако в реальном потоке речи эта потенциальная возможность реализуется, видимо, достаточно редко.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. П. ДУЛЬЗОН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАДЕЖНЫХ АФФИКСОВ АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Сопоставление падежных аффиксов тюркских языков с енисейскими позволяет отнести к пратюркскому времени аффиксы *-ныӈ* (посессив), *-ны* (вин. п.), *-k* > *-Y* (вин. п.), *-та* (местн. п.), *-тан* (исх. п.), *-ка* (инессив), *-ин* (орудн. п.), *-па* и *-ла* (твор. п.) и выдвинуть гипотезу о том, что генетически система склонения тюркских языков могла быть связана с системой енисейского типа [1]. При этом возникает вопрос, нельзя ли распространить это утверждение также на монгольские и тунгусо-маньчжурские языки, т. е. нельзя ли отнести становление основной массы указанных аффиксов к протоалтайскому времени. С этой целью будут рассмотрены монгольские и тунгусо-маньчжурские падежные аффиксы, имеющие параллели в тюркских языках. Но прежде чем перейти к этому, необходимо указать принципы, в соответствии с которыми может быть найдена морфонематическая база праязыкового времени для отдельных семей, которая позволила бы сопоставлять разные формы в выбранных для сравнения языках с достаточной достоверностью.

Гласные и согласные в составе тюркских падежных аффиксов имеют чередующиеся варианты. Гласные (если отвлечься от лабиальной гармонии) могут быть сведены к двум рядам таких вариантов: 1) *ы* — *и* (посессив, вин. падеж, орудн. падеж), 2) *а* — *е* (инессив, исх. падеж, местн. и твор. падежи). Вариация гласных по переднему или заднему ряду объясняется гармонией гласных, но отбор основных гласных (*ы* или *а*) остается необъяснимым, если не выходить за пределы этих языков. В енисейских языках первому ряду чередования соответствует ряд *а*(*ы*) — *и*, а второму только *а* или *е*, например: *бу-даӈ*, *бу-дыӈ* «у него», *бу-диӈ* «у нее»; *сес-ка*, *сес-ке* «в реке». Чередование гласных *а*(*ы*) — *и* в енисейских языках служило для выражения классных значений (одушевленности, пола и неодушевленности); после утраты этих значений имевшиеся фонетические варианты способствовали развитию системы гармонии гласных.

Отметим два обстоятельства, важных в методическом отношении: 1) если бы был известен только диалектный вариант *бу-даӈ*, его трудно было бы связать с тюркским *-дыӈ*; 2) если не учитывать функций отдельных звуков, то было бы легко спутать первый ряд чередования со вторым. Так, например, исходя из кетских форм *бу-даӈ-т*(*а*) «у него», *а-баӈ-т*(*и*) «у меня», можно было бы постулировать чередование *а* — *и* в аффиксе местн.

[1] См.: А. П. Дульзон, Кетско-тюркские параллели в области склонения, «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках. Тезисы докладов на конференции, организованной ЛО Ин-та языкознания АН СССР (7—9 апреля 1970 г.)», Л., 1970; его же, Кетско-тюркские параллели в области склонения, «Советская тюркология», 1971, 1. Ср., однако, иную точку зрения: V. Thomsen, Sur le système des consonnes dans la langue ouïgour, «Keleti Szemle», II, 1901, стр. 241—259.

падежа. На деле же *-а* и *-и* выделяют различные точки пространства: *та* «там подальше», *ти* «тут поближе»; ср. *кан'* «там» — *кин'* «здесь». Тюркским падежным аффиксом местн. падежа стал вариант с первым значением (*та*).

Согласные анлаута в составе падежных аффиксов в тюркских языках могут быть сведены к следующим трем рядам: 1) *k*, *Y*, 0; 2) *д*, *т*, *н*, *з*, 0; 3) *т*, *д*, *н*, *з*, *р*, *л*, *ч*. Первый из этих рядов, выражающий те же значения и в енисейских языках (с вариантом, в котором увулярный смычный замещается гортанным смычным), не требует особых замечаний. Во второй ряд согласных, встречающихся в аффиксах посессива (адессива), род. и инстр. падежей, входят *т* и *з*, имеющие явно ассимилятивное происхождение; исходным предлагается считать *н*; он восходит к *д*, присущему енисейским языкам. Отпадение $н < д$ в род. падеже в чувашском и огузских языках надо отнести к очень раннему времени, так как оно имеет параллель в енисейских языках [2].

Третий ряд чередований связан с двумя фонетическими различными условиями: согласный находится в открытом слоге (аффикс местн. падежа) или в закрытом (аффикс исх. падежа). В обоих случаях варианты *д* и *з* исключаются как ассимилятивные. Для определения качества исходного согласного особенно важен учет позиции между гласными. В чувашском здесь представлен звук *р*. Если иметь ввиду, что *ч* в чувашском варианте должен восходить к *т'*, то естественно предположить следующий ход развития для этого звука: $т > д > \delta > р$. К этому же звуку можно возвести согласный в башк. *-ла* < *-ра* (*дала-ла* «в степи»). Башк. *-нан* в той же позиции (*дала-нан* «из степи») могло возникнуть из *-дан* путем ассимиляции с конечным *н*. Полную аналогию фонетического развития этого окончания показывает уступительная частица в башкирском языке; ср., например, *касан булһа* ***ла*** «когда бы то ни было»; *ниндәй генә эш эшләмәксе булһаң* ***да***» «какое бы дело тебе не пришлось делать»; *шуны нисек* ***тә*** *булһа* «как бы то ни было» и т. д. [3]; ее исходная форма — *та*. Имеющийся в третьем ряду *д* нельзя отождествить с *д* второго ряда, так как последний никогда не чередуется с *р*. Исходя из енисейских языков, возводим согласный этого ряда к *т*, но общетюркским являлось, вероятно, уже *д*.

Рассмотрим падежные аффиксы в монгольских языках, которые имеют гораздо меньше общих черт с енисейскими языками, чем тюркские. Этот факт может свидетельствовать о том, что выделение протомонголов произошло раньше, чем прототюрков. К тому же монгольские языки показывают в своей падежной системе некоторые очень архаические черты, не сохранившиеся даже в енисейских языках. Таково, например, в ряде случаев четкое отграничение формы падежа субъекта от падежа несубъекта — оно сохранилось с тех времен, когда склонения как такового еще не существовало и особыми показателями, ставшими впоследствии падежными аффиксами, отмечались только слова-члены предложения. Наиболее отчетливо это разграничение выступает у группы существительных, которые оканчиваются на неустойчивый или скрытый звук *н*, а также у личных местоимений. Приведем примеры с таким существительным: бурят. *морин жил* «год лошади», *морин дээрэ* «на лошади», *морин ябана* «лошадь идет» — *мори бариба* «лошадь поймали»; ср.-монг. *му-ң* «он», кет. *бу-д* «он», мн. ч. ср.-монг. *му-д*, кет. *бу-ң* «они». В кетском языке, сохранившем классное построение, этому *-н* соответствует во всех трех случаях классный показатель *-д*. Значение этого показателя здесь зависит от его позиций во фра-

[2] См. об этом: А. П. Дульзон, Группа енисейских языков, ФН, 1970, 5, стр. 79 и сл.

[3] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 270.

зе: перед глаголом *д* обычно сливается с ним и выражает субъект, относя действие к одушевленному предмету, названному раньше; перед существительным классный показатель *д* обозначает принадлежность предмета упомянутому ранее одушевленному существу. Можно предположить, исходя из этого, что *морин ябана* могло произойти путем переразложения из **мори н-ябана*, где *н* < *д* выполнял функцию префигированного субъектного показателя.

Обращаясь к рассмотрению отдельных падежей монгольских языков, отметим, что род. падеж по составу своих аффиксов неоднороден. Общим для всех монгольских языков является аффикс, возводимый к **(у)н* ~ ~(ы)*н* [4], с вариантами класс.-монг. *-ун*, *-јин*, *-у* < *-ун*, *-ы* < *-ын*; халх. *-н*, *-и:н*, *-ги:н*, *-ий*; калм. *-и:н*, *-ги:н*, *-н*; бурят. *-и:н*, *-ги:н*, *-н*. Другой вариант, параллельно употребляемый, нельзя свести к только что указанному, ср.: бурят. *-ай*, *-эй*, *-ой*, калм. *-а:* < *-ай*, *-ә:* < *-эй*.

Варианты монгольского показателя род. падежа, присоединяемые к основам существительных с неустойчивым *н* в конце, можно отождествить с тюрк. *-ның* — *-ниң*, енис. *-дың* — *-диң* и тем самым предположить, что, например, класс.-монг. *морин-у* возникло из *мори-нуң*. Конечный звук *-ң*, сохранился в некоторых монгольских языках (монгольский, бурятский), в других перешел в *-н* или *-ий* (*-иң* > *-иУ* > *иУ'* > *-ий*).

Падежный аффикс *-ай* — *-эй*, встречающийся в бурятском и калмыкском языках (например: бурят. *малай* «скота», *гарай* «руки», *мориной* «коня» при им. падеже *мал*, *гар*, *морин*), восходит к форманту прилагательных **-кай*, представленному в письм.-монг. *ману-кай* «наш, принадлежащий нам» [5]. Развитие этой падежной формы на конкретном примере слова бурят. *манай* «наш» можно объяснить так: **маныңкай* > *манъңгай* > > *манъңай*, *манъУай* > *манай*. Опираясь на аналогию с кетским языком, можно полагать, что исходная монгольская форма состояла из посессива **маның* «у нас» и *-ка-и* «находящийся», где *-ка-*—древний аффикс местн. падежа в предикативной форме состояния (на последнюю форму указывает аффикс *-и*). Аффикс *-ка* представлен в класс.-монгольском в виде *а:* < *а-га*.

Вин. падеж во всех монгольских языках встречается в вариантах *-г*, *-ыг*, *-ийг*, *-ги*, *-ге*, *-и:*, *-ји:*, *-ије*, *-је*, которые возводятся к *-(и)ги* <* *(и)ки* [6]. Этот аффикс, имеющийся также в древнетюркском, совпадает с аффиксом *-k* кетского инкорпорированного падежа личных местоимений и существительных в каузативных формах глагола. В монгорском вин. падеж имеет аффикс *-ни*, характерный также для всех тюркских языков.

Формант исх. падежа в монгольских языках — *-ача*, *-а:с*, *-а:са*, *-са*, *-дза*, *-а:ћа*, *-ћа:* — возводится к **а-ча* [7], он составной. Первый элемент в нем — аффикс локатива (*-а*), встречающийся также в варианте *-га* (например, бурят. *буру:гаћа:* «от теленка», при им. п. *буру:*). Типологически общим с монгольским является построение этого падежа в кетском, например: *бу-даң-ал'* «от него» (*будаң* «у него», *ал'* «прочь повернуть»). Материально аффикс *-ча* совпадает с коттским *-чаң*, где *-ң* — предикативный формант.

Аффикс совм. падежа во всех монгольских языках довольно единообразен: *тай*, *тэй*, *ти:*, *та:*, *тӓ:* и возводится к **тай*. Окончание того же

[4] N. Poppe, Introduction to Mongolian comparative studies, Helsinki, 1955, стр. 187.

[5] Там же, стр. 190.

[6] Г. Д. Санжеев считает этот согласный вставочным (см. его «Сравнительную грамматику монгольских языков», 1, М., 1953, стр. 162).

[7] Там же, стр. 170.

падежа в кетском — *ас'*, *фас'*, *фай*, *ай* — употребляется и самостоятельно в значении союза «и». Формы на *ас'*, *ай*, *фас'*, *фай* представляют собой производные предикативные формы; соответствующие непредикативные формы (*а*, *фа*, *па*) в енисейских языках встречаются у существительных и наречий, например: кот. *куш-па-ң* «вместе» («один с кем-то»), *и:н-па* «по два (раза)». В составе глаголов этот аффикс употребляется в двух разнозначных вариантах — *-а* (передает ненаправленное действие), *-та* (направленное); например: *саYатет* < *сак-а-тет* «шагать, шагом отбить»; *сак-таптет* < *сак-та-б-тет* «топтать это (*б*)». Эти варианты часто встречаются в предикативном оформлении: *баң сак-а-й-тет* «земля протоптана», *баң-га сак-та-й-тет* «в землю затоптать»; *кыт-та-Yет* «натереть жиром» (*кыт* «жир», *Yет* «тереть») — *кыт-та-й-Yет* «промаслить»; *д-ин-та-Yет* «ногтем чесать» (*ин* «ноготь») — *д-ин-та-й-Yет* «прочесать ногтем»; *тул'тан-та-Yет* «глиной мазать» (*тул'тан* «глина») — *тул'тан-та-й-Yет* «глиной обмазать»; *коңлак-та-бет* «колокольчиком звонить» (*коңлак* «колокольчик») — *коңлак-та-й-е-бет* «колокольчиком зазвонить». Можно предположить, что монгольский аффикс *тай* восходит к енисейскому *тай* у инкорпорированных существительных. К тому же *й* в монгольских языках может осмысливаться как предикативный показатель ед. числа имени одушевленного предмета, с которым коррелирует *н* как показатель одушевленного множества, например: класс.-монг. *морита-й* «имеющий коня, всадник» [8] — *морита-н*, халх. *моритоң* «имеющие коня, всадники»; это использование полностью совпадает с коттским. Аффиксы *-тай*, *-тан* нельзя смешивать с *ту-*, словообразовательным суффиксом со значением «обладающий (чем)», который свойствен классическому монгольскому, как и енисейским языкам. Ср., например: монг. *мори-ту кӳмӳн* «конный человек», кет. *ким-ту кет* «женатый человек», *кыт-ту* «жирный».

Единообразное построение имеет в монгольских языках орудн. падеж с аффиксами *-иjар*, *-бар*, *-а:р*, *-га:р*, *-ja:р*, которые возводят к **бар* ~ **-Yар*. Мнения по вопросу о его происхождении разноречивы и малоубедительны [9]. Г. Д. Санжеев выделяет в наречиях типа халх. *дэ:р* «наверху», *дор* «внизу», *дотор* «внутри» аффикс *-р*: *деге-р-е* «наверху», *доу-р-а* «внизу» и т. д. [10]. В целом ряде аналогичных слов коттский язык показывает аффикс *-l*, например: *еча:l* «на» (*еч-а* «вверх»), *ти-Yal* «внизу» (*ти:Ya* «вниз по течению»), *yjal* «над, сверху» (*yja:* «сверху вниз») и т. д. [11]. Во всех этих случаях слова с *l* имеют инессивное значение и их можно рассматривать как составные, в которых *l* восходит к слову *al*, *ар* «часть, сторона подальше» (*еч-а-al* «верхняя часть»). Б. Коллиндер отметил это слово для тюркских языков, корейского и тунгусских [12]. Значение же направленности в коттском языке выражает предшествующий гласный *а*. Если принять предлагаемое Г. Д. Санжеевым членение, то в монгольских языках аллативное значение выражено тем же гласным *а*, но расположенным после *р*.

Другой компонент монгольского аффикса орудн. падежа с тремя вариантами (*ба-*, *иа-*, *га-*), если учесть нормы кетского языка, первоначально

---

[8] Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 134, 174.

[9] См.: там же, стр. 170 и сл.; N. Poppe, указ. соч., стр. 201; В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 89.

[10] Г. Д. Санжеев, указ. соч., стр. 172; ср.: Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, стр. 54.

[11] A. Castrén, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre, St.-Pb., 1858, стр. 148.

[12] B. Collinder, Fenno-Ugric vocabulary, Stockholm, 1955, стр. 143; его же, Uralojukagirische Nachlese, «Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar i Uppsala» (1955—1957), 1958, стр. 113—114 (отд. отт.).

мог представлять собой аллативный аффикс *-а-*, перед которым были расположены предикативные корреляты субъекта: одушевленного (*и*), неодушевленного (*б*) и агенса (*к*); они соответствуют кетским глагольным морфемам *ай*, *аб*, *ак* (в реверсии), например: кет. *кыт-ай-ай* «покрывшийся жиром», *кыт-аб-ай* «вещь, покрывшаяся жиром», *кыт-ак-ай* «что-то или кто-то покрытый кем-то жиром». В этих примерах ясно видна функция выделенных аффиксов: *и* — показатель субъекта состояния, *к* — показатель субъекта действия, *б* — показатель субъекта-вещи. В монгольском на аналогичное первоначальное состояние указывают сохранившиеся в нем, семантически обусловленные различия в употреблении аффиксов орудн. падежа, например: кл.-монг. *оругсан-иjар* < **оругса-ай-ар* «в результате того, что вошел» (*и* изображает процесс как состояние субъекта) — *оругса-гар* < **оругса-к-ар* «с тех пор, как вошел» (*г* < *к* указывает на субъект, вызвавший глагольное действие); *josy-бар* < **josy-б-ар* «по закону» (*б* соотнесен с предметным значением основы *jос* «обычай, закон») — *josy-гар* «согласно, в соответствии» (здесь *г* < *к* указывает на установление кем-то обычая или закона). В бурятском и халхаском языках варианты аффикса дифференцируют различные значения — комитативное при сохранении неустойчивого *н* (*мориноор* «с конем») и орудное при утрате этого *н* (*морjоор* «на коне, при помощи коня») [13]. В кетском языке нет точных совпадений с этим способом образования падежных аффиксов, но в нем встречаются близкие аналогии; ср., например: *кус'-ка* «в чуме» (*кус'* «чум») — *кус'-ка-и* «тот, который в чуме есть» — *кус'-ка-й-дал'* «от того, который в чуме находится» (*дал'* — окончание отлож. падежа) — *кус'-ка-й-даӈа* «тому, который находится в чуме» (*даӈа* — окончание дат.-направ. падежа); *бу уYотн-а ат да кас'noYос* «она, когда уедет, меня возьмет» (*уYотн* «она уедет») — *бу уYотн-ай-Уа ат да кас'noYос* «она, когда уедет (будет готова к отъезду), меня возьмет» (*Уа* < *ка* — аффикс местн.-врем. падежа).

Монгольский соединительный падеж имеет аффиксы *-луУа*, *-ла:*, *-лей*, *-лӓ:*, *-ла:р*, *-ла*, которые возводят к *-ла-га* и *-ла-гар* (*-ла-бар*, *-ла-jар*) [14]. Этот аффикс во всех монгольских языках, кроме монгорского, является составным. Нельзя согласиться с утверждением Н. Поппе, что класс.-монг. *-луУа* исторически соответствует тюрк. *-лыУ* [15]. Более вероятным кажется нам соответствие с тюркскими «аффиксами именного словообразования» *-лак* [16], с одной стороны, и *-ак*, *-ла* [17], с другой. Конечно, наличие близких по звучанию и по значению аффиксов [18] могло привести к их контаминации.

Взаимоотношения тюркских именных аффиксов *-ак*, *-ла* и *-лак* могли бы быть предметом особого исследования. Рассмотрим только одно из значений, встречающихся у каждого из этих аффиксов, чтобы установить основного носителя этого значения и объяснить разницу звукового оформления. С точки зрения семантической могут быть сближены следующие ряды:

а) турецк. *jайла* «кочевье», *кышла* «казарма»;

б) туркм. *jыУнак* «собрание» (*jыУын-* «собираться»), *jатак* «хлев»

---

[13] Аналогичное различие имеется в совм. падеже, например: *моринтой* «с конем», *моритой* «имеющий коня», см.: «Грамматика бурятского языка», М., 1962, стр. 83. Ср. также: Г. Д. Санжеев, Грамматика бурят-монгольского языка, М., 1941, стр. 92.

[14] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика.., 1, стр. 175.

[15] N. Poppe, указ. соч., стр. 203.

[16] См. об этом: А. П. Дульзон, Кетско-тюркские параллели в области склонения, сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках» (в печати).

[17] Ср.: Э. В. Севортян, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966, стр. 178, 200 и сл., 217.

[18] Э. В. Севортян, в частности, подчеркивает, что «показатель *-лаг* связан с аффиксом *-(а)г/к* не только формально, но и своим значением» (там же, стр. 217).

(*jam-* «лежать»), казах. *конак* «гость» (*кон-* «останавливаться на ночлег»), турецк. *отурак* «остановка» (*отур-* «сидеть»);

в) чул.-тюрк. *jайлак* «место летования», *кышлак* «место зимования», узб. *тошлок* «каменистое место» (*тош* «камень»), азерб. *отлаг* «пастбище» (*от* «трава»), *бузлаг* «ледник» (*буз* «лед»), *дузлаг* «место, где дают соль скоту» (*дуз* «соль») [19].

Объединяющим значением в этих словах является понятие пребывания или сопровождения. В кетском языке такие значения выражаются глагольной морфемой *а*, например: *д-кимайбет* «он с женой (*ким-а*) живет». Можно думать, что тюркская морфема *-ла* представляет собой рефлекс протоенис. морфемы **-ла* — претериальной основы глагола *а* «пребывать, быть с чем» (форма действия), имевшей параллельную форму состояния **-лак*. Наиболее близкими к этим тюркским формам имен действия являются кетские сложные медиальные глаголы с инкорпорированным именем, определяемой основой которых является указанное *а*. У этих глаголов медиальное значение выражается префиксом *с*, а однократность суффиксом *k*, т. е. основа имеет следующий вид: *-сак* для настоящего времени и *-лак* для прошедшего, например: *койдаңа-бат-сак* «я у соседа (*кой*) немного побуду», *тыY-бат-сак* «я вниз (*ты* «низовье реки») ненадолго съезжу», *дигдä-бок-сак* «он меня ненадолго к краю берега (*игдä*) сведет», *д-аYа-ак-сак* «я вверх (*а* «верх», *аYа* «вверх») ненадолго схожу (побуду и вернусь)», *д-ъ°л'-ак-сак* «я выйду немного» (*ъ°л'* «наружная сторона»), *тыYäбат-лак* «я съездил ненадолго вниз», *тыYäбок-лак* «он возил меня ненадолго вниз» [20]. Если данное предположение правильно, то выходит, что турецк. *jайла* не утратило никакого аффикса и означало вначале только «(где) лето проводили (обычно)», *кышла* «(где) зиму проводили», в отличие от *jайлак*, *кышлак*, подчеркивавшими своим строением время и место пребывания в прошлом (или пребывания по обычаю). В кетском языке в подобных образованиях используют обыкновенно презентную основу глагола, либо в форме действия, либо в форме состояния, например: *аң-ак* «дневать» (*аң* «дни»), *ди-и-фах* «день (*и*) проведу»; *кытак*, *кытфах* «зимовать, зимовка» (*кыт* «зима»). Для того чтобы в кетском такие глаголы и имена действия могли быть использованы как обозначение определенного места, добавляют слово *баң* «место»: *кытакбаң* «место зимования»; *ди-и-фах-баң* «место, где я проведу день».

Тюркский аффикс *-лыY* нельзя сопоставлять с аффиксом *лак* потому, что его гласный входит в ряд *ы* ~ *и*; можно предположить, что этот гласный восходит к *и*, который сохранился при переднеязычном оформлении слова и был заменен, когда возникла гармония гласных, заднеязычным *и* при заднеязычной огласовке корня. Это *и* можно отождествить с енисейским *и* «бить» (презентная основа, претеритальная — *lи*). Конечный *Y'*, по-видимому, возник из енисейского предикативного аффикса *j* < *и*. Наибольшее разнообразие таких форм сохранил из тюркских языков якутский со своими диалектами [21]; например: долг. *мин убаим отут д'иллак* «моему старшему брату около 30 лет»; *мин отут д'илаппын* (<*д'илакпын*) «мне 30 лет»; *тылак боллум* «теперь у меня лодка есть» (*ты* «лодка»); *инем ты:ннак ир'дегине* «когда была жива (*тын-нак* «с душой, дыханием») моя мать»; *турдак-пыт-ын-а* «если мы встанем». Сюда же мы относим форму якутского предположительного наклонения типа *мин бар-даY-ым* [22], в ко-

[19] К. Menges, The Turkic languages and peoples, Wiesbaden, 1968, стр. 111.

[20] Описание таких глаголов см.: Е. А. Крейнович, Глагол кетского языка, Л., 1968, стр. 168 и сл.

[21] Ср.: Е. И. Убрятова, Аффикс обладания *-лаах* в якутском языке, сб. «Белек С. Е. Малову», Фрунзе, 1946, стр. 60—65.

[22] Е. И. Коркина, Наклонения глагола в якутском языке, М., 1970, стр. 270.

тором аффикс *-тах-* из **так*, вероятно, восходит к **-сак*, имея параллелью упомянутую выше енисейскую основу настояще-будущего времени; на возможность соответствия *т/с* указывает якутское оформление аффикса условного наклонения: якут. *-тар*, в других тюркских языках *са(р)*. Свести якутский аффикс *-даY* ~ *-тах* к *-дык* считаю невозможным из-за несводимости как его гласного, так и начального согласного. В якутском встречаются и другие варианты рассматриваемой морфемы *а*, например: якут. *кӱн-а:jы*, нижне-чулым. *кӱн-зей* < *кӱн-са-й* «ежедневно»; якут. *бардах а:йы* «при каждом уходе», долг. *кел'ӓгим-ай* «каждый раз, когда я приходил»; *онтша киYи* «по десяти, около 10 человек».

Дат.-местн. падеж в монгольских языках имеет варианты *-д/-т*, *-да/-та*, *-ду/-ту*, *-дур/-тур*, которые Н. Поппе возводит к **-да*, **-ду* [23]. Если учесть, что монгольские языки, в принципе имеющие сочетания *бд*, *гд*, *рд* (например: *баригдах* «быть схваченным», *шӱ:рдех* «мести метлой»), в дат. -местн. падеже их не допускают (ср. *гарта* «в руке», *хэбте* «к форме», *булагта* «к источнику»), то можно предположить, что звук *д* в аффиксе этого падежа восходит к *т*, что и подтверждается при учете данных тюркских и енисейских языков. Огласовка могла быть изначально разной: в кетском, например, морфема *та* означает направленность по плоскости, а *то* — направленность вверх или в прошлое. Наращение *р*, имеющееся в класс.-монгольском, представляет собой уже рассмотренный выше элемент. Показатель дат.-местн. падежа в монгольских языках мы таким образом отождествляем с местн. падежом в тюркских и енисейских языках.

В монгольских языках представлены еще два падежа ограниченного распространения (или образуемых от ограниченного числа слов наречного типа) — падеж предела и направ. падеж. Монгольский падеж предела, или терминатив, имеет аффиксы бурят. *са:*, калм. *ца:*, орд. *че:*, которые, возводятся к *ча-га*, *ча-гай*; ср. соответствия в тюркских языках, например, чул. -тюрк. *-ч'а*, *-ц'а*. В енисейских языках такого падежа нет.

Направ. падеж распространен повсеместно, но употребляется только в отдельных словах, имеющих, как выражается Г. Д. Санжеев, «топографическое» значение. Аффикс этого падежа *-ру:* (во все языках, кроме классического), орд., бурят., халх. *-ру:*, *-лу:*, калм. *-у:р*, возводят к слову *уругу* «вниз по» (>*ру:*), сохранившемуся к класс.-монг., и к сочетанию формативa местн. падежа *-а* с наречным словом *-гур* (*а-гур*), представленному в калм. *до:гу:р* «внизу», *де:гӱр* «наверху» [24].

Аффикс *-Yару* с направительным значением имелся в древнетюркских языках, например: *сан-гару* «к тебе» [25]; конечный элемент некоторые исследователи сопоставляют с аффиксом *-ра*, имевшим в древнетюркском языке местно-временное и направительное значение [26]. Г. И. Рамстедт был склонен отождествлять этот аффикс с кит. **лу* «путь, дорога» [27]. Допустимо, однако, рассматривать *-ра* как реверсивную форму енисейск. *ал*, *ар* «часть, сторона, место подальше», имеющего близкое соответствие в тюркских языках — ср. казах., койб., саг. *ар* «другая (сторона), напротив», татар., уйг. *ал* «передняя (сторона)». В этом случае чул.-тюрк. *ташкара* можно осмысливать как «сторона (*ра*) наружу (*ташка*)»; ср. *ол цикелген ташкара* «он выскочил наружу».

---

[23] N. Poppe, указ. соч., стр. 199.
[24] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика..., стр. 175.
[25] A. von. Gabain, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950, стр. 99, 89.
[26] См.: Э. В. Севортян, Категория падежа, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II, М., 1956, стр. 59—60; иное объяснение см.: Ф. Г. Исхаков, Имя существительное, там же, стр. 105.
[27] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 53.

Падежный аффикс *-ка* в древнетюркском имел преимущественно директивное значение [28], как и в кетском языке [29]. Огласовку конца слова в др.-тюрк. *ташкару* можно связать с огласовкой *ы* конца этого же слова в алт. *тышкары*, долг. *таҮары*, как и во многих других тюркских языках [30]. В ряде тюркских языков этот аффикс отсутствует, например, в якут. *таска*; в других же усечен конечный гласный, например, хак. *тасхар*. Др.-тюрк. *ташра* «снаружи» можно объяснить из **ташҮра* (ср. якут. *таһыгар* «вне»), но также из **таш ар* «наружная сторона» (ср. долг. *таҮара* «наружу»).

Перейдем к обзору падежных аффиксов тунгусо-маньчжурских языков. Тунгусо-маньчжурские падежные форманты в звуковом отношении значительно отличаются от перечисленных тюркско-монгольских. Поэтому прежде чем перейти к их рассмотрению, надо указать принципы, в соответствии с которыми может быть найдена надежная база для сопоставления (в виде закономерных рядов звуковых соответствий на праязыковом уровне). Исходя из того, что возникновение форм склонения в алтайских языках относится приблизительно к тому же времени, что и сложение средств спряжения, можно допустить, что общие для тех и других форм звуковые компоненты входят в одинаковые ряды закономерных соответствий. Эти ряды соответствий для тунгусо-маньчжурских языков удобнее найти путем анализа форм спряжения, так как состав и принципы построения относящихся сюда аффиксов выяснены путем сопоставления урало-алтайских глагольных форм с енисейскими [31].

Рассмотрим сначала лично-предикативные аффиксы в тунгусо-маньчжурских языках. Для 1-го лица ед. числа отмечены окончания *-м*, *-в*, *-у*, *-ми*, *-би*, *-ви*, *-и* [32]. Из них *-у* представляет собой вокализацию конечного билабиального *-w* (как в самодийских языках); *и* возникло из **ши* < *би* [33]. Остается решить, какая из форм — *-ми* или *-би* — является первичной. Допускаем, что этот аффикс восходит к протоенис. форме для того же лица **бид* «я» (женщина). Конечный звук *д* в протоенисейском — классный показатель, во всех алтайских языках сохранился в виде *н*, вызвавшего появление звука *м* вместо *б* (*бид* > *бин* > *мин* > *ми*^{н} > *ми*).

1-е лицо мн. числа выражено аффиксами *-в*, *-п*, *-у*, *-вун*, *-ун*, *-пу*, *-му*, *-вун*, *-т*, *-ру*, *-су*, *-ду*. Из сопоставления *-ми* (ед. ч.) — *-му* (мн. ч.) можно видеть, что выражение числа в 1-м лице было связано с вариацией гласных. Можно думать, что аффикс *н* во мн. числе, сохранившийся в некоторых тунгусо-маньчжурских языках, в протоалтайском имел значение классного показателя одушевленного множества с эксклюзивным смыслом;

[28] См., например: А. С. Аманжолов, Глагольное управление в языке древнетюркских памятников, М., 1969, стр. 39.

[29] М. Н. Валл, Употребление падежей в кетском языке. Канд. диссерт., Томск, 1970, стр. 88 и сл.

[30] См.: «Philologiae turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 794.

[31] А. П. Дульзон, Общность глагольных форм индоевропейских языков с урало-алтайскими, «Уч. зап. [Томск. гос. ун-та]», 75—Вопросы лингвистики, 2, 1969, стр. 110 и сл.

[32] Сводные таблицы личных окончаний см.: В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 272—273; О. П. Суник, глагол в тунгусо-маньчжурских языках, М.— Л., 1962, стр. 169, 191.

[33] Об истории развития личных окончаний см.: О. П. Суник, указ. соч., стр. 196—197. Установление исходных форм очень затруднено тем обстоятельством, что эти окончания сильно изменились вследствие ассимиляции и слияния с исходами глагольных основ разных классов. См. об этом: В. А. Аврорин, О категориях времени и вида в нанайском языке, «Язык и мышление», II, 1948, стр. 29—55; его же, О категории вида и времени в маньчжурском языке, ИАН ОЛЯ, 1949, 1 стр. 60—66; K. Menges, The function and origin of the Tungus tense in *-ra* and some related questions, «Language», 19, 1943; J. Benzing, Die tungusischen Sprachen, Wiesbaden, 1956, § 131.

формально он соответствует енисейскому *н*. Форму **бун* «мы (без вас)» можно рассматривать как мн. число от *б(и)* «я». Ограничение круга лиц аффикс *-н* выражает также в уральских языках [34], ср. хант. *мин* «мы (двое)» *мъӈ* «мы (многие или все)». При утрате классной системы этот показатель мог отпасть. Поэтому ход развития аффикса 1-го лица мн. числа можно представить в следующем виде: *бун* ~ *вун* > *пун* > *пуⁿ* > *пу* > *п* ~ *ш* ~ *у*.

Инклюзивная форма мн. числа представлена двумя вариантами: *-м* и *-ру*; рассмотрим сначала последний. Из парадигмы спряжения глагола «знать» в изъявительном наклонении, приводимой К. А. Новиковой для эвенского языка [35], видно, что основой настоящего времени этого глагола является *ha:-н-*. Показатель времени *ан* сохранился только во 2 и 3-м лицах ед. числа, а в остальных лицах он исчез с назализацией предшествующего гласного; в 1-м лице под ассимилятивным влиянием звука *н* этого аффикса возникло *р* из альвеолярного *д* (в енисейских языках *д* — показатель класса одушевленных). Отсекая этот *н* как элемент, не относящийся к форманту лица, получаем *ду* < *дуⁿ* < *дун*, которое соответствует протокет. *ди-н* «мы» (женщины) и **да-н* «мы» (мужчины), имеющим в кетском языке свои объектные формы в виде *ди-ӈ* и *да-ӈ*. Другой вариант инклюзивной формы 1-го лица мн. числа с аффиксом *-п* можно вывести из протоалтайского **-т-ап*, в котором *-т-* является показателем числа (неограниченного множества), а *-ап* — показателем 1-го лица. Попутно отметим еще, что из сказанного становится понятным присутствие *б* или *м* в местоимении 1-го лица: форма с *м* в ед. числе в алтайских языках появилась после возникновения перехода *б* и *д* в *м* и *н* при наличии носового в том же слове [36]; форма с *б* говорит о раннем отпадении классного показателя *д*. Во мн. числе наличие *б* объясняется тем, что при инклюзивном значении показатель одушевленности множества восходит к *т*.

Для 2-го лица ед. числа в тунгусо-маньчжурских языках употребляются следующие аффиксы: *-нни* (*-нне*), *-нры*, *-чи*, *-си*, *-с*, *-ти*, *-Уи*. Аффикс *-нни* и *-нры* можно возвести к **-нти*, где *н* — показатель времени; аналогично возникло *-чи* < *-нтси*, где *т* — вставочный звук. Остающиеся три варианта восходят к протоенисейскому аффиксу *-ки*, *-Уи* (*ки* > *Уи* > > *ји* > *çи* > *с'и* > *си*), который сохранился в удэгейском *-Уи*.

2-е лицо мн. числа представлено аффиксами *-сун*, *-су*, *-с*, *-Уу*, из которых последний (удэгейский) вариант точно совпадает с кетским и восходит к **-Уун*. Все же остальные варианты вряд ли можно прямо связать с этим архетипом; варианты со звуком *с* восходят к *сун* (> *су* > *с*), но образованы от формы 2-го лица ед. числа по аналогии с формой 1-го лица мн. числа.

3-е лицо ед. числа представлено в тунгусо-маньчжурских языках аффиксами *-н*, *-ни*, *-ны*, нуль (удэгейский), а для мн. числа *-тын*, *-тин*, *-л*, *-чи* (орок.). Окончание *-н*, *-ни* возникло, видимо, путем ассимиляции звука *т* с *н* в настоящем и будущем времени. Что окончание *-н*, *-ни* восходит к **-нт*, **-нти*, подтверждается формой мн. числа *-ти-н*, *-ты-н*, например: эвенск. *ha:н* «знает» <* *ha:н-т*; *ha:р* «знают» из **ha:нр* < < *ha:нду* < *ha:нтун*. Элемент *т* произошел, вероятно, из указательного местоимения типа кетск. *туде*, *туд* «тот», *туне*, *тун* «те».

Орок. *-чи*, можно думать, возникло из **н-тин*, в котором общим с ед. числом является только *т*, представленный там звуком *н*. Возникновение нанайск., ульч. *-л* во мн. числе можно объяснить так: нанайск. *ба:ра*

[34] См.: B. Collinder, Comparative grammar of the Uralic languages, Stockholm, 1960, стр. 303.

[35] «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 98.

[36] См.: A. Schiefner, An- und Auslaut bedingt sich gegenseitig, «Mélanges asiatiques», III, St.-Pb., 1859, стр. 281—285.

«найдет» < *ба:ра^{н} < ба:ранд; ба:рал «найдут» < *ба:рар < < ба : ра^{н}р < ба:ранду < ба:рантун.

Покажем теперь развитие личных глагольных окончаний на основе упомянутой выше эвенской парадигмы спряжения глагола «знать»:

Ед. число

1-е лицо *на:ръм < на-а^{н}-ръм < на-ан-дъм < на-ан-даб*
2-е —"— *на:-нры < на-ан-ды < на-ан-ты*
3-е —"— *на:-н < на-ан < на-ан-т*

Мн. число

1-е лицо *на:-ру < на-а^{н}-ру^{н} < на-ан-дун* (эксклюзивное)
на:-ръп < на-ан-дъп < на-ан-таб (инклюзивное)
2-е —"— *на:-с < на-а^{н}-су^{н} < на-ан-Yун*
3-е —"— *на:-р < на-а^{н}р < на-ан-ду^{н} < на-ан-тун*

Несколько слов о притяжательных аффиксах тунгусо-маньчжурских языков. Они генетически связаны с личными местоимениями [37], но восходят не к общетунгусо-маньчжурскому **би* «я», **си* «ты», а к их косвенной основе. Особенно это становится видно при сравнении с кетским языком, где основа инкорпорирована в глагольную форму и имеет разнозначащие варианты *-ба-б* («я» — пассивный объект), *-ба-k* («я» — объект по неволе), *-ба-т* («меня [достигает]»), *-ба* («меня» — без точного определения). Тунгусо-маньчжурский притяжательный аффикс лица восходит к последнему варианту. Он указывает не на класс, а только на лицо, поэтому не начинается с *м*; и там, где *м* встречается, оно вызвано контактной ассимиляцией или переносом из лично-предикативной серии аффиксов.

Значение показателя мн. числа *-н* в составе тунгусо-маньчжурских личных местоимений неодинаково, хотя этот формант во всех случаях можно связать с кетским *-д* и *-н*. Так, например, в косвенной основе эвенского местоимения *му-н* «мы (без вас)» *-н* обозначает ограниченное множество, тогда как *-н* в косвенной основе 2-го лица мн. числа *су-н* — множество вообще («вы узкого коллектива», «вы все»). В том и другом случае это *-н* связано с протоенисейским *-д*, *-н*. В кетском языке проведено четкое разграничение формы местоимений по их функции в качестве субъекта (*ди-н* «мы», *ku-н* «вы», *ду-н* «они») или объекта (*ди-ӈ* «нас», *ку-ӈ* «вас», *у-ӈ* «их») посредством аффиксов *-н* или *-ӈ*. В тунгусо-маньчжурских языках конечный согласный (*н*) в несамостоятельных формах личных местоимений или в их косвенной основе (*мин* «я», *син* «ты» — *мун* «мы», *сун* «вы») представлял собой предположительно классный показатель, которому в ед. числе соответствует кетск. *-д*, а во мн. числе — *-н*. В местоименно-притяжательных формах звук *ӈ* в той же позиции (ульч. *миӈги* «мое», *сиӈги* «твое») не является вариантом рассмотренного. По происхождению легко объединить негид. *мин*, *минӈи*, орок. *миниӈи* «мой», имеющих свое соответствие в тюрк. *мениӈки* «мой, являющийся моим» [38]. Во всех этих случаях *н* восходит к енисейскому классному показателю *д*. Но ульч. *миӈги* «мой» нет необходимости возводить сюда же; можно думать, что это — старое наследие, так как в кетском имеется форма, конструктивно ей точно соответствующая (*баӈ-а* «у меня», *баӈ-ай* «тот, который у меня»).

Из приведенного сопоставления компонентов личных окончаний глагола тунгусо-маньчжурских языков с соответствующими енисейскими

[37] О. П. С у н и к, Введение [к разделу:] «Тунгусо-маньчжурские языки», «Языки народов СССР», V, стр. 61.

[38] «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II, стр. 233; Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык, II, М., 1952, стр. 263 и сл.

формантами на праязыковом уровне можно сделать вывод, что звуковые компоненты этих аффиксов — *б*, *в*, *м*, *п*, *д*, *т*, *к*, *г*, *Y*, *ң*, *с* — входят в ряды закономерных межъязыковых соответствий. Из таких соответствий можно указать: *б* ~ *б*, *п*, *в*, *м*; *д* ~ *д*, *р*; *т* ~ *т*, *д*, *р*; *ң* ~ *ң*; *k* ~ *k*, *г*, *Y*, *с*, нуль; *с* ~ *с*, *ш*. Эти соответствия можно встретить также в лексическом материале, например: эвенк. *бу-* «умереть», кетск. *бу-ң* «умерший, мертвец»; эвенк. *hал-ка*, нанайск. *палоа* «молоток», кетск. *hy:l* [39]; эвенк. *дз'еб-* «кушать», кетск. *д'иб*; эвенк. *hула*, нанайск. *поло* «осина», кетск. *ы:л'*, *ыфел'*, *у:л'*; эвенк. *до:-* «садиться (о птице)», кетск. *до?-k*; эвенк. *ба:де* «лицо», кетск. *бат*; эвенк. *дари* «из-за, ради», кетск. *д'ат*; эвенк. *улабдай* «мокнуть», кетск. *улаб-ен* «мокнет это»; эвенк. *бака* «находить», кетск. *бъ°Ya*; эвенк. *хот* «дорога», кетск. *хот*, *хоат*, *ко?т*; эвенк. *ме:н* «сам», кетск. *бен*, *бин*; эвенк., нанайск. *дёло*, эвенск. *дёл*, чуваш. *чул*, письм.-монг. *чила-Yун* < **тыла-Yун* [40], якут. *та:с*, хакас. *тас*, уйг., ойр. *таш*, кетск. *ты:с*, *ты?с* «камень».

Во многих случаях трудно отличить исконно общее от заимствований. Когда слова в разных языках одинаково членятся и сходятся по компонентам, можно думать об исконном родстве, например: эвенк. *ма-н-а* «кончаться» (о продуктах), кетск. *hа-н-а*. В кетском *h* входит в ряд *п* ~ *ф* ~ *h* ~0; переход *п* > *ф* > *м* был осуществлен уже в общеалтайское время. Когда вместо *б* енисейских языков без видимого основания появляется *м* в тунгусских, можно думать о заимствованиях, например: эвенк. *моң-ка*, кетск. *hоң* «сеть», или о разном построении сравниваемых слов, например: эвенк. *мар-*, *мал-*, кетск. *hал*, *hалр* «согнуть», где *м* в эвенкийском слове может являться отражением енисейского объектного показателя вещи (*б*), т. е. эвенкийская форма слова *мал* могла появиться вместо кетск. *hал-б-* «согнуть это». Поэтому вполне возможно, что эвенк. *макта* «любить», бурят. *махта* «славить», чуваш. *му:хта* «хвалить», леб. *пакта*, татар., ойр., узб. и др. *макта*, хакас. *махтирYа* «хвалить», разъясняющиеся из кот. *б-ак-ти:р* «хвалить это» [41], кетск. *д-ак-т-а-б-ет* «хвалю это», являются словами, свидетельствующими об исконной общности этих языков с енисейскими. Так как из этих слов в алтайских языках выделяется компонент *мак* [42], встречающийся самостоятельно в значении «слава» (полов., ойр., узб., хакас. и др.), а в енисейских языках отсекается и начальный согласный, то признавать это енисейское слово заимствованием из алтайских языков нет оснований [43].

Перейдем к рассмотрению падежных аффиксов тунгусо-маньчжурских языков. В этих языках прослеживается такое же деление существительных на типы по исходам основ, как и в монгольских языках. В числе других выделяется группа существительных с неустойчивым *н* в конце слова, например, в нанайском *по:по*^{н} «пила», *по:пока*^{н} «пилка», *по:по-ни* «пила его», *по:пон-сал* «пилы», *по:помба* < *по:понба* «пилу», *по:помпу* < < *по:пон-пу* «наша пила» [44]. Звук *н* здесь — прежний классный показатель (*д*); в уменьшительной форме он находится в конце слова после уменьшительного аффикса, например: *по:пока*^{н} < *по:по-ка-н*. Косвенные основы существительных этой группы оканчиваются на согласные *г*, *к*, *ң*, которые можно возвести к *ң*; формант *ң* соответствует аффиксу кетского посессива

[39] K. B o u d a, Die Sprache der Jenissejer, «Anthropos», 52, 1957, стр. 78—79.

[40] Б. Я. В л а д и м и р ц о в, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929, стр. 365.

[41] A. J. J o k i, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, Helsinki, 1952, стр. 78—79.

[42] См.: M. R ä s ä n e n, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki, 1969, стр. 321 a.

[43] О ряде чередования *п* ~ *ф* ~ *h* ~ 0 в алтайских языках см.: N. P o p p e, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, Tl. 1, Wiesbaden, 1960, стр. 10.

[44] В. А. А в р о р и н, Грамматика нанайского языка, 1, М., 1959, стр. 132.

на *д-а-ӈ*, *д-и-ӈ*, где, однако, опущены классный показатель *-д* и аффиксы рода (*а*, *и*). Примеры: нанайск. *дэрэл* «лицо» — *дэрэг-бэ-си* «лицо его» (вин. п.); *пэрэл* «дно» — *пэрэӈ-ни* «дно его»; *пурил* «дети» — *пурик-чи* «их дети». Этот же аффикс *ӈ* входит в состав посессива эвенкийского и маньчжурского языков [45], например: эвенк. *эвенкиӈи*: *эӈэсин хуюкун* «сила у эвенка маленькая» [46]. В остальных падежах прямых совпадений с кетским мало.

Вин. падеж в тунгусо-маньчжурских языках образуется посредством аффиксов *-ба*, *-ва*, *-па*, *-ма*, *-бэ*, *-вэ*, *-пэ*, *-мэ*, *-мо*, *-бу*, *-ву*, *-в*, *-м*, *-у*, *-во*, *-мо*, *-бо*; по ним можно восстановить пратунг.-маньчж. **ба*, **бо*, **бу*, **бэ*. В этих последних можно видеть реликты кетских оформителей инкорпорированного объекта *аб*, *об*, *уб*, *эб* в реверсии [47].

Тунгусо-маньчжурские аффиксы дат-местн. падежа *до*, *ду*, *ду:*, *ту:* совпадают с соответствующими монгольскими и могут быть возведены к *ту* или *то*. Так как согласные в этих аффиксах входят в ряд чередования *д* ~ *т*, которому в протокетском соответствуют *н* или *т*, то исходным звуком будем считать *т*, тем более, что морфема *то* в кетском имеет суперэссивное значение (отвечает на вопросы: «на чем?», «в чем?»), как и в тунгусо-маньчжурских языках.

Твор. падеж в тунгусо-маньчжурских языках оканчивается на *-т*, *-ч*, *-ди*, *-д'и*, *-дз'и*, *-дж'и*. Исходя из приведенных выше соответствий, можно возводить эти аффиксы к пратунгусо-маньчж. **таи*, тождественному аффиксу монгольского комитатива. Пратунгусо-маньчж. аффикс **та* сохранился в виде *-т*, а с предикативным окончанием *и* получил иное развитие: **таи* > *ти:* > *чи* > *ч*. Контрактация *аи* могла произойти уже в пратунгусо-маньчжурское время, так как *ч* встречается во всех тунгусо-маньчжурских языках, кроме эвенкийского.

Местн. падеж в тунгусо-маньчжурских языках имеет окончания *-ла*, *-дула*, из которых второе употребляется после косвенных основ. Компонент *-ла* можно, вероятно, отождествить с аффиксом соединительного падежа монгольских языков. Происхождение компонента *-ду* неясно — во всяком случае, В. А. Аврорин прав, утверждая, что этот компонент не следует смешивать с аффиксом дат.-направ. падежа [48]. Аффикс *-дула* возник у группы существительных на *н* (*по:пондола* «за пилу»): при присоединении аффикса *-ла* при переходе от альвеолярного *н* к постдентальному *л* возник вставочный *д* (*-ндл*), который был сближен затем с аффиксом дат.-местн. падежа *-ду* (см.: *ндла* > *ндула*) по внешнему сходству, а иногда и по значению.

В большинстве тунгусо-маньчжурских языков аффикс продольного падежа *-ли:*, *-дули*: восходит к **лаи*, представляющему собою предикативную форму местн. падежа *-ла* («при, возле находясь»); вариант *дули*: образовался аналогично показателю местн. падежа *-дула*. Оба варианта скорее всего возникли еще в общетунгусо-маньчжурское время. Аффикс *-ки*, представленный в ульчском и орокском, можно объяснить из *ки*: <*ка-и*, формально соответствующего тюрк.*-ки*, монг. *-хай* ~ *-кей*, кетск. *-кай*, *-кей*; у этого аффикса продольное значение, очевидно, развивалось

---

[45] См.: О. А. Константинова, Эвенкийский язык, М., 1964, стр. 65, Г. М. Василевич, Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940, стр. 36; K. Menges, указ. соч., стр. 109.

[46] О. А. Константинова, указ. соч., стр. 64.

[47] Другое мнение высказывает Г. И. Рамстедт (указ. соч., стр. 38). Ср. также: K. Menges, Die tungusischen Sprachen, «Handbuch der Altaistik», V, 3. Abschnitt — Tungusologie, Leiden — Köln, 1968, стр. 63. Относительно происхождения аффикса вин. падежа *-м* в уральских языках см.: Б. А. Серебренников, Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках, М., 1964, стр. 70.

[48] В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 164.

из направительного. Этот же аффикс можно видеть в окончаниях эвенского назначительного падежа *-гай* «для своего», *-ган* «для его», в окончаниях направ.-местн. падежа эвенкийского и эвенского языков *-кла* < *-ка-ла* и направ.-продольного падежа эвенского языка *-клы* < **ка-лаи*.

По характеру чередующихся согласных (*т* ~ *д* и *к* ~ *г* ~ *й*) в тунгусо-маньчжурском аффиксе отлож. падежа *дук*, *дук-кай*, *дуки*, *дуи*, *диги* можно реконструировать архетип **дук* ~ *дуң* ~ *туң*, не совпадающий с тюркским (алтайск., шорск., хакасск.) *-даң*, *-таң* того же значения только по огласовке. Если исходить из енисейских языков, для **та-ң* можно предположить значение «удаление на плоскости» — в отличие от **то-ң* «удаление вверх».

Направ. падеж в тунгусо-маньчжурских языках имеет аффиксы *-тки*, *-тыки*, *-таки*, *тиги*, *-тэки*, *-тихи*, *-ти*, *-чи*, из которых первые являются сложными. Возводить их вслед за Г. И. Рамстедтом к самостоятельному слову *тики*, тюрк. *тик*, *тикä* «прямой (стоячий)» [49] мы считаем невозможным. Скорее всего двухсложные варианты состоят из частей *ти* «туда, в направлении к» и *ки* < *кей*, *кай* «внутри» — в кетском языке имеются подобные морфемы с таким значением, при соединении которых возникает инессивное значение. Встречающийся в орокском вариант *таи* представляет собой предикативно оформленную директивную морфему («туда»).

Исх. падеж (элатив) образуется в тунгусо-маньчжурских языках посредством аффиксов *-кит*, *-гит*, *-ңит* < **-нгит*; *-гич*, *-ңич* < **-нгич*; *-диади*, *-диэди*, *-дзи*, *-дзеду*, *-джиджи*; *-ду*, *-дуки*. Орокский вариант (*-ду*, *-дуки*) состоит из рассмотренных выше элементов *-ду* и *-ки*. Компонент *диа/диэ* в нанайском можно рассматривать как формант контрастности [50]. Вариант *-кит*, *-гит*, *-гич* можно рассматривать как сложный (*ки-т*), в котором начальный элемент связан, по-видимому, с аффиксом обладания, сопровождения или орудия действия (*-ко*, *-ку*) [51]; ср. нанайск. *хадоко* «коса» от *хадо* «косить» (ср. кетск. *хадо*, *hадо* «косить»); нанайск. *посико* «бритва» от *поси* «брить, стричь, срезать» (ср. кетск. *hаси*, *фаси* «брить, стричь, срезать»). Второй компонент аффикса *т* ~ *ч* ~ *ди* можно возвести к **ти*. Суффиксу обладания *-ко*, *-ку* соответствует в кетском *-то*, *-ту*, как и в монгольских языках; ср. калм. *кӱчӱн* «сила» — *кӱчитӱ* «сильный» (ср. нанайск. *кусун* «сила» — *кусунку* «сильный, с силой»). Совпадающее с этим компонентом *ки-* окончание имеет отлож. падеж в самодийских языках — оно восходит к **ка-та*, *ки-та*; ср., например: нган. *макатa* «из дома» (*ма*ʔ «дом»), *тагата* «от оленя» (*та* «олень»). Компонент *ка* имеет здесь адессивное значение, а *та* — эгрессивное; эти значения не повторяют, а дополняют друг друга («оттуда прочь»).

Итак, прямых совпадений в падежных системах тунгусо-маньчжурских и протокетского языков мало, но почти все компоненты тунгусо-маньчжурской системы по отдельности можно генетически связать с теми или иными протоенисейскими элементами. Отсюда можно сделать вывод, что, когда произошло отделение прототунгусо-маньчжуров от первоначальной енисейско-алтайской общности, в языке носителей последней склонение было представлено еще только в зачаточном состоянии; если же допустить былое наличие праалтайского языка, то в нем имелись довольно глубокие диалектные различия.

Общность алтайских языков с енисейскими в отношении падежных аффиксов — одно из свидетельств отдаленного родства этих языков. Гипотеза об этом родстве может быть подтверждена целым рядом других фак-

[49] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 5.
[50] См.: В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 129.
[51] Там же, стр. 117 и сл., 192 и сл.

тов [52], в частности, наличием некоторого количества общих словарных корней (однако не это последнее имеет решающее значение для констатации родства [53]). Установление факта родства, по нашему мнению, должно основываться главным образом на морфологических общностях и на сводимости морфологических особенностей сопоставляемых языков, а определение степени родства — на количестве и значимости морфологических совпадений.

[52] Необходимые условия для доказательства наличия генетического родства подробно рассматриваются в кн.: G. D o e r f e r, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, 1, Wiesbaden, 1963, стр. 61, 77, 79, 80, 82, 86, 89, 90, 91, 92. Тюркомонгольские падежные аффиксы, по его мнению (там же, стр. 82), возможно, исконно общие, но генетическое родство этих языков он считает все же маловероятным (см. также: G. D o e r f e r, Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen, IF, 71, Hf. 1/2, 1966, стр. 110).

[53] См.: B. C o l l i n d e r, Jukagirisch und Uralisch, «Uppsala Universitets Årsskrift», 8, 1940, стр. 16.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Л. А. ГИНДИН

ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОЙ БАЛКАНИСТИКИ
(Лингвистический аспект)

Привычный термин «античный» здесь предлагается понимать как обозначение периода, значительно более протяженного в глубину, чем это принято в исторической науке. Обычно его употребляют в применении к греко-римской эпохе и воспринимают «античный» в качестве синонима понятий «древнегреческий» и «древнеримский». Соответственно все то, что существовало в многовековый отрезок времени до прихода греческих и италийских племен в район Средиземноморья (первые на рубеже III и II тысячелетий, вторые несколько позже), автоматически зачисляется в разряд явлений «примитивных», относящихся к первобытной истории, причем «примитивный» зачастую понимается не как «первоначальный» (ср. лат. primitivus), но как «несложный, простейший и пр.». Несмотря на указанное неудобство и некоторое шокирующее впечатление, оказываемое во всяком случае на эллиниста, по традиции соотносящего «античный» с хронологическими рамками греко-римского мира, предлагаемый термин обладает, тем не менее, рядом существенных преимуществ по сравнению с весьма расплывчатым термином «древний». Это преимущество связано главным образом со специфическими особенностями фактической базы, представляющей собой значительное, но, к сожалению, и разнохарактерное по времени и способу фиксации множество имен собственных, в передаче греческих, римских и византийских авторов, а также очень скудных письменных памятников, относящихся именно к античному периоду. Тем самым античная лингвистическая балканистика, охватывая материал, восходящий в определенной мере к доэллинскому, т. е. доантичному периоду (языки догреческого субстрата, фракийский и т. д.), целиком включается на правах самостоятельной дисциплины в область классической филологии, на что хотелось бы обратить специальное внимание. Следует заметить, что термин «античная балканистика» в таком случае применим только к лингвистическому аспекту, так как другие дисциплины не ограничивают круг прямых источников античными письменными памятниками. Однако данный термин отнюдь не изоморфен лингвистическому понятию «современная балканистика» и, в отличие от последнего, не предполагает implicito наличие языкового союза [1], хотя отдельные черты (элементы) такового мо-

[1] Не лишне отметить, что далеко не все ученые считают необходимым прибегать к понятию языкового союза при объяснении специфических лингвистических феноменов, свойственных современным балканским языкам, например, таких взглядов придерживался А. Мейе, резко отрицательную позицию занимали С. Младенов, А. Белич, в настоящее время — Й. Заимов. Изложение мнений на этот счет (с литературой) см. в докладе Вл. Георгиева «Le problème de l'union linguistique balkanique» («Actes du I Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes», VI — Linguistique, Sofia, 1968, стр. 7 и сл.), постулирующего балканский языковой союз и для более древних периодов; ср.: С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 13; о полемике между Вл. Георгиевым и Й. Заимовым по поводу термина «балканистика» см. в указанных материалах конгресса (стр. 181).

гут быть выявлены уже на современной ступени наших знаний о реликтовых языках Балканского п-ова [2]. Античная балканистика в том виде, в каком она здесь рассматривается, скорее адекватна традиционным понятиям генеалогической и ареальной лингвистики, опирающимся, помимо родства, на географический признак (ср. индоевропеистику и пр.) [3].

I. И с т о ч н и к и. Конкретные источники наших настоящих и, позволим себе некоторую долю оптимизма, будущих знаний о реликтовых языках Балканского п-ова, в противоположность общепринятому мнению, не так уж скудны; впрочем степень полноты и сохранности варьируется по отдельным языкам.

а) Фактический материал, ономастический (топонимия, антропонимия, этнонимия, имена и эпитеты богов) и этнологический, сохранившийся в греко-римских передачах и прямых свидетельствах, черпается из работ Гомера, Геродота, Фукидида, Ливия, Страбона, Павсания, Плиния, Аппиана, Арриана, Псевдо-Скилака, Псевдо-Скимна, Стефана Византийского, Прокопия Кесарийского, Иордана, Гесихия и многих других менее известных античных и византийских авторов, включая различных схолиастов, располагающихся в огромном, более чем полуторатысячелетнем хронологическом промежутке, если временем создания отдельных отрезков гомеровских поэм считать по меньшей мере XIII—XII вв. (время кодификации VI в. до н. э.), и учесть, что Стефан Византийский и Прокопий Кесарийский писали свои сочинения в VI в. н. э.

б) Немалое число оригинального и корригирующего материала содержит вторая группа источников, состоящих из эпиграфики с интересующих нас и сопредельных территорий на греческом и латинском языках (надписи на монетах, печатях, эпитафии, папирусы). К несчастью, и без того скудные надписи на предположительно туземных языках метрополии (20 очень кратких из Фракии) пока еще далеки от удовлетворительной расшифровки. Единственная балкано-иллирийская надпись из трех слов на перстне оказалась греческой раннехристианского периода. Более двух с половиной сотен крайне кратких надписей на мессапском, который давно генетически идентифицирован с иллирийским, не восполняют недостатка в письменных источниках по иллирийскому языку в силу своей жанровой ограниченности. Более пространные и разнообразные древнефригийские (VII—V вв. до н. э.) и позднефригийские (II—III в. н. э.) надписи все без исключения обнаружены в Малой Азии.

в) Третья группа фактов, помогающих реконструировать древнейшее лингвистическое состояние и этнические процессы на Балканах, извлекается из современной топонимии Балканского п-ова и соседних регионов, в частности, таковой служит балтийская и славянская ономастика.

г) Четвертый источник — это так называемые субстратные слова, сохранившиеся в письменной и устной традиции современных балканских языков. При этом удельный вес таких апеллятивов в исследовании различных реликтовых языков Балкан далеко не одинаков. Необходимо особо подчеркнуть, что на Балканском п-ове единый гомогенный субстрат не прослеживается ни на юге, ни в центральноевропейской части. Так, инородные лексические вкрапления в словаре древнегреческого языка, где они составляют с небольшими отклонениями довольно однородную группу «технических» терминов и названий растений, сыграли значительную,

[2] Ср. Л. А. Г и н д и н, К вопросу о древнебалканской индоевропейской переходной зоне, «Résumés des communications. XI-e Congrès international des sciences onomastiques», Sofia, 1972 (ротапринт).

[3] Пользуюсь случаем принести благодарность О. Н. Трубачеву, прочитавшему статью в рукописи и указавшему на необходимость разграничения в плане языкового союза терминов «античная балканистика» и «современная балканистика».

но отнюдь не первостепенную роль в выявлении догреческих слоев на территории Эллады. Близкая картина наблюдается в румынском, содержащем определенное количество слов дороманского происхождения; из них наиболее знаменательны те, которые имеют соответствия в албанском и могут претендовать на автохтонное, т. е. субстратное дакийское (resp. фракийское) происхождение, с немалой примесью, видимо, иллиризмов. По А. Россети, подобных слов около 80, по А. Филиппиде — около 140. И. И. Руссу насчитывает 71 слово, Г. Райхенкрон — свыше 1000 (последнее является несомненным преувеличением). Здесь нужно учитывать, что, подобно тому, как часть «пеласгских» слов по мере углубления исследований оказалась заимствованной из языков древней Анатолии, так и упомянутый компонент румынского тоже может включать определенное число заимствований из соседних языков; показательно несовпадение списков субстратных румынских слов у различных ученых.

Для реконструкции собственно фракийского должны были бы иметь значение субстратные апеллятивы болгарского, a priori содержащиеся в довольно многочисленной группе слов, лишенных достоверной этимологии в качестве исконно славянских или заимствованных из ареально близких болгарскому языков в различные периоды его истории. Однако этот компонент представляет в болгарском словаре «разношерстное» как семантически, так и грамматически собрание лексем [4], что существенно затрудняет их совокупное этимологическое исследование и групповую реконструкцию. С. Б. Бернштейн во многом прав, считая не внушающими доверия фракийские этимологии некоторых из подобных слов и полагая, что при постулировании субстратно-фракийского происхождения прежде всего следует элиминировать возможность позднейшего заимствования [5].

Так, например, обстоит дело с фракийской этимологией болг. *карпа* «скала», при алб. *karpë* (то же) и Καρπάτης ὄρος «Карпаты» [6]. Действительно, в названии горного кряжа Καρπάτης ὄρος (ср. остров между Критом и Родосом — Κάρπαθος, Κράπαθος, имя героя из понтийской Месембрии — Καρπασύς), вполне возможно, отразился фракийский апеллятив, сохраненный алб. *karpë*, но это отнюдь не означает, что болг. *карпа* заимствовано непосредственно из фракийского; судя по отсутствию метатезы плавного, не отмеченной для предположительно фракийских апеллятивных проникновений в болгарском (*балта* = *блата*, видимо, из румынского) [7], это позднее заимствование из албанского. Подобное рассуждение уместно и в случае с болг. *рофея*, *руфя* «молния», в котором, по мнению В. Томашека, а вслед за ним Д. Дечева и Вл. Георгиева [8], вскрывается глоссированное

[4] Ср. в этом отношении обратную картину, являемую догреческим индоевропейским слоем, где четко выделяются субстратные словообразовательные модели и семантические классы (см.: Л. А. Гиндин, Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова, М., 1967, стр. 70 и сл.).

[5] С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 23 и сл.

[6] См.: Вл. Георгиев, Въпроси на българската етимология, София, 1958, стр. 36 и сл.

[7] Ср.: Вл. Георгиев, Въпроси на българската етимология; напротив, отмечены безметатезные болгарские географические названия, например, гидронимы, по-видимому, воспринятые от фракийского населения, *Арда* и *Ерма*, см. об этом специально: J. Zaimov, Quelque particularités des noms thraces en Bulgarie, БЕ, VI, 1963, стр. 85.

[8] W. Tomaschek, Die alten Thraker, II, «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften», phil.-hist. cl., CXXX, Wien, 1894, стр. 18; D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, стр. 403 и сл.; Вл. Георгиев, Въпроси на българската етимология, стр. 37. Разница в индоевропейских этимологиях между первыми двумя и Вл. Георгиевым несущественна для констатации фактического источника заимствования болг. *рофея*, *руфя*. В частности, В. Томашек возводит фрак. *ῥομφαία и пр. к и.-е. **rabh-* в др.-инд. *rábhate* «erfaßt, hält sich fest», *rambhá-*«Stab, Stütze», *rambhin* «Lanze», Вл. Георгиев, принимая во внимание передвижение согласс-

фрак. ῥομφαία, *rumpia* «дротик», *romphaea romfea* «меч», при алб. *rrufé* «гром, молния», ново-греч. ῥομφαία «большой, широкий меч». Но если говорить о конкретной истории болгарского слова, то оно скорее всего также проникло из албанского, о чем недвусмысленно свидетельствует тождество семантики с албанской лексемой и пограничный с албанским ареал распространения болгарского слова [9], хотя само алб. *rrufé* может прямо восходить к фракийскому прототипу [10]. Примером мнимого фракизма в болгарском может служить этимология болг. *ватра* «огонь», предложенная Вл. Георгиевым в «Болгарском этимологическом словаре» [11] и недавно поддержанная Э. Хэмпом в качестве антитезы гипотезе Н. Йокля об иранском происхождении данного слова [12].

Географический ареал, характеризуемый распространением данной лексемы (без существенных отклонений в значении) и родственных ей во всех трех славянских диалектных зонах: ю.-слав.— болг., серб.-хорв.; зап.-слав.— чеш., словацк., польск.; вост.-слав.— укр. (*ватра* «пастушеский костер»), весьма вероятно, русск. *ватрушка*, ср. русск.-церк.-слав. *обатрити сѧ* «воспалиться (о нарывах)», *обащрениѥ*: φλεγμονή — содержит достаточно реальных оснований для реконструкции праслав. **vatra* с регулярным протетическим *v* из **ātra*, исконно родственного иран. (авест.) *ātar-* «огонь», др.-инд. *átharvā-* «Feuerpriester» (старое иранское заимствование), ирл. *áith* «печь», лат. *āter* «черный, темный», арм. **air* (все к и.-е. **āter*). Эта основа в некоторых славянских языках сохранила свидетельства былой продуктивности, кроме приведенных церковнославянских, ср. серб.-хорв. *ватриште* «кострище», словацк. *vatrisko* «цыганский табор». Тем не менее в настоящее время слав. **vatra* представляется лексемой, по ряду причин, подобно некоторым другим пастушеским терминам, сузившей свое праславянское значение в сторону семантической спецификации в диалектах, причастных карпато-балканской зоне [13]. Правда, исконно славянская этимология не снимает трудности с объяснения албанского и румынского слова. К тому же необходимо считаться с возможностью распространения этого слова валахами, воспринявшими его у славян или ираноязычных племен.

Впрочем приведенные примеры не должны умалять рациональности поисков каких-то единых критериев в подходе к потенциально субстратным апеллятивам современных балканских языков, что может оказаться столь же перспективным, как работы в области догреческого субстрата.

д) Наконец, пятый источник — глоссы античных авторов, включая такой значительный письменный памятник, как словарь Гесихия, где часть

ных, осуществленное фракийским (и.-е. **p* > фрак. *ph*), предпочитает относить фракийское слово к и.-е.* *ru(m)p-*, реализованному в лат. *rumpō* «ломать, разрывать», др.-инд. *lumpáti* «разбивать» и т. д.

[9] С. Б. Бернштейн, указ. соч.

[10] Впрочем Вл. Георгиев (там же), наряду с фракийским, в качестве возможных источников заимствования полагает албанский и греческий, считая последние оба потенциально более вероятными.

[11] Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, Български етимологичен речник, II, София, 1963, стр. 123 и сл.

[12] E. P. Hamp, Deux fantômes de l'ethnogenèse balkanique, сб. «L'ethnogenèse des peuples balkaniques» (= «Studia balcanica», 5), Sofia, 1971, стр. 246.

[13] Подробно о праславянской этимологии рассмотренного слова см.: «Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд)», под ред. О. Н. Трубачева (в печати). Ср. менее аргументированно: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, I. М., 1964, стр. 279, s. v. *ватрушка*. Семантическое поле лексемы **vatra* в современных языках и ее географическая дистрибуция (карпатский ареал с сопредельными районами, главным образом на Балканах) хорошо показаны в специальной работе Г. П. Клепиковой «Из карпато-балканской терминологии высокогорного скотоводства» (сб. «Проблемы балканского языкознания», М.— в печати).

балканских слов среди других лексем негреческого происхождения и диалектных греческих ждет своего выявления и этнической селекции. Необходимо специально упомянуть небольшие коллекции названий дакийских растений у Диоскорида и Псевдо-Апулея. При общей малочисленности и хронологической неоднородности, глоссы античных и византийских лексикографов, историков и схолиастов составляют важнейшую группу фактов в силу их специфической семантической определенности и языковой приуроченности.

В связи с особенностями материальной базы позволительно сделать два предостерегающих замечания.

Не следует, во-первых, страшиться многочисленности источниковедческих единиц, их жанрового и хронологического разнообразия при весьма небольшой плотности в смысле наполненности знаменательными для данной дисциплины фактами, так как основная филологическая работа по выявлению балканских языковых реликтов в значительной части проделана несколькими поколениями ученых; относительно далеко продвинута и лингвистическая интерпретация [14]. Меньше сделано в столь же важной области ретроспективного изучения древней топонимии Балкан; возможно, это связано с малочисленностью сводных работ (словарей), достаточно полно отражающих современное состояние топонимии балканских и смежных территорий. Однако и здесь накоплен немалый материал, облегчающий и стимулирующий дальнейшие исследования ретроспективного плана; имеются в виду труды С. Младенова, Д. Дечева, Вл. Георгиева, И. Дуриданова, Й. Заимова (территория Болгарии); П. Скока, Г. Крае, Ф. Безлая (территория Сербии, Хорватии, Словении, Македонии) [15]. Второе же

[14] Кратко аннотированную библиографию работ по древним негреческим языкам Балканского п-ова (до 1965—1966 гг.) см. в упомянутой монографии автора, стр. 9—12, 40—42 и др.; там же некоторые дополнительные сведения, характеризующие состояние материальной базы исследований. Среди работ, вышедших позже, необходимо отметить два обзора литературы: Ž. Velkova, Die thrakische Sprache (Bibliographischer Anzeiger 1852—1965), БЕ, XII, 1967; A. Stipčević, Bibliographia illyrica, Sarajevo, 1967; кроме того, опубликован ряд важных монографических исследований: G. Reichenkron, Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen), Heidelberg, 1966; I. Duridanov, Thrakisch-dakische Studien I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Sofia, 1969; I. I. Russu, Elemente autohtone în limba română. Substratul comun română-albanez, Bucureşti, 1970; O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmäler, БЕ, X, 1966 (весьма спорно). Ср.: И. М. Дьяконов, Место фригийского среди индоевропейских языков, «Первый симпозиум по балканскому языкознанию. Античная балканистика. Предварительные материалы», М., 1972, стр. 3 и сл. (ротапринт). Также: M. Lejeune, Discussions sur l'alphabet phrygien, «Studi micenei ed egeo-anatolici», X, 1969, стр. 19 и сл., его же, Notes paléo-phrygiennes, «Revue des études anciennes», 71, 3—4, 1969, стр. 287 и сл.; его же, Les inscriptions de Gordion et l'alphabet phrygien, «Kadmos», IX, 1, 1970, стр. 51 и сл.; прочую литературу по фригийскому, включая рецензии на указанную книгу О. Хааса, см. в аннотированной библиографии В. П. Нерознака («Первый симпозиум по балканскому языкознанию...», стр. 55—56). Несомненный интерес представляют материалы указанного выше Международного симпозиума по этногенезу балканских народов (Пловдив, 1969); см. о нем нашу информацию — ВЯ, 1970,2. На тему фрако-балтийских отношений см. также: C. Poghirc, Les rapports entre le thraco-dace et le balto-slave, «Actes du X Congrès international de linguistes». Bucarest, стр. 765 и сл.; В. Н. Топоров. К древним балкано-балтийским связям в области языка и культуры, «Первый симпозиум по балканскому языкознанию...», стр. 24 и сл.: его же. К фракийско-балтийским языковым параллелям, сб. «Проблемы балканского языкознания» (в печати). В последнее время повысился интерес к древнемакедонскому, см.: C. Poghirc, Considérations sur le lexique de l'ancien macédonien, «Revue de linguistique», 1960, 1, стр. 135 и сл. (македонский близко родствен греческому); I. Pudić, Die Sprache der alten Makedonen, сб. «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 207 и сл.

[15] Довольно полную библиографию работ упомянутых и некоторых других авторов можно найти в обзорах топонимической литературы Н. И. Толстого (для Югославии) и А. К. Кошелева (для Болгарии), см. сб. «Иностранная литература по топони-

наше замечание заключается в предостережении от излишнего оптимизма в представлении о возможностях реконструкции субстратных языков Балкан. Действительно, специфические особенности исходных ономастических данных в лучшем случае допускают восстановление фонетики, набора апеллятивных основ и словообразовательных элементов языка, причем лишь в том объеме, в котором они принимали участие в создании ономастики данного языкового субстрата [16]. Необходимо помнить также, что все это базируется подчас на весьма зыбких (корневых) ономастических этимологиях. В связи с указанным обстоятельством названия трудов: «Язык иллирийцев» (Г. Крае, А. Майер), «Язык фракийцев» (Вл. Георгиев, В. Нерознак), название нашей монографии «Язык древнейшего населения...» — следует рассматривать как различной степени метафорические преувеличения. И совсем уже поэтической фигурой оказывается апелляция к фракийскому (resp. дако-мизийскому) субстрату, например, в поисках источника процесса утраты инфинитива в современных балканских языках [17]: относительно грамматики и тем более синтаксиса фракийского, как и других реликтовых языков Балкан, нам практически ничего неизвестно [18]. При подобном положении вещей экономнее и реалистичнее, выясняя импульсы к утрате инфинитива, обратиться к истории самих балканских языков, в которых межъязыковая интерференция, лексическая и соответственно грамматическая, обусловленная культурно-историческими особенностями существования этих языков, является наиболее характерным атрибутом. Во всяком случае в греческом процесс утраты инфинитива и замены его финитными конструкциями прослеживается очень рано. П. Бюржьер в своем обстоятельнейшем исследовании усмат-

---

мике», М., 1965; помимо того, см. обзор В. А. Никонова «Послевоенные работы по топонимике в славянских странах» («Краткие сообщения Ин-та славяноведения», 28, 1960, стр. 75 и сл.). Из работ, не вошедших в данные обзоры, следует указать обстоятельное исследование Й. Заимова «Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия» (София, 1967); е г о ж е, Anciens noms bulgares dans la partie sud de la péninsule balkanique, «Actes du I Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes», VI—Linguistique, стр. 389 и сл.; е г о ж е, Quelques particularités des noms thraces en Bulgarie, стр. 82 и сл.; см. еще: Вл. Г е о р г и е в, Значението на съвременната топонимия за обяснението на древните географски названия, «Известия на института за български език», кн. XIV, 1967, стр. 5 и сл.; определенный интерес представляет написанная на материале п о л е в ы х наблюдений небольшая статья: В. S i m e o n o v, Noms des lieux thraces récemment découverts, там же, стр. 87 и сл. Для территории Румынии см.: N. D r ă g a n u, Românî în veacurile IX—XIV pe baza toponimici şi a onomasticei, Bucureşti, 1933; I. I o r d a n, Nume de locuri romîneşti, Bucureşti, 1952; е г о ж е, Toponimia romînească, Bucureşti, 1963 (с литературой). По-прежнему не потеряли значения работы М. Фасмера и А. М. Селищева по славянизации окраинных территорий Балканского п-ова (см.: M. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941; А. М. С е л и щ е в, Славянское население в Албании, София, 1931). Почти исчерпывающие списки литературы по дославянской эпохе Балканского п-ова см. в кн.: I. P o p o v i ć, Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden, 1960.

[16] Нужно считаться, кроме того, с различной степенью расхождения между набором лексем каждого языка и ономастикой, которая обслуживает его носителей (см. об этом: В. Н. Т о п о р о в, Из области теоретической топономастики, ВЯ, 1962, 6, стр. 3); например, фракийская ономастика составлена по крайней мере из восьми компонентов: собственно фракийского, греческого, фригийского, древнемакедонского (языки Балкан), кельтского, иранского, хетто-лувийского и доиндоевропейского.

[17] М. А. Г а б и н с к и й, Появление и утрата первичного албанского инфинитива (к проблеме инфинитива в балканских языках), Л., 1970, стр. 271 и сл.

[18] Ср.: К. В л а х о в, Морфологично-синтактични данни за езика на траките — прдславянският субстрат в нашите земи, «Език и литература», XXII, кн. 5, стр. 47 и сл.: фрак. *midne* — аблатив-локатив на *-e* < и.-е. *ǵik'-no-* (в лат. *vicus* и пр.); сомнение в правильности данной интерпретации: I. D u r i d a n o v, Die Stellung des thrakischen im Kreise der indoeuropäischen Sprachen, «Thracia. Primus congressus studiorum thracicorum», I, Serdicae, 1972, стр. 240, прим. 6.

ривает начало процесса в гомеровских поэмах [19]. С другой стороны, новогреческий оборот νά + конъюнктив имеет полностью адекватный прототип ἵνα + конъюнктив в текстах Нового завета [20]. Разумеется, распространение этой инновации по всему балканскому ареалу с ослаблением процесса замены инфинитива к периферии, если считать эпицентром греческий, должно было получить поддержку со стороны особой лингвистической ситуации, сложившейся на Балканах еще в античный период.

II. Замечания к методике исследования. Если одна из рассмотренных выше особенностей материальной базы заставляет нас классифицировать античную балканистику прежде всего как самостоятельную отрасль классической филологии, то другая столь же характерная черта источников, выразившаяся в том, что они пока представляют собой в подавляющем числе лишь географические названия, антропонимы и имена богов, с необходимостью включает исследования в области античной балканистики в круг специфических проблем ономастики со всеми вытекающими отсюда последствиями [21].

Трудности изучения ономастики, вызываемые отсутствием лексического значения в обычном понимании у имени собственного, усугубляются тем, что апеллятивная лексика, на базе которой возникла автохтонная балканская ономастика, практически не сохранилась. Это существенно осложняет языковую и этническую атрибуцию материала, лишая исследователя естественной точки отсчета, каковой служит, например, при изучении догреческого ономастического слоя на территории Эллады греческая ономастика, прозрачно соотносимая с исконно греческой апеллятивной лексикой. Именно поэтому в решении как чисто лингвистических задач (реконструкция отдельных фрагментов апеллятивного корнеслова, морфемно-аффиксального состава, места отдельных балканских языков в кругу индоевропейских и пр.), так и экстралингвистических (этапы заселения Балканского п-ова, включая распространение славянских племен, и, следовательно, этногенез южных и частично западных славян, румын, албанцев, греков; этно-лингвистическая ситуация и этнические связи), т. е. при решении проблем, требующих диахронической стратификации, необходима особо тонкая и осторожная процедура исследования; ее краеугольным камнем и базой, вне всякого сомнения, является этимологический анализ.

Утверждая в этом пункте вполне очевидную истину, мы тем не менее коснулись в нем, кажется, самого болезненного вопроса для многих занимающихся топонимикой и ономастикой вообще, практикующих в своих работах в лучшем случае сопоставления на уровне топонимических лексем или ограничивающихся формантным анализом, хотя увеличившийся особенно в последние годы поток ономастических работ приводит к неоспоримому, на наш взгляд, выводу, что только этимологический анализ, включающий целый ряд чисто лингвистических операций и предполагающий, по возможности, их полное выполнение, способен оградить от произвольного морфемного членения и коллекционирования фантомов созвучия. Забвение этого положения, как правило, ведет к дилетантизму. Так, печальный опыт работ, устанавливающих единый доиндоевропейский субстрат по всему Средиземноморью на основании омонимии формантов и корневых элементов, встречающихся в этом обширном ареале, не послужил предо-

[19] P. Burgière, Histoire de l'infinitif en grec, Paris, 1960.
[20] K. Sandfeld, Linguistique balkanique, Paris, 1930, стр. 177 и сл.
[21] Подобное утверждение никоим образом не уменьшает важности исследований апеллятивной субстратной лексики и интерпретации пока весьма скудного эпиграфического материала на реликтовых балканских языках, в частности, фригийских и мессапских надписей.

стережением от абсолютизации формантного анализа при постулировании тезиса о едином индоевропейском субстрате в Эгеиде [22]. Однако в настоящее время хорошо известно, что суффиксальные элементы *-ss-*, *-nt-*, *-m-*, *-n-*, *-r-* и пр. широко представлены по всему бассейну Средиземного моря как в индоевропейских языках, так и неиндоевропейских. Впрочем еще П. Кречмер и позже Вл. Георгиев убедительно показали, что суффиксальные комплексы, содержащие консонантную группу *-ss/-tt-*, свойственны множеству топонимов, разнородных в языковом отношении, но относительно равномерно распространенных в Эгеиде и сопредельных областях. Этот тождественный в синхронном плане класс топонимов составляют следующие гетерогенные слои: 1) догреческий доиндоевропейский (тип λάρισ(σ)α); 2) догреческий индоевропейский, «пеласгский» (тип Πάνυσος); 3) догреческий анатолийского происхождения в Элладе и туземный индоевропейский (тип Πήδασος) и неиндоевропейский (тип Παρνασ(σ)ός) в Анатолии; 4) чисто греческий, содержащий топонимы с суффиксальным элементом -σσ-/-ττ-, появившимся в результате фонетических модификаций в исходе согласных основ перед суффиксом *-i̯o-/-i̯a-*, например, название демов в Аттике Κηττοί < **kāwāk-i̯o-* при греч. (ион.) καύξ, κυήκος «вид морской птицы»; Σφεττοί < **sphak-i̯o-* при σφήξ, σφηκός «оса» (ср. название комедии Аристофана). Затем можно указать на продуктивный в греческой топонимии суффикс *-όεσσα*, *-οῦσσα* < *-ό-Fεντ-ι̯ᾱ, образовавший географические названия типа Ἰχθυόεσσα, более раннее название о. Икарос = апеллятиву ἰχθυόεσσα < *ἰχθυοFεντια «изобилующий рыбой»; более раннее название о. Кимолос < *ἐχινο-Fεντια, «изобилующий ежами», ср. местное название муж. р. Ἔχινος, Ἐχινοῦντος < *ἐχινο-Fεντς; Οἰνοῦσσα, группа из трех островов в Мессенском заливе < *οἰνο-Fεντια «богатые вином». Исконно греческое происхождение двух первых апеллятивных основ бесспорно [23]. Итак, перед нами по меньшей мере четыре гетерогенных группы топонимов, слившихся в единый синхронный тип. Можно ли при такой сложной с лингвистической точки зрения ситуации игнорировать этимологический анализ корневых основ и ограничиться сугубо формальными сопоставлениями на ономастическом уровне? Не имея возможности более входить в методологические подробности топонимической субстратной этимологии, позволим себе сделать отсылку к нашей упомянутой выше специальной работе «К методике выявления...». Заметим лишь, что топонимическая ситуация, подобная рассмотренной на Балканах, встречается повсеместно; недавно это с большой очевидностью для гидронимии Правобережной Украины показал О. Н. Трубачев в своей во многих отношениях замечательной книге [24].

III. Предмет исследования. Лингво-этническое пространство Балканского п-ова догреческого и прагреческого периода, подлежа-

---

[22] О границах и специфике применения этимологической методики в топонимии вообще и догреческой, в частности, см.: Л. А. Гиндин, Язык древнейшего населения..., стр. 53 и сл., 80 и сл. и др.; его же, Le «pélasgique» et le thrace, сб. «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 237 и сл. (там же, стр. 306 и сл., 309 и сл., см. нашу полемику с Вл. Георгиевым по поводу лингво-этнической принадлежности критских топонимов Λαβύρινθος и Τύλισσος); его же, К методике выявления и стратификации лингво-этнических слоев на юге Балканского полуострова, «Этимология. 1967», М., 1970, стр. 215 и сл.

[23] Hj. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1961, стр. 745 и сл. и 601 соответственно.

[24] О. Н. Трубачев, Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация, М., 1968 (ср., например, диахронический срез рифмованного гидронимического сегмента *-ава*, стр. 49 и сл. и др.); см. еще: его же, Из опыта исследования гидронимов Украины, «Baltistica», IV (1), 1968.

щее исследованию в рамках античной балканистики, может быть схематически расчленено на четыре региона.

1. Восток — фракийский язык; на этом языке говорили многочисленные племена (наиболее могущественными среди них были этнические образования бессов и одрюсов), позднее объединенные греками под одним этнонимом — фраки и занимавшие области между Черным морем, Пропонтидой и Эгейским морем с островами Тасос, Самофракия и др. (район к югу от Дуная), на западе ограниченные реками Timachus — Στρυμών (современная Болгария); приблизительно ареал топонимов с *-para* «река», ср. болг. *бара* «речушка» и пр., и *-bria* «город», ср. тох. В *riye*, А *ri*—то же. К северу от Дуная (современная Румыния и Венгрия к востоку от Тиссы) располагались даки, северо-восток современной Югославии и Добруджу занимали мизийцы, говорившие на дако-мизийском языке, являвшемся, по-видимому, северным диалектом собственно фракийского; приблизительно ареал топонимов с *-dava* «город» (и.-е. **dhēu̯ā* «место»).

2. Запад — иллирийский язык, обслуживавший племенное объединение иллирийцев, населявших до нашествия кельтов Иллирикум (современная Албания), Далмацию и, вероятно, Южную Паннонию (современная Югославия к западу и самая южная часть Венгрии). Согласно Р. Катичичу [25], в этом районе обитали родственные им племена далматинцев и паннонцев, а также близкие по языку венетам либурнцы и истрийцы, занимавшие маленькую территорию в самой западной части п-ова.

3. Центральноюжный район — язык древних македонцев, первоначально заселявших область по реке Ἀλιάκμων (современная южная Македония); фригийский язык, до переселения его носителей в Малую Азию распространенный, видимо, в бассейне реки Ἐρίγων, к западу от реки Ἀξιός (западная часть современной Македонии); прямые свидетельства Геродота и Евдокса и некоторые лингвистические соображения вынуждают постулировать прародину армян по соседству с фригийцами [26]; вполне возможно, что вблизи данного ареала следует искать также район распространения отдельных протогреческих племен (Эпир с западными областями Фессалии), послуживший промежуточным плацдармом во время их экспансии на юг Балканского п-ова [27].

4. Юг (все прочие территории Эллады с Критом и другими Эгейскими островами) — «пеласгский» язык, оказавшийся, по нашему мнению, в генетическом отношении тождественным фракийскому [28], какие-то раннехетто-лувийские диалекты, на которых говорили племена, в части своей определенно пришедшие из Анатолии; наконец, приблизительно на рубеже III и II тысячелетий здесь распространились эллины, принесшие сюда ахейский диалект греческого языка [29].

Такова в высшей степени сложная лингвистическая (resp. этническая) картина подлежащего компетенции античной балканистики района по

[25] R. Katičić, Liburner, Pannonier und Illyrier, «Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde», Innsbruck, 1968, стр. 363 и сл.

[26] См.: Л. А. Гиндин, К проблеме генетической принадлежности «пеласгского» догреческого слоя, ВЯ, 1971, 1, стр. 46 и сл. (с литературой), ср. упомянутую выше работу И. М. Дьяконова.

[27] См.: Л. А. Гиндин, К вопросу о протогреческом ареале на Балканском полуострове, «IV Конференция по классической филологии (тезисы)», Тбилиси, 1969, стр. 15 и сл.

[28] L. A. Gindin, Le «pélasgique» et le thrace; его же, К проблеме генетической принадлежности «пеласгского» догреческого слоя.

[29] Специально выявлению анатолийского вклада в догреческой топонимии посвящена упоминавшаяся монография автора «Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова»; из новой литературы по проблемам лингво-этнической географии см.: V. I. Georgiv, L'ethnogenèse de la péninsule balkanique d'après les données linguistiques, «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 161 и сл.

сведениям древних авторов и по предварительным данным ономастики; пространственное членение этого лингвистического пласта хронологической протяженностью минимум в тысячу лет, разумеется, следует воспринимать как нечто весьма приближенное, особенно в определении границ распространения языков, поскольку координация противоречивых античных и византийских этнологических свидетельств на уровне письменных источников и по отношению к фактам топонимии пока может быть только сформулирована в виде одной из первоочередных задач, как соответственно и проблема выявления анахронизмов и поздних интерполяций в сведениях древних авторов [30].

Такая ситуация осложнялась различными языковыми и племенными смешениями, весьма усилившимися в эпоху великих передвижений (последняя четверть II тысячелетия) и несколькими веками позже; это существенно исказило черты постулированной выше протокарты. Так, на основе исторических, археологических и лингвистических данных установлено, что в первой волне балканской миграции на юго-восток в Малую Азию переселилась основная масса мизийских племен, в XII в. по их следам ушли фригийцы и на рубеже VIII—VII вв. часть фракийских племен, среди которых главную роль играли битинцы [31] — все вместе они заняли в поздне- и послехеттской Анатолии обширнейшие территории (север и центр), оттеснив хеттоязычные народы к югу и востоку вдоль побережья. Не подлежит сомнению балканский этнический компонент в «троянском племенном союзе». Гомер в Долонии («Илиада», X, 428—434), наряду с позднехеттскими племенами карийцев, лелегов, ликийцев и меонийцев, упоминает пеонов, кауконов, фригийцев и фракийцев царя Реса. В соответствии с этим в районе Казанлыка в 1956 г. была обнаружена в бронзовой культуре, принадлежащей фракийцем, прототипическая форма так называемой «выпуклой керамики», характерной для слоя Троя VII b 2, имеющая предысторию и дальнейшие эволюционные черты на территории древней Фракии и Македонии [32]. В таком культурно-историческом контексте можно с определенным сочувствием указать на известную этимологию Вл. Георгиева, основанную на отождествлении Τρῶες < * *Trōses* с названием фракийского племени Τραυσοί (при монофтонгизации дифтонга *au* > *o* и возведении гомеровской формы θρᾴκες к тому же * Τραυσ-(ικες) через ступень * ΤραFhικες видимо, в качестве этникона [33]); между прочим последняя идентификация была намечена П. Кречмером еще в 1935 г. [34]; цитируя ее, Д. Дечев в своем словаре возвел фрак. Τραυσοί к и.-е. **trĕu-* «расти, процветать» [35].

[30] Помимо того, здесь не упомянуты некоторые древнебалканские этносы и языки, достоверно засвидетельствованные в античных памятниках (в частности, у Гомера), но оставившие после себя слишком скудные языковые реликты, например, дарданы, пеоны, мигдоны, киконы, кауконы, кидоны (Крит) и многие другие; о языке пеонов и мигдонов см. специально: I. D u r i d a n o v, Die Stellung des Päonischen, «Actes du X Congrès international des linguistes», Bucarest, 1970, стр. 760 и сл. (там же старая литература); е г о ж е, Die Vorgeschichte Mygdoniens im Lichte der Sprache, «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 199 и сл.

[31] Xr. M. D a n o v, Zu der Ethnogenese und den Lageverschiebungen der Volksstämme Altthrakiens in der zweiten Hälfte des II und der ersten Hälfte des I. Jahrtausends v. u. Z., «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 271 и сл. Предполагается, кроме того, что в XII—X вв. в Малую Азию мигрировало фракийское племя мигдонов, см.: I. D u r i d a n o v, указ. соч., стр. 205.

[32] D. P. D i m i t r o v, Troia VII b 2 und die thrakischen und mösischen Stämme auf dem Balkan, «L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 63 и сл.

[33] В. И. Г е о р г и е в, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 136 и сл.

[34] P. K r e t s c h m e r, Zum Balkanskythischen, «Glotta», XXIV, 1936, стр. 41.

[35] D. D e t s c h e w, Die thrakischen Sprachreste, стр. 521; ср.: К. В л а х о в, Името на древните жители на нашата земя — траките, «Език и литература», XXIII,

В связи с указанным обстоятельством в сфере античной балканистики оказывается лингвистическое пространство Малой Азии с ее многочисленными языками, принесенными с Балканского п-ова, сохранившимися в виде ономастики (поздние надписи имеются лишь на фригийском); отсюда естественным и необходимым условием прогресса в изучении балканских языков Малой Азии и континентальной метрополии становится в современных условиях всемерное развитие исследований в области хетто-лувийских языков не только позднего, но и раннего периода, частично ассимилированных и существенно потесненных именно выходцами с Балканского п-ова. В дополнение к этому не менее важным фактом является то, что письменно фиксированная и хорошо датированная апеллятивная и ономастическая лексика на хетто-лувийских языках дает реальную основу для селекции ономастических реликтов Малой Азии и соответственно Балканского п-ова.

Однако возвратимся к более интересующему нас сейчас Балканскому п-ову. В уже предславянский период проходил процесс постепенной, действовавшей на протяжении всей эллинистической и византийской эпохи (последние века до нашей эры и первые нашей) экспансии самых авторитетных языков древней Европы, носившей скорее языковой, чем этнический характер, в результате чего центрально-европейские области Балкан подверглись приблизительно на две трети процессу латинизации и на одну треть грецизации. Этот процесс в известной мере растворил туземные языки данного ареала и «смазал» в трудно уловимой теперь степени более или менее однородный топонимический ландшафт, подвергнув неизбежной в таких случаях адаптации сохранившиеся лексемы. Однако значительное поглощение туземной речи романской и греческой речью коснулось, видимо, лишь обычной лексики, почему, учитывая даже самые оптимистические подсчеты для румынского и албанского, наблюдаются единичные вкрапления апеллятивной и субстратной (resp. автохтонной) лексики в словаре современных балканских языков. По этой причине славяне, заселившие с начала VI в. н. э. обширные территории Балканского п-ова, столкнулись в зависимости от лингво-этнического субстрата (иллирийцы, дакийцы, собственно фракийцы и пр.) с различным, с точки зрения отражения автохтонных языковых элементов, фонетическим, частично грамматическим, и в меньшей степени лексическим узусом покоренного населения, что, по нашему мнению, усилило диалектные различия внутри южнославянских языков и наложило на них печать еще большего своеобразия (ср. влияние дакийского на вульгарную латынь римских легионеров); к сожалению, теперь уже нет возможности с достаточной удовлетворительностью определить величину сохранности туземных балканских языков, в частности фракийского, к моменту соприкосновения с основной массой славянских переселенцев. На базе субстратной и субсубстратной ономастики, а также греческих и латинских надписей с территории континентальной части Балканского п-ова трудно сделать какой-либо определенный вывод на этот счет [36], так как пока достоверных апеллятивов в нашем рас-

2, 1968, стр. 31 и сл.: θρᾶικες, θράικης < *Δρᾶσικες ≈ фракийское племенное название Δάρσιοι, Δερσαῖοι, Δερραῖοι к и.-е. *dhṛs- (нулевая ступень от и.-е. *dhers «быть дерзким, смелым»), в греч. θαρσος, θράσος «смелость, дерзость», лезб. θέρσος то же.

[36] Рассуждения о значительной живости, в частности, фракийских автохтонных этнических и языковых элементов ко времени и в период славянизации Балкан см.: В. Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, София, 1965, стр. 62 и сл.; V. Bešev l i e v, Über manche ältere Theorien von der Romanisierung der Thraker, «Études balkaniques, I, Sofia, 1964, стр. 147 и сл.; Б. Геров, Въпросът за романизацията на тракийското население в българските земи, сб. «Етногенезис и културно наследство на българския народ», София, 1971, стр. 33 и сл.; Г. Михайлов,

поряжении минимальное количество. Что же касается отдельных случаев восприятия славянами непосредственно туземных (фракийских) форм (например, *Пловдив*, древнее *Plъrъdivъ* из фрак. *Pulpudeva*, греч. Φιλιππόπολις, ср. лат. *Trimontium*; *Боруй* из негрецизированного Βερόη, ср. лат. Augusta Trajana; *Ибър* от негрецизированного Ἔβρος, *Мокро* — калька Ἀπαδαβα), то они могли быть в ходу и у испытавшего сильную языковую ассимиляцию населения из-за обычной консервативности местных названий, успешно конкурирующих с официальными книжными. С приходом славян на Балканах начинается этнически и в некоторых отношениях лингвистически стабильный период, сохранившийся в общих чертах до нашего времени, с той лишь разницей, что славяне заходили далеко на юг, на территорию континентальной Греции и на запад в область Иллирикума (современная Албания). Помимо того, в предславянский период сюда вторгались кельты, оставившие значительные следы в топонимии и антропонимии [37], а также — готы, еще раньше — иранцы (скифы), в славянскую эпоху — тюрки.

Уже то обстоятельство, что к балканскому региону причастно в той или иной степени множество индоевропейских языков и народов, засвидетельствованных фактами в непрерывной письменной традиции, начиная от Гомера, делает этот район необычайно интересным для исследования с точки зрения культуры в широком смысле слова и прежде всего в аспекте лингвистическом и этногенетическом. Значение интенсивных разработок в этой области выходит за пределы чисто балканистических проблем, приобретая особую важность для индоевропеистики в целом.

В настоящее время появились весьма веские аргументы в поддержку предположения, что континентальные области Балканского п-ова входили неотъемлемой частью в индоевропейское пространство периода распада его диалектного единства; народы же, населявшие эту территорию с древнейших времен (фракийцы, дакийцы, фригийцы, иллирийцы), оказываются там практически автохтонными. Этот вывод подтверждается гидронимическими данными, так как почти все крупные реки указанного района получили теперь убедительные индоевропейские этимологии, выявляя древнейший тип номинации: например, фрак. Στρυμών, совр. болг. *Струма* к и.-е.**sreu-*«течь» в др.-инд. *srávati*, греч. ῥέω, праслав. **strujiti* то же, др.-в.-нем. *strōm* «река, поток»; *Pannysis*, Πάνυσος, Πάναξ к и.-е. **pen-/ /pon-* «грязь, болото» в др.-инд. *paṅka-* — то же, др.-прусск. *pannean* «болото», гот. *fani* «тина, грязь»., ср. совр, *Панега*, приток Искра, *Pannonia*; Ἴστρος, *Histros* с эпентетическим *t* между *s* и *r* из **is(ə)ro-* в др.-инд. *iṣirá-* «сильный, деятельный» = греч. дор. ἰαρός (**isros*), лесб., ион. ἱρός (**isros*), атт. ἱερός (**iseros*) «мощный, неистовый», др.-кельт. *Isăra*; иллир. Σαῦος, *Savus*, совр. серб. *Sava* из **soṷo-* к и.-е. **seu-* «влага, сок» в др.-в.-нем. *sou* «сок», англ.-сакс. *séaw* (то же), греч. ὗει «идет дождь», алб. *shī* «дождь» (оба из **sū-*), др.-инд. *sávana-m*, *savá-* «Kelterung des Soma», галльск. *Sava*; *Dravos*, совр. серб. *Drava* из **droṷo-*, к и.-е. **dreu-*,

Гръцко езиково и етно-културно влияние сред траките, там же, стр. 27 и сл.; вслед за Бешевлиевым с недостаточно убедительными примерами: К. Влахов, Тракославянски успоредици, «Годишник на Софийския университет». Ист.-филол. фак-т, XIII, 1, 1969; см. также: С. Б. Бернштейн, Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии, сб. «Славянское языкознание», VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973 (в печати).

[37] Из новой литературы см.: R. Katičić, Keltska osobna imena u antičkoj Sloveniji, «Arheološki vestnik», XVIII, Ljubljana, 1966, стр. 145 и сл.; V. Beševliev, Keltische Ortsnamen in den Kastellverzeichnissen bei Prokop, «Actes du I Congrès international des études balkaniques», стр. 415 и сл.; Т. Герасимов, Келтските етнически наслоения в българските земи, «Етногенезис и културно наследство на българския народ», стр. 39 и сл.

в др.-инд. *drávati* «бежит, течет», гидроним *Dravantī*, галльск. название реки *Druentia*; Μάργος, совр. болг., серб. *Morava*, из **morgo-*, ср. гидронимы: галльск. **Morga* (во франц. *Morge*), нем. *Murg*, польск. *Mroga*, лат. *margō*, *-inis* «край, граница» (и.-е. **mₑrĝ-ōn-*), сюда же, согласно О. Н. Трубачеву, вост.-слав. название реки в бассейне Тетерева — *Мурава* [38]. При этом многие из балканских гидронимов засвидетельствованы у Гомера, Гесиода, Геродота, Страбона, Плиния, т. е. имеют возраст порядка 35 веков, сохранив в подавляющем числе свою фонетико-морфологическую структуру в современных балканских языках [39]. Постулируя автохтонность упомянутых племен в пределах Балканского п-ова, во всяком случае в его восточной части, следует учитывать эволюционную непрерывность археологических культур на протяжении неолита, энеолита и бронзового века, о чем убедительно свидетельствуют раскопки в Казанлыке, Караново и других местах и особо благоприятные здесь условия для оседлого земледелия и животноводства без кочевого пастушества (лёссовые почвы и пр.).

Второе важное обстоятельство, вызывающее интерес индоевропеистов к реликтовым языкам Балкан, заключается в том, что при распаде индоевропейской общности эти языки некогда могущественных народов оказались в центре индоевропейского языкового пространства, образовав, наряду с балтийскими языками, так называемую центрально-европейскую балтийско-балканскую переходную зону. В связи с этим для современной ареальной индоевропейской лингвистики реконструкция фракийского и иллирийского — одна из наиблее актуальных задач. Видимо, к этому ареальному фрагменту индоевропейской доистории относятся тесные лексико-ономастические связи балканских языков (иллирийского и фракодакийского) с балтийскими языками и, по предварительным данным, надо полагать, восточнобалканско-хетто-лувийские. Напротив, балканские связи с «древнеевропейской», в терминологии Г. Крае, ономастикой могут носить в целом праязыковой чисто генетический характер [40].

Таким образом, предметом исследования античной балканистики, является все многообразие лингвистических явлений (как внутренних, так и внешних), относящихся к перечисленным реликтовым языкам, распространенным в пределах балканского ареала и Малой Азии в догреческий и античный периоды.

IV. Проблематика в собственном смысле. В свете изложенного может быть предложен следующий примерный перечень относительно первоочередных проблем.

1. Реконструкция топонимического ландшафта с картами различной глубины в зависимости от времени засвидетельствования, способов передач и этнической принадлежности топонимов. Например, у Геродота находим Ἴστρος, но у Плиния — *Histros*, у Ливия — *Hister*; позже греческие авторы передают это название с тонким придыханием, романские — с густым; поскольку у греков придыхание было более напряженным, следует здесь восстановить придыхательный призвук в начале слова в соответствии с латинскими передачами (см. выше сравнение с греч. ἱερος); Μάργος,, Βάργος — Страбон: Μάργις — Плиний. Какую из данных форм считать более древней при наличии чередования *m* : *b* во фракий-

[38] О. Н. Трубачев, Названия рек Правобережной Украины, стр. 51 и сл.

[39] Ср.: Vl. I. Georgiev, L'ethnogenèse de la péninsule balkanique..., стр. 159 и сл.

[40] Относительно важности некоторых других аспектов балканистики, включая античную, см.: V. Georgiev, Le problème de l'union linguistique balkanique, «Actes du I Congrès international des études balkaniques», стр. 7 и сл.; J. Ellis, Some remarks on the place of Balkan linguistics in general linguistics theory, БЕ, XII, 1967, стр. 37 и сл.

ском? Если с *b*, то предпочтительнее сравнение с греч. βρέχω «орошать (главным образом, о дожде)» < и.-е. **meregh-* в латыш. *merguôt* «моросить»[41] и пр., чем с лат. *margō*, *-inis* «граница», приведенном выше. Кроме того, у Геродота имеется еще одна форма античного названия Моравы — Βρόγγος; признание ее наиболее древней может усилить правдоподобие этимологии В. Томашка из и.-е. **ɣreng-*: *ɣrong-* «вертеть, крутить»[42].

2. Диахроническая и лингво-этническая стратификация топонимии и ономастики в целом; тесно примыкает к предыдущей.

3. Ретроспективное исследование современной ономастики, в особенности топонимии.

4. Выявление лингво-этнической «чересполосицы» и языковой атрибуции тождественных и близких по внешнему облику ономастических лексем в различных по предполагаемой этнической и языковой принадлежности районах, например: иллир. личное имя *Bennus*, ср. мессап. *bennarrihi* и *benna*: фрак. этноним *Beni*, Βενναται, Βεννάσιοι; калабр. топоним Βρεντέσιον/Βρενδέσιον, мессап. βρένδον . ἔλαφον (Гес.): фрак. топоним *Brendice*; иллир. этномим *Germini*, личное имя *Germanus*, личное имя *Germullus*: фрак. топоним Γερμανία, Γερμαή, Γερμεννε и пр.; фрак. (дак.) этноним Δᾶοι, Δάοι, ед. ч. Δᾶος, *Dāvos*, *Davus* и пр., мизийск. топоним Δαούσδαυα; фриг. δάος· ὑπο Φρυγῶν λύκος (гес.); иллир. этноним, согласно Страбону и Аппиану, Δάρδανοι, макед. личное имя, по Фукидиду, *Dardas* Δέρδας: фрак. топоним Δαρδάπαρα, местность в Троаде Δαρδανία; иллир. топоним Τέρπωνος: фрак. топоним Τέρπυλλος; иллир. личные имена Τευτα, Τευταμίδης и пр.: фрак. личное имя *Tautomedes* — все к и.-е. **teutā* «народ» и многие другие. Трактуя эту проблему, необходимо учитывать, с одной стороны, исконное родство древних балканских языков, с другой — лексико-ономастическую интерференцию, вызванную упомянутой миксоглотией и культурно-историческим взаимодействием.

5. Фронтальное обследование лексики современных балканских языков, в частности, диалектов албанского, румынского и болгарского, и языков сопредельных районов в поисках апеллятивного материала для сравнения с древнебалканской ономастикой и глоссами.

6. Выявление балканских элементов в словаре Гесихия; тесно примыкает к предыдущей.

7. Реконструкция в целесообразных пределах фонетики, морфологических черт и апеллятивного фонда каждого из наиболее сохранившихся реликтовых языков Балканского п-ова: фракийского с дакийским, иллирийского, фригийского и древнемакедонского; основная методика — сравнение с внешними данными (полно засвидетельствованных языков).

8. Черты древнебалканской индоевропейской переходной зоны; в последнее время здесь наметилось нечто определенное: затухание сатемной изоглоссы в балкано-балтийском ареале, тенденция к передвижению согласных, переход и.-е. *ŏ* в *ă*; с языками этой зоны указанные черты, возможно, разделяет хетто-лувийский, что далеко не безразлично для исследований древнебалканских языков[43].

---

[41] Так.: A. M a y e r, Die Sprache der alten Illyrier, II, Wien, 1959, стр. 74 и сл; В. И. Г е о р г и е в, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, стр. 257; вопреки: VI. I. G e o r g i e v, L'ethnogenèse de la péninsule balkanique..., стр. 161 (к лат. *margo*, *-inis*).

[42] W. T o m a s c h e k, Die alten Thraker II, 2, «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien», CXXXI, Wien, 1894, стр. 94.

[43] См. резюме нашего доклада «К вопросу о древнебалканской индоевропейской переходной зоне».

9. Элементы древнего балканского языкового союза, по возможности, на различных синхронных уровнях; тесно примыкает к предыдущей.

10. Армянский и реликтовые языки Балкан, при наиболее вероятной особой близости с фригийским.

11. Балкано-балтийские языковые связи.

12. Балкано-хетто-лувийские лексико-ономастические отношения; одна из наиболее важных в настоящее время проблем, ее значение прежде всего заключается в том важнейшем обстоятельстве, что посредством этимологического сопоставления древнебалканской ономастики с ранне- и позднехеттской (resp. анатолийской) может быть выявлен древнейший из доступных исследованию слой балканской ономастики. Хронологическая гарантия (критерий) древности балкано-хетто-лувийских ареальных изоглосс и одновременно terminus ante quem подобных схождений обуславливаются двумя моментами: во-первых, наиболее ранней из всех индоевропейских языков письменной фиксацией хетто-лувийских имен собственных (с начала XIX в. до н. э.) и, во-вторых, тем, что хетто-лувийцы могли покинуть районы центрально-восточной Европы, сопредельные северо-восточным областям Балканского п-ова [44], в любом случае не позднее последней четверти III тысячелетия [45].

13. Балкано-славянские языковые связи; имея в виду очень давние указания на их наличие, остается лишь пожалеть, что конкретно эта проблема практически не разработана.

14. Обследование сопредельных районов Юга России с целью установления топонимических связей с древнебалканским регионом (см. упоминавшуюся выше монографию О. Н. Трубачева, где автор приходит к весьма обнадеживающим результатам: внушительное число дославянских гидронимов Правобережья Украины оказалось иллирийского происхождения, меньшее фракийского); проблема тесно примыкает к двум предыдущим.

15. Этногенез балканских народов в свете античных и византийских письменных памятников.

16. Происхождение румынского и албанского в аспекте альтернативы иллирийский: фракийский (дакийский).

17. Размер и конкретное содержание кельтского вклада в ономастику Балканского п-ова.

18. Определение протогреческого ареала.

Естественно, этот список не претендует на исчерпывающий характер, но может быть разбит на множество отдельных подтем и дополнен. Все указанные проблемы находятся на различной стадии разработки; частичная литература помещена выше.

---

[44] Частичное обоснование гипотезы относительно данного ареала распространения хетто-лувийских языков в преданатолийский период см. в уже упоминавшейся статье автора «К проблеме генетической принадлежности „пеласгского" догреческого слоя» (стр. 47 и сл.).

[45] К постановке проблемы в целом см. выступление автора по докладу Дж. Мелларта на Пловдивском симпозиуме по этногенезу Балкан («L'ethnogenèse des peuples balkaniques», стр. 301); а также работы автора: «К реконструкции фракийского» («Первый симпозиум по балканскому языкознанию», стр. 12 и сл.); «Les thèmes lexico-onomastiques „anatoliques" dans les noms propres thraces», «Résumés des communications. I-er Congrès international de thracologie», Sofia, 1972 (ротапринт); «Некоторые ареальные характеристики хеттского. II. (К балкано-хетто-лувийским изоглоссам в преданатолийский период», сб. «Этимология. 1972» (в печати) и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Б. Б. ХОДОРКОВСКАЯ

КОРНЕВОЙ ПЕРФЕКТ И СТРУКТУРА ГЛАГОЛЬНОГО КОРНЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Во многих древних индоевропейских языках среди различных образований перфекта (или претерита) есть два вида основ, между которыми имелась особого рода связь — это редуплицированный перфект и перфект со ступенью удлинения корневого гласного. Оба морфологических типа перфекта (претерита) известны в италийских, кельтских, тохарских языках, но представлены в каждом отдельном языке сравнительно небольшим числом глаголов. Яснее всего связь обоих морфологических типов обнаруживается тогда, когда в одном языке или в близкородственных языках находятся параллельные формы перфекта, образованные по тому и другому типу от одного и того же корня. Так, в латинском языке для глагола *pangō* известны редуплицированный перфект *pepigī* и перфект с долгим корневым гласным *pēgī*, для глагола *faciō* — *fēcī* и пренестинское *fhefhaked*; аналогичная форма *fefacid* сохранилась также в оскском. В германских языках готским редуплицированным формам претерита *haihait*, *haihald* соответствуют в северо-западных языках нередуплицированные формы с долгим корневым гласным: др.-англ., др.-сакс. *hēt*, др.-англ. *hēold*, др.-фриз. *hēld*. Особенно полно представлен параллелизм обоих морфологических типов претерита в тохарских языках, где большое число глаголов каузативного спряжения образуют в тохарском А редуплицированный претерит, а в тохарском В те же глаголы образуют претерит с удлинением или дифтонгизацией корневого гласного. Например, *täl-* «нести» — А. *cacäl*, В. *cāla* «заставил унести»; *wik-* «исчезать» — А. *wawik*, В. *yaika* «удалил»; *ritw-* «быть связанным» — А. *raritu*, В. *raitta* «связал» [1].

В научной литературе рассматривается вопрос об этих типах претеритальных основ главным образом в плане их происхождения: восходят ли обе модели к одному общему типу образования, или они были самостоятельными с древнейшего времени. Решение этих вопросов перекрещивается с вопросом о формальном статусе общеиндоевропейского перфекта, и здесь имеются две тенденции: с одной стороны, древнейшим признается редуплицированный перфект и к нему возводится перфект с долгим гласным [2], с другой стороны, утверждается, что уже в индоевропейском были два типа перфекта, с редупликацией и без нее [3]. Осо-

[1] W. Krause, W. Thomas, Tocharisches Elementarbuch, Heidelberg, 1960, стр. 176.

[2] F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, Heidelberg, 1914, стр. 152; W. Schulze, Die reduplizierten Präterita des Tocharischen und Germanischen, «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», Berlin, 1924; W. Krause, W. Thomas, указ. соч., стр. 175.

[3] K Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, II, Strassburg, 1933, стр. 542; А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 220.

бенно много загадок связано с латинским долговокалическим перфектом, который рассматривается обычно как результат контаминации различных индоевропейских образований перфекта и аориста, причем просто количественное чередование гласных в основах презенса и перфекта, как *e—ē* (*legō—lēgī*), считается возникшим вторично [4]. В этом отношении представляет интерес изучение квантитативных чередований на материале латинского и вообще италийских языков в плане синхронии. Поскольку долговокалический перфект тесно связан в латинском с редуплицированным перфектом, то целесообразно исследовать их соотношение в языке путем сравнения глагольных корней двух серий и изучения их структурных признаков. При таком анализе следует выделять корни латинские (италийские), а не индоевропейские, так как индоевропейские корни были подвержены постоянным преобразованиям не в меньшей степени, чем прочие языковые структуры [5].

Вот списки глаголов той и другой серии:

1. *cadō—cecidī*, *caedō—cecīdī*, *canō—cecinī*, *pangō—pepigī* и *pēgī*, *parcō—pepercī*, *pariō—peperī*, *tangō—tetigī*, *fallō—fefellī*, *stō—stetī*, *dō—dedī*, *pendō—pependī*, *tendō—tetendī*, *teneō—tetinī*, *pēdō—pepēdī*, *pellō—pepulī*, *discō—didicī*, *scindō—scicidī*, *currō—cucurrī*, *pungō—pupugī*, *tundō—tutudī*, арх. *tulō—tetulī*, *poscō—poposcī*, *spondeō—spopondī*, *tondeō—totondī*, *mordeō—momordī*, *meminī*.

2. *edō—ēdī*, *emō—ēmī*, *agō—ēgī*, **apiō—ēpī* (*co-ēpī*), (*odium*)*—ōdī*, *legō—lēgī*, *linquō—līquī*, *regō—*(*su*)*rēgit*, *rumpō—rūpī*, *videō—vīdī*, *veniō—vēnī*, *vincō—vīcī*, *iaciō—iēcī*, *sedeō—sēdī*, *fodiō—fōdī*, *fugiō—fūgī*, *fundō—fūdī*, *faciō—fēcī*, *frangō—frēgī*, *capiō—cēpī*, *scabō—scābī*.

Чем же характеризуются глаголы, образующие редуплицированный перфект в латинском языке? Римский грамматик Присциан сообщает, что в перфекте удваиваться может только тот слог, который начинается с одного смычного согласного. Эти два признака, характеризующие начало глагольного корня, моноконсонантность и смычность, представлялись античному грамматику весьма существенными. Это видно из того, что кажущееся отступление от первого признака у глаголов, начинающихся с *st-*, *sp-*, *sc-*: *stō—stetī*, *spondeō—spopondī*, *scindō—scicidī*. Присциан объясняет, указывая, что *s* перед смычным теряет силу самостоятельного согласного, т. е. каждое из сочетаний *st-*, *sp-*, *sc-* имеет значимость одного смычного согласного [6]. Указанное положение античного грамматика было подтверждено 15 веков спустя К. Бругманном, показавшим на материале ряда индоевропейских языков, что группа *s* + глухой смычный (*st-*, *sp-*, *sc-*) очень близка по характеру к простому смычному и фактически представляет собой неразложимое фонетическое единство [7].

Второй признак, определяющий начальный согласный корня, смычность, также распространяется на все глаголы серии, за исключением *mordeō—momordī* и *meminī*, но, по свидетельству Присциана, *m* по многим своим дистрибутивным свойствам отличается от других сонантов и функционирует как смычный согласный.

---

[4] E. Benveniste, Sur quelques developpements du parfait indo-européen, «Archivum linguisticum», 1, 1949; F. Bader, Vocalisme et redoublement au parfait radical en latin, BSL, 63, 1, 1968; C. Watkins, Indogermanische Grammatik, III — Geschichte der indogermanischen Verbalflexion, Heidelberg, 1969, стр. 154.

[5] Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 181.

[6] «Grammatici Latini», II, Lipsiae, 1855, стр. 23.

[7] K. Brugmann, Zu den reduplizierten Verbalbildungen des Indoiranischen, IF, 31, 1912.

Итак, глаголы, имеющие редуплицированный перфект, характеризуются определенным началом глагольного корня, допускающим только простые смычные согласные, чаще всего глухие и *m*.

Помимо редуплицированного перфекта, в латинском языке есть еще только один тип перфекта — это перфект с долгим корневым гласным, где начало глагольного корня также ограничено: сонантами (кроме носовых), спирантами или гласными. Анализ глагольных корней второй серии показывает, что все они имеют одинаковую трехэлементную (реже двухэлементную) структуру, включающую краткий гласный, окруженный с обеих сторон одиночными согласными[8], слева сонантом или спирантом (или нулем согласного), справа смычным или носовым по схеме $(R)VT/N$ или $(F)VT/N$ [9]. Но именно при такой последовательности фонем краткий гласный в латинском языке особенно часто подвергался синкопе[10], обладая, очевидно, в позиции открытого слога между сонантом (или спирантом) и смычным (или носовым) признаком сверхкраткости. Безусловно, для синкопы гласного необходимо соблюдение еще такого основного условия, как положение краткого гласного в срединном безударном слоге, чего в данном случае нет, но комбинаторная сверхкраткость гласного, определяемая построением всего сегмента *RVT* или *FVT*, остается. В последовательности фонем, благоприятной для сокращения кратких гласных до сверхкратких, особую значимость имело качество предшествующего согласного [11]. Для латинского языка это были главным образом сонанты.

Глаголы со структурой корня *RVT* (или *FVT*), характеризуемые позиционной сверхкраткостью корневого гласного, образуют основу перфекта путем удлинения этого гласного, что обычно имеет место в открытом слоге: *videō—vīdī*, *relinquō—relīquī*, *regō—(su)rēgit*, *legō—lēgī*, *rumpō—rūpī*, *faciō—fēcī*, *fodiō—fōdī* и т. д. Ритмическая модуляция сверхкраткого гласного в презентной основе и долгого в основе перфекта выполняет, таким образом, в латинском языке, языке типично квантитативном, четкую морфологическую функцию. Глаголы с двухэлементным корнем и вокалическим анлаутом (*VT* или *VN*) по характеру чередований нисколько не отличаются от глаголов с трехэлементным корнем: *edō—ēdī*, *ēmō—ēmī*, (*odium*)*—ōdī*, *agō—ēgī*. Все пять латинских гласных участвуют, таким образом, в вокалических альтернациях, различающих основу инфекта и основу перфекта: *e—ē*, *i—ī*, *u—ū*, *a—ē*, хотя может быть также *a—ā* (*scabō—scābī*). Итак, перфект с долгим гласным, неразрывно связанный со структурой открытого слога, возможен в латинском языке у глаголов с определенным фонемным составом корня, включающим не более трех элементов определенной последовательности — $(R)VT$ или $(F)VT$.

В отличие от этих глаголов, глаголы первой серии (перфект с редупликацией) допускают больше вариаций в структуре корня, поскольку в исходе его возможны и простые согласные (*cad-ō*), и двойные (*curr-ō*, *fall-ō*) и группы согласных (*tend-ō*, *morde-ō*), и нуль согласного (*dō*, *stō*) по схеме *TV*, *TVC*, *TVCC*. Из этих структур наименее устойчивой была

---

[8] Единственное исключение — *frangō*. Глагол *scabō*, который отличается также характером вокалического чередования, будет разобран отдельно.

[9] *R* — сонант, *V* — гласный, *T* — смычный, *N* — носовой, *F* — спирант.

[10] И. М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка, М., 1960, стр. 90; M. Leumann, Lateinische Laut- und Formenlehre, München, 1963; стр. 394; A. Götze, Relative Chronologie von Lauterscheinungen im Italischen, IF, 41, 1, 1923, стр. 110; H. Rix, Die lateinische Synkope als historisches und phonologisches Problem, «Kratylos», XI, 1966, стр. 157.

[11] O. Szemerényi, Syncope in Greek and Indo-European and the nature of Indo-European accent, Naples, 1964, стр. 260.

последовательность *TVCC*, поскольку в архаической латыни глагольные корни с исходом *-rc-*, *-rd-* образуют, наряду с формами редуплицированного перфекта, также сигматический перфект с явным преобладанием последнего [12]: *parcō—pepercī* и *parsī* (у Плавта встречается только *parsī*), *mordeō—momordī* и *praemorsisse*.

Но при разнообразии конечных элементов начальные элементы корня структурно одинаковы у всех глаголов серии: это простой, преимущественно глухой смычный и этимологически краткий гласный. Большинство глаголов сохранило краткость корневого гласного, и лишь два глагола утратили ее: *caedō* < **caid-* и *pēdō* < **pezd-* [13]. В этой характеристике начала глагольного корня особую значимость имеет краткость корневого гласного, восходящая к нулевой ступени огласовки индоевропейского корня [14], начальный же глухой смычный лишь позиционно поддерживает эту краткость аналогично тому, как у глаголов второй серии позиционная сверхкраткость корневого гласного связана с сонантическим анлаутом. Эта краткость корневого гласного, характеризующая глаголы обеих серий, была причиной появления у некоторых глаголов с трехэлементной структурой корня типа *TVT* или *FVT* дублетных форм: *pangō—pepigī* и *pēgī*, *faciō—fēcī* и *fhefhaked*. Вполне возможно, что эти дублирующие друг друга образования перфекта имели разнодиалектное происхождение. Во всяком случае известно, что *fēcī* и *fhefhaked* относились к двум различным диалектам древнего Лация: римскому, где с древнейшего времени встречается в надписях *feced* (ср. надпись «Дуэноса», CIL I^2, 4) и пренестинскому, где в употреблении был редуплицированный перфект [15]. Но и внутри римского диалекта есть глаголы, которые могут рассматриваться как пограничные между глаголами двух серий: это глагол *scabō*, имеющий анлаут, характерный для глаголов первой серии, но образующий перфект удлинением корневого гласного *scābī*, и *capiō—cēpī* с более обычной для латинского глагола вокалической альтернацией *a—ē*. Все эти случаи указывают на близость корневых типов латинского перфекта, основанную на структурном сходстве корней, и прежде всего на краткости корневого вокализма глаголов обеих серий. Но сходясь в одних признаках, глаголы обеих серий расходятся в других: 1) в качестве согласного в анлауте — сонантического (или фрикативного) в одном случае и смычного в другом; 2) в допускаемом числе элементов корня [имеется в виду двух- или трехэлементная структура по схеме *(R)VT* или *(F)VT* у глаголов одной серии и трех- или четырехэлементная по схеме *TVC(C)* у глаголов другой серии]. Поскольку максимум информации заложен в начале латинского слова, то разделение глаголов на две серии по типу образования перфекта оказалось связанным с качеством начального элемента глагольного корня.

Важно отметить, что в других италийских языках глаголы с корневым перфектом имеют те же структурные признаки корня, что и латинские глаголы. Редуплицированный перфект образуют глаголы с кратким корневым вокализмом, имеющие в анлауте простой смычный или спирант. Часть их параллельна латинским глаголам с редуплицированным перфектом: оск. *deded* «dedit» и умбр. *dirsust* [16] < **dedust* «dederit» имеют ту же основу, что лат. *dedī*; оск. *fefacid* «fēcerit» соответствует пренестинскому

[12] F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und-Formenlehre, стр. 613.

[13] A. Walde — J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, I, 1965, стр. 129; II, 1965, стр. 273.

[14] F. Bader, указ. соч., стр. 175. Ср. тохарский A, где только те глаголы образуют редуплицированный претерит, которые содержат в корне краткий гласный закрытого тембра *ă*, *i*, *u*. См.: W. Krause, W. Thomas, указ. соч., стр. 244.

[15] W. Schmid, Zur Goldfibel von Praeneste, IF, 70, 2, 1965, стр. 204—205.

[16] В умбрском интервокальное *-d-* переходило в спирантизованное *-rs-*.

fhefhaked; умбр. *pepurkurent* «poposcerint» содержит тот же корень, что лат. *poscō* $<$ **pr̥(k)-skō*, *poposcī* [17], но сохраняет более древнюю форму основы без презентного суффикса *-sk-*; фал. *pe:para*[*i*] «peperī» соответствует лат. *peperī*, но без ослабления корневого *a* в *e*. Некоторые перфектные основы с редупликацией, представленные в италийских языках, не имеют параллельных образований в латинском языке: умбр. *fefure* «fuerint» образовано от того же корня, что лат. *fuī*; умбр. *dersicust* $<$ **dedicust* «dixerit» дает хороший пример того, что редупликация в перфекте возможна лишь при кратком корневом вокализме, которым в данном случае отличается основа умбрского перфекта от основы презенса, ср. умбр. *deitu* «dīcitō», оск. *deikum* «dīcere», лат. *dīcō*. Фал. *fifiked* «finxit» и оск. *fifikus* «finxeris» образованы от того же корня, что лат. *fingō* [18]. Умбр. *peperscust* «posuerit» (ср. императив *perstu* «positō») не имеет ясной этимологии, хотя сопоставление с лат. *compescō* «сдерживаю» и *parcō* «удерживаю» возможно [19].

Перфект с долгим корневым гласным представлен в италийских языках очень немногими формами. Все они имеют ту же структуру корня *(F)VT*, что и латинские глаголы: оск. *hipid* $<$ **hēpid* [20] «habuerit» (перфект конъюнктива) и *hipust* «habuerit» (перфективное будущее) с долгим корневым *ē* соотносятся с основой презенса, имеющей краткое *a*, ср. умбр. *habe* «habet», так же, как лат. *cēpī* — *capiō*. Аналогичная основа перфекта с долгим *ē* сохранилась, по всей вероятности, и в умбр. *cehefi* «con-ceptus sit» [21] от варианта того же корня *haf-*, представленного также в оск. *hafie*⟨*i*⟩*st* «habēbit», *haf* [*iar*] «habeātur». Такое же соотношение основ презенса и перфекта (*a* : *ē*) обнаруживается при сопоставлении лат. *sapiō* с оск. *sipus* $<$ **sēpu̯os* «sciens» и вольск. *sepu* «sciente», причастий (или отглагольных прилагательных), образованных от перфектной основы *sip-* $<$ **sēp-* [22]. Умбр. *prusikurent* «pronuntiāverint» имеет основу перфекта с долгим гласным *ē* (в умбр. *ē* $>$ *i*) от корня *sek*^{w}- «говорить», сохранившегося в лат. арх. *īnsece* «скажи» = греч. ἔννεπε [23]. Соотношение презентной основы *sec-* с перфектной основой *sēc-* такое же, как в лат. *legō*—*lēgī*, *veniō*—*vēnī*. Наконец, перфектная основа **ōps-*, образованная удлинением корневого гласного *ŏ*, представлена оск. *uupsens* «fēcērunt», основа презенса с кратким *o*—**opsā-* — дана в оск. *upsannam* «faciendam».

Таким образом, италийским и латинским глаголам, имеющим корневой перфект, свойственны одни и те же признаки: краткий корневой вокализм, определенный тип аплаута для глаголов каждой серии, преимущественно трехчленная структура корня *CVC* с возможной вариацией у глаголов с редуплицированным перфектом до четырехчленной *CVCC*. Совпадают италийские языки и в характере вокалических альтернаций, различающих основы презенса и перфекта, с тем лишь отличием, что в латинском языке в вокалических альтернациях участвуют все пять гласных, в оскско-умбрском же только три: *e*—*ē*, *o*—*ō*, *a*—*ē* ($>$ *i*). Что представляют собой эти альтернации? Можно ли рассматривать их как единый

[17] A. Walde — J. B. Hofmann, II, стр. 346; R. v. Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, Strassburg, 1893, стр. 328, 332.

[18] A. Walde — J. B. Hofmann, I, стр. 501; E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, 1953, стр. 282.

[19] A. Walde — J. B. Hofmann, I, стр. 256; R. v. Planta, указ. соч., стр. 261.

[20] В оскском языке долгое закрытое *ē* обозначалось с помощью *i*. C. D. Buck, A grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 1904, стр. 171; A. Walde—J. B. Hofmann, I, стр. 630.

[21] E. Vetter, указ. соч., стр. 237.

[22] A. Walde—J. B. Hofmann, II, стр. 477; R. v. Planta, указ. соч., стр. 336, 395.

[23] A. Walde—J. B. Hofmann, I, стр. 702; C. D. Buck, указ. соч., стр. 171.

ряд парных корреляций, где члены каждой пары одинаково соотносятся между собой? Чередования *e—ē*, *o—ō*, *a—ā* (*legō —lēgī*, *īnsece—* умбр. *prusikurent*, *fodıō—fōdī*, оск. *upsannam—uupsens*, *scabō—scābī*), бесспорно, являются количественными чередованиями, где полной ступени огласовки в основе презенса соответствует ступень удлинения в основе перфекта.

Чередование *a—ē* более спорное, так как оно имеет, согласно традиционному объяснению, различное происхождение в двух группах глаголов. Одну группу составляют глаголы *agō—ēgī*, **apiō—co-ēpī*, *capiō—cēpī*, умбр. *habe* — оск. *hipid*, *sapiō* — оск. *sipus*, которые имеют древний корневой вокализм *a* и образуют основу перфекта фономорфологическим чередованием *a* с *ē*, т. е. чередованием полной ступени огласовки и ступени удлинения с одновременным изменением тембра [24]. Другая группа состоит из двух глаголов: *faciō—fēcī* и *iaciō—iēcī*, где альтернация *a—ē* рассматривается большинством лингвистов как чередование нулевой ступени и полной. Основанием для этого служит сходство латинских перфектных форм *fēcī* и *iēcī* с греческими формами атематического аориста ἔθηκα (презенс τί-θη-μι) и ἧκα (презенс ἱ-η-μι) и выделение в латинских глаголах корней **dhē-* и ** i̯ē-*[25]. Но если принять во внимание, что глагольные и именные образования (ср. *artifex*, *artificium*), засвидетельствованные в италийских языках, позволяют вычленять только корни **fak-*, **fēk-* и **i̯ak-*, **i̯ek-*[26], что форма индоевропейского корня **dhak-*, включающая *-k-*, зафиксирована и в других древних индоевропейских языках (ср. фриг. *aδ-δakετ* «afficit», медиальная форма αδ-δακετορ, греч. θήκη «хранилище», др.-инд. *dhākáḥ* «хранилище») [27] и может быть отнесена поэтому к общеиндоевропейскому [28], то постулировать корни **dhē-* и **iē-* для латинских глаголов *faciō* и *iaciō* неоправданно. Наличие же корней **fak-*, **fēk-* и **i̯ak-*, *i̯ēk-* позволяет включить глаголы *faciō* и *iaciō* в группу глаголов *agō*, **apiō*, *capiō* с древним *a* в корне.

Таким образом, италийским глаголам с корневым вокализмом *e*, *o*, *a* и определенным фонологическим строением корня *(F)VT* или *(R)VT* свойственны количественные чередования корневых гласных, где противопоставление полной и удлиненной ступеней служит средством, различающим основы презенса и перфекта.

В отличие от альтернаций *e—ē*, *o—ō*, *a—ē*, чередование *i—ī*, *u—ū* представлено только в латинском языке, что безусловно затрудняет выяснение его природы. Можно предпологать, что, поскольку все виды вокалической альтернации наблюдаются в корнях совершенно одинаковой структуры *(R)VT* или *(F)VT* и выполняют одну и ту же морфологическую функцию, то и соотношение ступеней чередования у них одинаковое, т. е. в парах *i—ī*, *u—ū* противопоставлены полная и удлиненная ступени, как и в *e—ē*, *o—ō*, *a—ē*, назависимо от того, соответствует ли лат. *i*, *u* индоевропейской нулевой ступени чередования или нет.

В латинском языке сохранились следы древней связи корневых образований перфекта с акцентуационной дифференциацией. В формах перфекта со ступенью удлинения гласного акцент выделял этот долгий

---

[24] A. Walde — J. B. Hofmann, I, стр. 57; I, стр. 159; I, стр. 630; II, стр. 477.

[25] M. Leumann, указ. соч., стр. 332; E. Benveniste, указ. соч., стр. 18; C. Watkins, указ. соч., стр. 154.

[26] См.: C. D. Buck, указ. соч., стр. 168; W. P. Schmid, указ. соч., стр. 204, 208; стр. также: A. A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine, Paris, 1933, стр. 69.

[27] A. Walde — J. B. Hofmann, I, стр. 440.

[28] Ср.: C. Watkins, Indo-European origins of Celtic verb, Dublin, 1962, стр. 76, где сравнивается аналогичный процесс сращения корня с расширением *-k-* в хеттском и латинском: **ses-* «спать»→**sesk-*(хетт. *šeškıya-*) и **dhə-* «делать»,→**dhək-*(пренест. *fhefhaked*).

гласный, переходя в некоторых формах по закону предпоследнего слога на окончание: *vĭdī*, *vīdĭsti*, *vĭdit*. В редуплицированном же перфекте акцентом отмечался слог редупликации, ибо только так можно объяснить ослабление кратких гласных в корневом слоге, как в открытом (*cádō—cécidī*, *cánō—cécinī*, *páriō—péperī*), так и в закрытом (*párcō—pépercī*, *fállō—féfellī*, *cáedō—cécīdī*). Такой тип акцентуации, при котором выделялся начальный слог удвоения, вопреки принятому в классической латыни закону предпоследнего слога, следует рассматривать как акцентуацию энклизы и относить ее ко времени архаического латинского языка. Для этого есть следующие основания. В древнейшем памятнике латинской письменности, надписи VII в. до н.э. из Пренесте, слог редупликации отделяется от глагола интерпункцией, которая употреблялась в архаической орфографии для разделения слов: MANIOS : MED : FHE : : FHAKED : NUMASIOI «Маний меня сделал для Нумерия». Отделение редупликанта *fhe-* от глагола *fhaked* свидетельствует о том, что в формальном отношении редупликант приравнивался к самостоятельному слову. Аналогичное написание *pe* : *para⟨i⟩* встречается в древнейшей фалисской надписи VI в. до н. э. На это же положение редупликанта как самостоятельного слова, еще сохранявшееся в архаической латыни, указывает фонетическая трактовка внутреннего *-f-* в перфектной форме *fefellī*. Известно, что индоевропейские придыхательные имели различное отражение в начале и середине латинского слова: *f-* в начале слова и звонкие *b*, *d*, *g*, *v* в средних слогах [29]. Перфектная форма *fefellī* вместо фонетически правильной **febellī* свидетельствует о том, что в архаической латыни эта форма представляла собой сочетание двух самостоятельных в формальном отношении слов *fe* : *fellī* с закономерным *f-* в начале каждого слова. Двучленная структура формы *fefellī* позволяет сравнивать ее с глагольными композитами, как *cōnficiō*, *referō*, которые также восходят к синтагмам, ср. в архаической латыни *sub vos placō* или *ob vos sacrō* вместо нормальной для классической латыни последовательности *supplicō vobis* и *obsecrō vos* [30].

Итак, редупликант, аналогично превербу, имел в архаической латыни статус отдельного слова, формально вполне самостоятельного, в плане же содержания имеющего синсемантическую функцию экспрессивного характера [31]. Соединение обоих слов, редупликанта и глагола, в одно фонетическое слово достигалось благодаря единому акценту, обеспечивавшему синтагматическую спайку членов группы. Ослабление гласных в срединных слогах показывает, что акцентом выделялся редупликант, и к нему, как энклитика, присоединялся глагол [32]. Самым надежным свидетельством того, что в сочетании с редупликантом глагол занимал энклитическое положение, является определенная структура глагольного корня. Краткий вокализм, поддержанный простым смычным в анлауте, преимущественно трехчленная структура корня, тенденция избегать в исходе корня сочетаний плавного со смычным, придававших тяжесть корневому слогу (поэтому употребление в архаической латыни сигмати-

[29] M. Leumann, указ. соч., стр. 135.

[30] A. Meillet, De l'accentuation des preverbes, IF, 21, 1907, стр. 344; I. Kuryłowicz, Indogermanische Grammatik, II, Heidelberg, 1968, стр. 70.

[31] W. Belardi, La formazione del preterito nell' indoeuropeo. «Ricerche linguistiche», I, 1, 1950, стр. 96.

[32] В научной литературе это явление объясняется обычно как результат динамического начального ударения (немецкая школа) или особой интенсивности, с которой произносился начальный слог (французская школа). См.: И. М. Тронский, указ. соч., стр. 64—68; F. Sommer, Kritische Erläuterungen zur lateinischen Laut- und-Formenlehre, Heidelberg, 1914, стр. 25—31; A. Meillet, J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris, 1948, стр. 127.

ческого перфекта *parsī*, а не *pepercī*) — все это становится понятным, если признать энклизу глагола. Несмотря на то, что об энклизе в латинском языке известно мало, так как в латинской письменности акцентуация никогда не отмечалась, и наши знания об энклизе основаны только на сообщениях античных грамматиков [33], все же примеры, приводимые ими, показывают, что длина энклитической группы была ограничена, что число слогов энклитики обычно не превышало двух, причем, что особенно важно, первый слог энклитического слова содержал, как правило, краткий гласный. Например, *maléfĭdă*, *huiúsmŏdī*, *propédĭĕm*, *quómŏdŏ*, *quílĭbĕt*, *déĭndĕ*, *próĭndĕ*, *alíquănd*ō, *néquănd*ō, *siquănd*ō, *ádfăbrĕ*, *trígĭntā* [34]. Очевидно, энклитическим группам был присущ определенный ритм, одним из законов которого было требование краткого гласного в слоге, следующем за ударным. Редуплицированный перфект, в котором структура глагольного корня предусматривает обязательную краткость корневого гласного, полностью подчиняется этому ритмическому порядку. Итак, рассмотрение латинского редуплицированного перфекта как двучленной синтагматической структуры в акцентуационном отношении организованной как энклитическая группа с акцентом на редупликанте, позволяет объяснить, почему краткость вокализма была релевантна для глаголов этой серии и почему вообще число глаголов, образующих в латинском языке редуплицированный перфект, было невелико. Сам факт согласованности акцентуации и ступени огласовки глагольного корня свидетельствует о том, что в латинском редуплицированном перфекте сохранился очень древний тип индоевропейского перфекта, значительно полнее отражающий особенности древнейшего индоевропейского образования форм, чем греческий перфект.

В заключение можно сказать, что оба типа латинского корневого перфекта, с редупликацией и со ступенью удлинения корневого гласного, различаясь в акцентуации, в характере анлаута глагольного корня и в ограничениях, касающихся исхода корня, в то же время имели общим основной необходимый признак — краткость корневого вокализма. Редупликация и удлинение корневого гласного выступают как параллельные средства образования перфектной основы, с той лишь разницей, что у глаголов, имеющих перфект с удлинением, возможности вариации структуры корня еще более ограничены, чем у глаголов, имеющих редуплицированный перфект.

---

[33] N. O. Nilsson, Enclitica nach zwei kurzen Silben im Latein, «Eranos», 3—4, 1954; H. Drexler, Plautinische Beobachtungen zum lateinischen Akzent, «Glotta», 13, 1924, стр. 57; Б. Б. Ходорковская, Античные грамматики об энклизе в латинском языке, «Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae», 19, 3—4, 1971.

[34] F. Schoell, De accentu linguae latinae veterum grammaticorum testimonia, Lipsiae 1876.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Л. Н. МАКАРОВА

К ИСТОРИИ АФФРИКАТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(По материалам кировских говоров)

Проблема аффрикат связана с выяснением вопросов вариантов неразличения аффрикат, «равноправности» и «неравноправности», в смысле генетическом, данных вариантов (чоканье, цоканье, «беспорядочное» употребление двух аффикат, шепелявость, утрата затвора), отражения цоканья в памятниках письменности и, наконец, времени и причин возникновения диалектных разновидностей употребления аффрикат.

Изучение проблемы началось с установления того, как отражается неразличение аффрикат в памятниках письменности, для которых оно было отличительной особенностью и служило критерием определения территориальной принадлежности памятника.

По вопросу о генезисе цоканья в русских говорах и сходных с ним явлениях в других славянских языках имеются в основном две точки зрения, отличающиеся у различных ученых лишь в деталях,— это теория субстратного происхождения этих явлений [1] и теория самобытного, собственно славянского характера их происхождения [2] в результате фоне-

[1] И. А. Бодуэн де Куртенэ, О смешанном характере всех языков, ЖМНП, 1901, сентябрь, стр. 20; В. И. Чернышев, Как произошла мена *ц* и *ч* в русских говорах? РФВ, 1902, 2, стр. 117—118; А. И. Соболевский, Важная особенность старого псковского говора, РФВ, 1909, 3—4; А. А. Шахматов, Древние ляшские поселения в России, «Славянство», 4—6, 1911, Июль—сентябрь, 1911; его же, К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры, РФВ, 1913, XIX, 1, стр. 4, 10; его же, Очерк древнейшего периода истории русского языка, «Энциклопедия славянской филологии», Пг., 1915, стр. 318—319; его же, [рец. на кн.:] Д. К. Зеленин, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением согласных..., ИОРЯС, XX, 3, 1915, стр. 357; M. Małecki, Cakawizm z uwzględnieniem zjawisk podobnych, Kraków, 1929; J. Rozwadowski, Kilka uwag do przedhistorycznych stosunków wschodniej Europy, praojczyzny indoeuropejskiej na podstawie nazw wód, «Rocznik slawistyczny», VI, 1913; А. М. Селищев, Соканье и шоканье в славянских языках, «Slavia», X, 4, 1931; его же, Диалектологический очерк Сибири, 1, Иркутск, 1921, стр. 49—73, 187—221, 292—293; П. С. Кузнецов, К исторической фонетике ростово-суздальских говоров, «Докл. и сообщ. Ин-та русского языка», 2, 1948, стр. 152; В. И. Лыткин, [рец. на кн.:] В. Г. Орлова, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров, ИАН ОЛЯ, 1961, 1, стр. 86; W. Veenker, Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache, Bloomington, 1967, стр. 62—68, 158.

[2] М. А. Колосов, Заметки о языке и народной поэзии в области северновеликорусского наречия, Приложение к XXVIII т. «Зап. Акад. наук», 1876, 4, стр. 18—19; Е. Ф. Будде, К истории великорусских наречий; его же, Ответ академику А. А. Шахматову и разбор его последнего мнения об образовании русских наречий, ЖМНП, CCCXXV, 1899, сентябрь, стр. 177; П. А. Расторгуев, К вопросу о ляшских чертах в белорусской фонетике, «Труды постоянной комиссии по диалектологии русского языка», 9, Л., 1927, стр. 10; М. Волк-Левановича, Еще к вопросу о «ляшских» чертах в белорусской фонетике, «Slavia», IX, 3, 1930, стр. 500—523; Д. К. Зеленин, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненёбных согласных..., Спб., 1913, стр. 107, 140—141, 143—146; 207, 219, 221, 282 (главный вывод сформулирован на стр. 221); его же, О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», 1954, стр. 74—75, 93—94; В. Г. Орлова, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров, М., 1959, стр. 118—140.

тических изменений спонтанного характера. Существуют расхождения и по вопросу о том, является ли цоканье изолированным фонетическим явлением или его следует рассматривать как генетически единый процесс в изменении всего ряда свистящих и шипящих.

По мнению Р. И. Аванесова, «цоканье не может считаться специфической особенностью того или иного племенного восточнославянского диалекта,... оно образовалось на путях скрещивания с русским языком иноязычных финских племен, однако, по внутренним законам русского языка» [3]. Ему принадлежит первая фонологическая интерпретация специфического положения аффрикат *ч* и *ц*: являясь комбинаторным вариантами фонемы /к/, *ц* и *ч* «не употреблялись в тождественных фонетико-морфологических условиях», и «различение *ч* и *ц* было лишено, таким образом, семасиологической нагрузки», а потому они оказались «слабым звеном в фонетической системе славянских языков». «Предпосылки для появления цоканья были во всех славянских говорах — и в частности, у восточных славян. Но эти предпосылки реализовались лишь при наличии благоприятных условий смешения с языком (диалектом), знающим одну аффрикату» [4].

Возникновение различных типов неразличения аффрикат, реализации их в различных звуковых вариантах в русских говорах — сложный и длительный фонетический и фонологический процесс, наблюдающийся на протяжении всего исторического периода развития русского языка и не завершенный в настоящее время. При изучении причин и механизмов фонетических изменений целесообразно в первую очередь обратиться к факторам, действующим внутри языковой структуры, и прежде всего к фонологической системе древнерусского языка начала исторического периода его развития.

В фонологической системе древнерусского языка X—XI вв., рассматриваемой без учета диалектных особенностей (точнее, диалектных фонологических систем), в пучке /к/ : /ч'/ : /ц'/ аффрикаты *ч'* и *ц'* не составляли пары по корреляции палатализации, по корреляции звонкости и по назальной корреляции. Глухость, палатальность, иначе говоря, нейтральность по признаку диезности, неназальность *ц'* и *ч'* были их конститутивными нерелевантными, интегральными признаками. Фонемы, не включенные в коррелятивную систему, обычно подвержены изменениям. Из шести конститутивных признаков древнерусских согласных фонем в оппозиции /ч'/ : /ц'/ лишь один был релевантным — по пассивному артикуляторному органу: /ч'/ — нёбная, /ц'/ — зубная. Таким образом, это были фонемы «слабые» со стороны их перцептивной функции.

Оппозиции /ч'/ : /ц'/ внутри корневых морфем фактически не было: /ч'/ выступала перед *е*, *у*, *и*, *е*, *а*, *ь*, а/ц'/ только перед *ь*. Теоретически возможная позиция /ц'/ перед *и* внутри корневых морфем отсутствовала. В. В. Иванов приводит следующие примеры оппозиции /ч/ : /ц/ внутри корневых морфем: форма *чѣмь*, заменившая *чимь*, заимствованные *цѧта* и *цьркы* с производными и *царь* [5]. При этом время возникновения *чѣмь* неизвестно, а самое раннее употребление слова *царь* и производных от него относится к XIII в. (1267 г.); *цѧта* и *цьркы* [6] связаны с лексикой определенного тематического цикла. Эти три слова, вероятно, отсутствовали в живых русских говорах X—XI вв., в особенности в окраинном новго-

[3] Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров, ИАН ОЛЯ, 1952, 2, стр. 169—170.

[4] Р. И. Аванесов, Очерки диалектологии рязанской мещеры, «Материалы и исследования по русской диалектологии», I, М. — Л., 1949, стр. 227—228.

[5] В. В. Иванов, Историческая фонология..., стр. 160, 163—165.

[6] Не исключено *чьркы*, ср. болг. *черква* и *църква*.

родском диалекте. Поэтому можно полагать, что /ч'/ и /ц'/ внутри корневых морфем, несущих основную смыслоразличительную функцию в языке, были взаимоисключающими звуками. По формуле В. К. Журавлева $F = n\frac{D}{N}$, при отсутствии хотя бы одной позиции дифференциации (при $D = \phi$) фонологическая оппозиция отсутствует [7].

Оппозиции /ч'/ : /ц'/ перед *а*, *у*, *е*, *и*, *ь* реализовались на стыке морфем. Итак, оппозиция /ч'/ : /ц'/ характеризуется отсутствием «функциональной нагрузки», определяемой по наличию слов, различаемых данным противоположением.

Для праславянского языка позиции дифференциации для пучка /к/ : /č/ : /c/ были неодинаковыми до и после бодуэновской палатализации. На синхронном срезе между второй и третьей палатализациями /č/ и /c/ противопоставлялись в одной позиции — перед *i*, т. е. сила фонологической оппозиции была минимальной, а после бодуэновской палатализации оппозиция /č/ : /c/ стала характеризоваться семью позициями дифференциации и семью позициями нейтрализации [8]. После «третьей» палатализации в фонологической системе южнославянской изоглоссной области противоположение фонем /č/ : /c/ реализовалось достаточно четко.

Эти фонологические отношения, вероятно, не распространялись на фонологическую систему некоторой части восточнославянских говоров дописьменного и раннего исторического периода. Фонетические изменения могут протекать неодновременно на территории всей языковой области. На периферии изоглоссной области они могут происходить позднее. Вторую палатализацию заднеязычных, давшую у славян аффрикату *ц'*, Ф. П. Филин относит к III—IV вв. н. э., а изменение *kv*, *gv* в *cv*, *zv* к V—VI вв. [9]. Не исключено, что хронология для окраинных восточнославянских говоров окажется несколько более поздней. Основание для такого предположения дают факты непоследовательного отражения результатов второй палатализации в северо-западных говорах, засвидетельствованные в древнейших памятниках письменности в собственных именах и в местной лексике [10].

По-видимому, в части северо-западных говоров восточных славян к началу письменности в разных формах парадигмы единая фонема /к/ расщепилась на две вариации: *к* и *к'*. Более позднее время действия второй палатализации заднеязычных на северо-западе восточнославянской языковой области по сравнению с другими изоглоссными славянскими областями привело к ограниченному употреблению *ц'*; в местной лексике, по-видимому, эта аффриката отсутствовала.

Взаимодействие с другими восточнославянскими говорами и усвоение лексики с аффрикатой *ц'* изменило отношения в фонологической системе. Малоупотребительный в северо-западном диалекте аллофон *ц'*, близкий по артикуляторно-акустическим признакам к аффрикате *ч'*, вследствие неизбежных в речи артикуляторных отклонений мог отождествиться

---

[7] В. К. Журавлев, К понятию «силы» фонологической оппозиции, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского», М., 1971, стр. 118.

[8] Там же, стр. 119.

[9] Ф. П. Филин, Образование языка восточных славян, М.— Л., 1969, стр. 166.

[10] Г. П. Мягченкова, О второй палатализации заднеязычных согласных в формах склонения в новгородской и псковской письменности, «Тезисы докладов научной конференции Новгородского пединститута», 1965, стр. 47—48; С. М. Глускина, О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров), сб. «Псковские говоры», II, Псков, 1968, стр. 23.

с нею, что обусловило неразличение *ч'* и *ц'* в данных говорах. При сложившейся системе потенциально можно было бы ожидать различные варианты неразличения *ч'* и *ц'*: чоканье и цоканье и совпадение их в промежуточном звуке. Так как противопоставление *ч'*: *ц'* не имело функциональной нагрузки, то употребление той или иной аффрикаты было вопросом «нормы» и было безразличным для состояния фонологической системы. Но можно полагать, что первоначальным типом неразличения аффрикат было чоканье: моторные ощущения нового звука *ц'* еще не закрепились, что облегчало субституцию звуков. Бодуэновская палатализация, резко усиливая оппозицию /č/ : /c/, содействовала упрочению в фонологической системе аффрикаты *ц'*. Но на севере изоглоссной области восточных славян, вероятно, она, как и вторая палатализация, не осуществилась последовательно, о чем свидетельствует наличие диалектных дублетных суффиксов, употребляемых, например, в наименовании ягод: *брусника — брусница* (*бруснича*), *черника — черница* (*чернича*), *голубика — голубица* (*голубича*) [11].

Исходя из развития фонологической системы, мы можем сказать, что до второй половины XIII в. вероятность закрепления *ч* и *ц* в севернорусских говорах была одинакова, быть может, несколько увеличиваясь в пользу *ч* как звука с более привычными артикуляциями. Отношения *ч* и *ц* к другим фонемам были одинаковы.

Такое предположение подтверждается данными памятников письменности. В. Л. Комарович указывает, что для Минеи 1096 г. характерно смешение *ч* и *ц* при отсутствии господства одного звука над другим [12]. На смешение *ч* и *ц* при преобладании *ч* в Минее 1095 г. обращает внимание М. И. Карнеева [13]. На обоюдную мену *ч* и *ц* в новгородских грамотах XIII—XIV вв. указывает А. А. Шахматов, при этом он называет памятники, в которых употребляется исключительно *ч* [14] (например, грамота № 13 «Наказ новгородским послам...» 1372 г.). В восьми двинских грамотах XV в. употребляется исключительно *ч*, а в девяти наблюдается безразличное смещение *ч* и *ц* [15]. Мы исследовали употребление *ч* и *ц* в новгородских и двинских грамотах (в издании А. А. Шахматова) по отношению к морфологической структуре слова и установили, что оно не морфологизировано: и *ч* и *ц* встречаются и в корне (при этом они могут быть употреблены в абсолютном начале слова), и в суффиксе.

Из позднейших исследователей В. В. Колесов отмечает «безразличное смешение *ц и ч*... В древнейших новгородских рукописях» (до XIII в.) и «даже преобладание *ч* над *ц*», «комбинаторное различение *ц/ч*» в одних рукописях XIII—XIV в. [16], мягкое цоканье — в других. В. В. Колесов

[11] Наименования *брусника*, *черника*, *ежевика*, *боровика* А. Будилович считает общеславянскими, употребляющимися в других славянских языках с суффиксом *ic* (А. Будилович, Первобытные славяне в их языке и быте и понятиях по данным лексикальным, ч. 1, Киев, 1878, стр. 100—101, 321—322). Ср. совр. русск. *брусника*, укр. *брусниця*, белорусск. *брусніца*, болг. *брусница* (корь), серб. *брусница*, чеш. *brusnice*, слов. *brusnica*, польск. *brusnica*.

[12] В. Л. Комарович, Язык Служебной Октябрьской Минеи 1096, ИОРЯС, XXX, 1925, стр. 36.

[13] М. И. Карнеева, Язык Служебной Минеи 1095, РФВ, LXXVI, 3, 1916, стр. 124.

[14] А. А. Шахматов, Исследование о языке новгородских грамот XIII—XIV вв., СПб., 1886, стр. 173—174.

[15] А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV века, «Исследования по русскому языку», II, 3, СПб., 1903, стр. 74, 80, 107, 110, 114.

[16] В. В. Колесов, К исторической фонетике новгородских говоров (по рукописям XI—XVI вв.). Автореф. канд. диссерт., Л., 1962, стр. 18—21; его же, О двух типах цоканья в древненовгородских говорах, «Сб. студенческих научных работ (эконом., истор., философск., юрид., филолог. и вост. факультетов)», Л., 1963, стр. 257—258.

делает вывод о наличии двух типов говоров по употреблению аффрикат: цокающие говоры самого Новгорода и к югу от Новгорода, говоры с позиционным чередованием *ч/ц* и чокающие на севере Новгородской земли, на Обонежье, а также севернее и восточнее Заонежья. При этом В. В. Колесов утверждает, что позиционное чередование *ч/ц* сформировалось в произношении, а не как орфографическая норма.

Итак, для древнейших новгородских памятников все исследователи отмечают безразличное смешение в употреблении *ч* и *ц* либо преобладание *ч*. После XIV в. при смешении *ч* и *ц* или преобладает *ц*, или наблюдается последовательное употребление *ц*, в двинских грамотах XV в. преобладает *ч*. В таком хронологическом (и территориальном) разграничении употребления аффрикат едва ли следует видеть лишь отражение грамотности писца [17]. При этом нельзя не заметить, что при утверждении того, что аффриката *ч* для новгородских говоров является «новой», фактически отрицается первая палатализация *к* и изменение *т* в сочетании с *j* для данных говоров.

После падения редуцированных, по-видимому, усилилась позиция *ц* в результате слияния фонем /т/ и /с/ на стыке морфем: *к* → *ц'*, *т* + *с* → *ц'*. Появление *ц* в новой позиции послужило импульсом для вытеснения аффрикаты *ч* в других позициях. Основанием для такого предположения служит факт начала утраты чоканья в котельничских чокающих говорах именно на стыке морфем в прилагательных, числительных и возвратных глаголах. При последовательном чоканье в указанной позиции произносится *ц*. Для дальнейшего развития фонологической системы севернорусских говоров реализация ч и ц в одинаковых условиях могла быть случайной, если при этом не вступают в действие другие факторы, влияющие на фонетические процессы внутри системы.

Таким фактором для говоров Северной Руси оказалась языковая среда. Влияли и факторы экстралингвистические: численная соотносительность славянского и неславянского населения, социальные и культурные связи, форма государственного устройства и т. д.

*

Исследованию цоканья в живых славянских говорах посвящены работы А. М. Селищева, С. А. Копорского, В. Г. Орловой и др. [18] Д. К. Зеленин дал описание типов неразличения аффрикат на различных территориях, пытаясь в каждом случае объяснить историю их возникновения [19].

Особое место среди перечисленных работ занимает исследование обобщающего характера — монография В. Г. Орловой «История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров». В результате всестороннего анализа богатого диалектного материала В. Г. Орлова пришла к выводу, согласно которому чоканье представляет

[17] В. Г. Орлова, История аффрикат..., стр. 8.

[18] А. М. Селищев, Соканье и шоканье в славянских языках, «Slavia», X, 4, 1931; С. А. Копорский, Цоканье в Калининской области, «Материалы и исследования по русской диалектологии», III, М.— Л., 1949; В. Г. Орлова, Цоканье в русских говорах, «Уч. зап. МГУ», 128, 1948; ее же, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров, М., 1959; Р. А. Юналеева, К вопросу об аффрикатах в русских говорах северо-восточной Башкирии, «Уч. зап. Казанск. ун-та», 117, 2, 1957.

[19] Д. К. Зеленин, Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию. Сб. ОРЯС, 76, 2, 1904; его же, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течением позднейшей великорусской колонизации, СПб., 1913; его же, О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», 6, 1954.

собой явление более позднее сравнительно с мягким цоканьем; оно возникло под влиянием нормализованного типа языка на почве борьбы с цоканьем в условиях слабого распространения грамотности [20].

Исследуя общую картину распространения аффрикат в русских говорах, В. Г. Орлова по необходимости рассматривала говоры Кировской области как района поздней славянской колонизации достаточно комплексно. А между тем говоры Кировской области неоднородны с точки зрения их генезиса. Основной очаг чокающих говоров северо-востока — говоры низовьев Моломы и бассейна среднего течения р. Вятки, а также говоры северо-востока области, так называемые верхнекамские или кайские; начало активного освоения этих земель русским населением относится к XIV—XVI вв. Заселение же окраинных районов происходило поздно. Еще в начале XVIII в. они не входили в состав Вятской земли, конечным пунктом которой на юге была слобода Кукарка (совр. г. Советск), а на севере — с. Порели (совр. Даровской р-н). Ново-Троицкий, Черновской, Шабалинский, Лальский, Подосиновский, Опаринский районы в административном отношении присоединены к Кировской области после второй Отечественной войны. Последние три района и северная часть Даровского заселялись преимущественно в начале XX в. из старейших уездов Вятской губ., в частности, из чокающего Орловского, цокающего Вятского, из Нолинского, из некоторых уездов Вологодской губернии и других губерний России. Кажущаяся бессистемность в употреблении аффрикат в говорах окраинных районов скорее говорит не о путях дальнейшего развития мягкого цоканья, не об отсутствии чисто чокающих говоров, а о смешении говоров с различными вариантами употребления аффрикат в пределах одной территории. По нашему мнению, данному факту должна быть дана не столько диахроническая, сколько ареальная интерпретация.

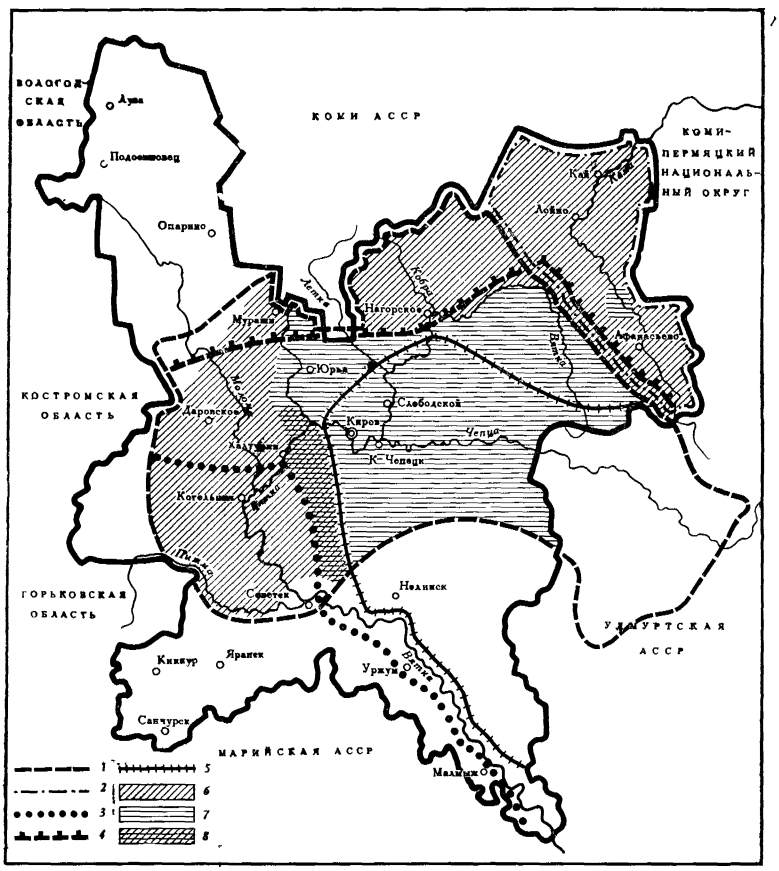
Для изучения истории русского языка коренные вятские говоры, т. е. говоры древней Вятской земли, представляют большой интерес, так как несмотря на относительно позднюю колонизацию славянами этого края они характеризуются сохранением многих архаичных черт, утраченных другими севернорусскими говорами или менее ярко выраженных в них. Специфика развития вятских говоров заключается в том, что Вятская земля как в географическом, так и в административном и культурном отношениях длительное время была изолирована от других областей русского государства и находилась в окружении неславянских соседей: с юга и юго-запада ее находились мари, с севера и северо-востока — коми, с востока — удмурты. Непосредственного и постоянного взаимодействия русских говоров Вятской земли с другими русскими говорами в прошлом не было. В пределах древней Вятской земли (б. Вятский, Орловский, Слободской уу., центральная часть Котельничского у.) по сравнению с другими областями русского государства миграция русского населения была незначительной. При недостатке школ, культурных учреждений, при очень низкой грамотности местного населения влияние литературного языка в дореволюционное время на местные говоры было ничтожным. Все это приводило как бы к некоторой «консервации» вятских говоров.

На территории современной Кировской области представлены все типы употребления аффрикат, выявленные В. Г. Орловой в Европейской части СССР в целом, т. е. говоры с двухаффрикатной системой, говоры с одноаффрикатной системой — чокающие, цокающие, с утратой затвора какой-либо одной из аффрикат.

Мы остановимся на характеристике аффрикат в говорах, распространенных в границах исторической Вятской земли (XIV—XVIII вв.), ко-

[20] В. Г. Орлова, История аффрикат..., стр. 43—44.

торые являются более архаичными и сохраняются в более «чистом» виде по сравнению с говорами районов позднего заселения. На территории исторической Вятской земли распространены говоры с одноаффрикатной системой — либо с мягким чоканьем, либо с мягким цоканьем; изоглоссы чоканья и цоканья почти совпадают с границами древней Вятской земли.



Карта. Аффрикаты на территории Кировской области: 1 — границы древней Вятской земли; 2 — границы Кайгородского уезда; 3— северная и восточная границы расселения мари; 4 — южная граница расселения коми; 5 — западная и северная граница расселения удмуртов; 6 — говоры с мягким чоканьем; 7 — говоры с мягким цоканьем; 8 — переходные говоры с неразличением аффрикат

На стыке тех и других, а также на стыке русских говоров с удмуртскими и пермяцкими наблюдаются переходные говоры с частым употреблением палатальной шепелявой аффрикаты.

Наибольший территориальный массив занимают чокающие говоры, все еще недостаточно изученные. Это говоры с одной палатальной шипящей аффрикатой *ч'* или с преобладающим употреблением *ч'* при факультативных *ц'* и палатальной шепелявой *ч'ч'*. Они сосредоточены в двух очагах, между которыми вклиниваются узкой полосой говоры с мягким цоканьем, — на западе, в бассейне среднего течения Вятки и ее притока Моломы (б. Котельничский и Орловский уу.) и в северо-восточном углу области: в верховьях Вятки и Камы (б. Кайгородский у.) и в бассейне Кобры (на

территории совр. Нагорского р-на); на юге изоглосса чоканья проходит по р. Пижме (см. карту). Первые условно назовем котельничскими, вторые — кайскими.

Основной очаг составляют котельничские чокающие говоры, отмеченные на территории 10 районов в 108 населенных пунктах; из них в 32 селениях отмечены чисто чокающие говоры, совсем не знающие аффрикаты *ц*. Кайские чокающие говоры изучены еще меньше, чем котельничские, они отличаются от последних наиболее частым употреблением палатальной шепелявой аффрикаты *ч'ч'*, чаще всего соответствующей этимологическому *ч*, и целым рядом других особенностей в системе консонантизма

Говоры с мягким цоканьем, т. е. имеющие одну палатальную *ц'*, или же с преобладанием палатальной *ц'* при наличии факультативных палатальных *ч'* и шепелявой *ц'ч'*, распространены в центральных и восточных районах области, преимущественно в бассейне р. Чепцы и ее притоков, а также в бассейне р. Летки.

Активная колонизация вятских земель славянским населением из Новгорода и новгородских колоний и из Ростово-Суздальского княжества, по мнению большинства историков, началась в XIV в. — не ранее 1374 г., что не исключает проникновения на эту территорию отдельных групп населения в XII и XIII вв. Колонизация Вятского края представляет собой очень сложный и длительный процесс, она продолжалась вплоть до начала XX в. Первоначально была заселена территория между Котельничем и Хлыновым на стыке трех этнических групп: Котельнич был марийским городом Кокшаровым, на месте Хлынова (позднее Вятки, совр. Кирова) была главная молитвенная куала удмуртских племен, на севере к ним примыкали древнепермские племена. В XIV—XV вв. (до 1489 г.) при наличии новгородской, по-видимому, преобладала колонизация из Нижегородско-Суздальского княжества. Связь нижегородцев и суздальцев с Вяткою обусловлена исторически и подтверждена документально [21]. После 1489 г., когда мятежная Вятка была покорена Москвой и ее феодально-торговая верхушка была «разведена» по различным областям Московского государства, в Вятские земли начинается новый приток русского населения — из Новгородского Заволочья, из Устюжских и Двинских земель, «надежных» для Московского князя в борьбе за создание централизованного государства. Русское население Вятской земли в XIV—XV вв. было незначительным. Впервые Вятка «з городы и волости» упоминается в грамоте Юрия Дмитриевича Галицкого, написанной около 1434 г. В состав Вятской земли вошли этнические группы будущих удмуртов и мари, составлявших большинство населения Вятской земли.

Русские говоры на Вятке, являющиеся по происхождению ростово-суздальскими, новгородскими и двинскими, складывались в результате внутрирегионального контактирования с местными финно-угорскими.

К о т е л ь н и ч с к и е ч о к а ю щ и е г о в о р ы. На территории распространения современных котельничских чокающих говоров ко времени прихода туда славян жили мари. В Ветлужско-Вятском междуречье мари оформились этнически в X—XI вв. [22]. В настоящее время на данной территории мари почти нет, но наличие их как исконных обитателей подтверждается данными топонимики. Так, И. Н. Смирнов указы-

[21] См. договорные грамоты галицких и суздальских княжей на владение Вяткою от 1428, 1434, 1440, 1446 гг. (в кн.: «Древние акты, относящиеся к истории Вятского края», Вятка, 1881).

[22] Г. А. А р х и п о в, Происхождение марийского народа по археологическим данным, в кн.: «Происхождение марийского народа. Материалы научной сессии Марийского НИИ языка, лит-ры и истории», Йошкар-Ола, 1967, стр. 40.

вает топонимы с марийскими формантами *мар* «люди», *нур* «поле», *ял* и *сола* «деревня», *дын* «устье», *тюр* «край», *сир* «берег», *мучаш* «вершина», *беляк* (пеляк) и др. на территории Орловского и Котельничского уу.[23]. При этом он сообщает, что в 60 селениях Котельничского у. с марийскими наименованиями марийцы не проживают. В исконно марийском крае, какими были Котельничский и Орловский уу., к первой всеобщей российской переписи 1897 г. в Котельничском у. было всего 610 человек мари при русском населении 271 753 чел., в Орловском у.—2 марийца на 205 тыс. русских. Распространенные на этой территории топонимы с формантами *-ангер*, *-инер*, *-енер*, *-дур*, *-тур*, *-нур*, *-ер* Б. А. Серебренников также относит к марийским [24]. На севере граница расселения мари доходила до линии Киров — Котельнич. В северных районах происходило взаимодействие древних мари с древнепермскими народами. Процесс разделения единой древнемарийской народности на диалектные группы был длительным и завершился к XV—XVI вв. Окраинное положение котельничско-орловских мари привело к отрыву их от основной массы марийского населения; в дальнейшем наступил быстрый процесс ассимиляции мари. Малочисленное русское население было также изолированным от славянского населения. Необходимость общения вызвала явление билингвизма: русские, живя в одном селении с мари, при преобладающем большинстве последних, старались подражать их произношению, марийцы же, переходя на русский язык, не усваивали его в полной мере, «подставляя» «в процессе перехода к этому языку свои привычные представления артикуляционных движений для производства звуков. В результате производятся звуки, не всегда тождественные со звуками другого языка, а лишь сходные в той или иной части образования» [25].

Тенденция к неразличению /ч/ и /ц/, обусловленная развитием фонологической системы севернорусских диалектов, нашла поддержку в древнемарийском языке. Здесь были две шипящие аффрикаты: какуминальная *ч* и палатальная *ч'*, восходящие к **ťš* и **ť'š'* финно-угорского языка-основы. Древние аффрикаты *ťš* и *ť'š'* сохраняются в современных марийских говорах восточного наречия и в части волжских говоров лугового наречия. Во многих говорах лугового наречия какуминальная *ťš* и палатальная *ť'š'* совпали в *ч'* палатальной, т. е. большинство марийских говоров являются чокающими. В горном наречии развилось частичное цоканье, а на территории Кировской области в яранском говоре возникло полное цоканье, которое формировалось постепенно, через мягкое чоканье. Развитие цоканья в марийских говорах произошло поздно: в горном наречии — около XVII в., а в йошкар-олинском и яранском говорах после XVIII в.[26].

Если считать временем существования единой древнемарийской народности период с X—XI вв. по XV—XVI вв., то нужно полагать, что первые славяне на территории марийской Вятки услышали чокающую древнемарийскую речь. Котельничские и орловские мари стали переходить к русскому языку, вероятно, еще на стадии существования древнемарийского языка. Они сохранили свои привычные шипящие

[23] И. Н. Смирнов, Черемисы, Казань, 1889, стр. 17—21, 70.

[24] Б. А. Серебренников, Происхождение марийского народа по данным языка, в кн.: «Происхождение марийского народа...», стр. 176—178.

[25] А. М. Селищев, Русский язык у инородцев Поволжья, «Slavia», IV, 1, 1925, стр. 27.

[26] Л. П. Грузов, Следы финно-угорских аффрикат в диалектах марийского языка, «Советское финно-угроведение», 1965, 4, стр. 245—252; его же, Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении, Йошкар-Ола, 1965, стр. 171—179; его же, Историческая грамматика марийского языка. Введение и фонетика. Йошкар-Ола, 1969, стр. 53—54, 68.

аффрикаты, которые позднее совпали в одной (палатальной). Употребление одной аффрикаты не противоречило норме древних севернорусских говоров.

Следы марийского происхождения аффрикаты *ч* отражаются в современных котельничских русских говорах. Отдельными наблюдателями отмечается, что в некоторых говорах *ч* произносится несколько мягче литературного и с ослабленным взрывным элементом [27]. Характеризуя *ч* в современных говорах лугового и восточного наречий марийского языка, Л. П. Грузов указывает, что палатальная *ч* в отличие от русского языка характеризуется краткостью и слабостью смычного элемента, а его щелевой (*ш*-образный) компонент имеет более сильный характер [28].

На основании сопоставления приведенных фактов вывод о происхождении котельничского чоканья на основе марийского субстрата, на наш взгляд, кажется вполне приемлемым. Но причины возникновения субстратного происхождения чоканья заключались в самой фонологической системе древнерусского языка.

Кайские чокающие говоры. Чокающие говоры на северо-востоке области, кайские, сформировались во взаимодействии с местными говорами коми, остатком которых является зюздинский диалект. В настоящее время коми-пермяки имеются только в Афанасьевском р-не, их нет в Нагорском и Верхнекамском р-нах. По данным переписи 1936 г. пермяцкое население не значится на всей указанной территории. Но есть все свидетельства тому, что исконными жителями края были коми-пермяки. О «лецких пермяках» по р. Кобре на территории совр. Нагорского р-на сообщается в «Книге писцовой Вятских городов и уездов князя Федора Андреевича Звенигородского и дьяка Михаила Ордынцева» 1615 г., русских же крестьян в бассейне р. Кобры в начале XVII в. не было. О наличии коми-пермяков в Кайском крае сообщают в своих этнографических работах И. Попов, П. Сорокин, Н. П. Штейнфельд и В. Н. Белицер. Подтверждается это данными археологических исследований и местной топонимики. Ранний топонимический пласт характеризуется пермяцкими «речными суффиксами» *-ва*, *-ыч* (*-ысь*), *-шор*, *-я*, пермяцкими суффиксами в наименовании селений *-ыб* (*-иб*), *-куш*, пермяцкими корнями [29].

Наиболее интенсивная колонизация Кайского края русскими происходила в XVI в. XVII в. и первая половина XVIII в. были временем расцвета в истории развития Кайгорода и Кайского края. Однако население и в этот период было настолько незначительным для такой большой территории, что ко второй половине XVIII в. не насчитывалось 30 тыс. населения, необходимых для учреждения уезда как административной единицы. Начиная с XVI в., судьбы коми-пермяцкого и русского населения Кайского края оказались тесно переплетенными. Широко были распространены браки между русскими и коми-пермяками. И в настоящее время некоторые из коми-пермяков затрудняются определить свою национальность и считают себя русскими. Зюздинские пермяки отличают себя от пермяков, живущих в Коми-пермяцком национальном округе. Многие пермяки пользуются только русским языком. Переходу на русский язык предшествовал безусловно билингвизм.

Коми-пермяцкие говоры унаследовали из общепермского языка четыре аффрикаты, составляющие две коррелятивные пары по звонкости —

[27] А. Г. Мильчакова-Ивакина, Описание говора д. Ивакино, д. Содом, д. Ерши Юмской области Котельнического уезда Вятской губернии, «Труды Вятского пед. ин-та», III, II, Вятка, 1928, стр. 46.

[28] Л. П. Грузов, Фонетика диалектов марийского языка..., стр. 178.

[29] Л. Н. Макарова, Некоторые особенности говоров северо-восточной части Кировской области (Кайского края), «Очерки по русскому языку», Киров, 1962, стр. 70—75.

альвеолярно-какуминальные *tš* : *dž*, передне-среднеязычные палатальные *t'š'* : *d'ž'*, и по палатальности — *tš'*: *t'š'* и *dž* : *d'ž'*. Глухой свистящей *ts* в общепермском языке не было [30]. Коми-пермяцкие *ч'* и *дз'* в отличие от русского *ч* и белорусского *дз* являются шепелявыми, имеют не свистящую, а шипящую окраску. Употребительность аффрикат была неодинаковой; наименее употребительными являются *тш*, *дж*, *дз* (меньше 1%), наиболее употребительной — *ч'* [31]. При переходе на русский язык коми-пермяки, как и мари, не усвоили отсутствующую в фонологической системе пермских говоров аффрикату *ц* и стали пользоваться своими привычными *тш* и *ч'*, тем более, что в русских говорах была склонность не различать *ч* и *ц* и пользоваться одной аффрикатой. Способствовала закреплению чоканья в кайских говорах свойственная коми-пермяцким говорам аффрикатизация *дч*, *тч* > *чч*, а также изменение *дз'ч'* > *ч'ч'* [32].

При заимствовании из русского языка севернорусские *ч'*, *ц'*, *ц'ч'* (шепелявый) в комийском языке передаются через *ч'* [33]. В отличие от котельничских чокающих говоров в кайских русских говорах аффриката *ч* чаще произносится шепеляво. Не является ли это сохранением комийской шепелявости?

В кайских говорах не только явление чоканья, но и другие фонетические особенности, не свойственные остальным кировским говорам, имеют субстратное происхождение: это отсутствие *ф* и наличие билабиального *w* в абсолютном конце слова и перед глухими согласными, отсутствие начального *в* перед следующим согласным, отсутствие *х*, ассимиляция йота предшествующему мягкому согласному, отсутствие йота перед начальным *е* [34].

В свою очередь, пермяцкие говоры испытали сильное влияние русских и значительно изменились. Зюздинский диалект имеет целый ряд своеобразных особенностей. В его словаре много заимствований из русского языка, встречаются фонемы, почти неизвестные в других диалектах коми, часто русские слова подвергаются в нем изменениям согласно законам коми-пермяцкого языка.

Говоры с мягким цоканьем. Территорию распространения говоров с мягким цоканьем издревле занимали удмурты. Центром удмуртских племен была территория современного областного центра г. Кирова. С приходом русских часть удмуртов из бассейна Вятки и с устьев Чепцы переселилась на свободные земли в бассейн среднего течения Чепцы, куда за ними позднее последовали и русские. Верховья Чепцы были освоены русскими в конце XIX и начале XX в.

Русские говоры Вятской земли на территории цокающей речевой области формировались во взаимодействии с удмуртскими. В современном удмуртском языке, как и в коми, четыре аффрикаты, составляющие те же коррелятивные пары: *ж* (*dž*) : *з* (*d'ž'*), *ӵ* (*tš*) : *ч* (*t'š'*), *ж* (*dž*) : *ӵ* (*tš*), *з* (*d'ž'*) : *ч* (*t'š'*). В нижнечепецких говорах удмуртского языка в Слободском и Зуевском районах Кировской области *з* и *ч* имеют зубное, а не альвеолярное произношение. Кроме того, в этих говорах на стыке морфем

[30] В. И. Лыткин, Древнепермский язык, М., 1952, стр. 95.

[31] «Коми-пермяцкий язык», Кудымкар, 1962, стр. 5—8, 71—72, 74. Кроме того, в большинстве диалектов коми начальное «твердое *ч* (*тш*) перешло в *ч'* *(В. И. Лыткин. Историческая грамматика коми-языка, Сыктывкар, 1957, стр. 116—117).

[32] В. И. Лыткин, Древнепермский язык, стр. 100; «Коми-пермяцкий язык», стр. 74.

[33] В. И. Лыткин, Фонетика северновеликорусских говоров и заимствования из русского языка в комийский, «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М.— Л., 1949, стр. 135—143; его же, Из истории некоторых русских слов, заимствованных финно-угорскими языками, «Уч. зап. Рязанск. пединститута», Кафедра русского языка, 1955, стр. 121, 125, 127.

[34] Л. Н. Макарова, указ. соч., стр. 70—92.

есть твердая разновидность *ӟ* [35], что ведет к появлению дополнительной оппозиции по палатальности *ӟ* : *з* и усиливает положение свистящих аффрикат в фонологической системе нижнечепецких говоров. Таким образом, русские цокающие говоры на Вятской земле в б. Вятском и Слободском уездах оказались в контактировании с удмуртскими говорами, имеющими свистящие аффрикаты, входящие в коррелятивные пары по звонкости и палатальности. Поэтому на данной территории мягкое цоканье в русских говорах, возможно, принесенное ими из двинских говоров в XV в., прочно закрепилось. Не исключено, что оно могло возникнуть и на месте под влиянием нижнечепецких говоров. В северной части Удмуртии, по соседству с русскими цокающими говорами, имеются современные удмуртские цокающие говоры в Ярском, Кулигинском, Кезском районах, а также в Слободском, Зуевском и Унинском районах Кировской области. При этом нужно отметить, что уже в конце XVIII в. в северноудмуртских говорах цоканье было устойчивой особенностью, о чем можно судить по рукописному словарю Захария Кротова, составленному на основе говора с. Елово Ярского района Удмуртии в 1785 г. [36]. Таким образом, русское мягкое цоканье в вятских говорах и удмуртское цоканье поддерживали друг друга. Северные удмурты, воспринимая русский язык от вятских цокающих соседей, усваивали его также в цокающем звучании. Например, ярские удмурты, говоря по-русски, цокают.

Итак, кировские (вятские) говоры, на наш взгляд, благодаря своей архаичности как бы в миниатюре и в более позднее время отражают тот фонетический и фонологический процесс в становлении одноаффрикатной и двухаффрикатной фонологических систем, который происходил и на других восточнославянских территориях.

Предпосылки неразличения аффрикат в русских говорах восходят, по-видимому, к дописьменному периоду развития русского языка (между 2 и 3-й палатализациями). Процесс становления двухаффрикатной системы протекает вплоть до наших дней. В говорах происходит фонологизация бывших аллофонов, *ч* и *ц* как бы борются за место в фонологической системе, укрепляют свои позиции, вступая в оппозиции между собой, увеличивая число позиций различения.

Причиной возникновения цоканья и чоканья и других вариантов неразличения аффрикат является состояние фонологической системы древних окраинных северных говоров восточных славян: вторая и «третья» палатализации в данных говорах осуществились, вероятно, позднее и протекали непоследовательно, что привело к очень ограниченному употреблению *ц*. Близкие по артикуляции и акустическим свойствам *ч'* и *ц'* были слабым звеном в фонологической системе: не будучи противопоставленными, они не выполняли сигникативной функции по отношению друг к другу, что неизбежно должно было привести к неразличению этих звуков и к конвергенции их.

Следствием этого явилась возможность воздействия на аффрикаты, при наличии контактирования с иноязычными говорами, других языковых систем, в частности, различных финно-угорских говоров, в которых положение аффрикат было более устойчивым. Это повело к возникновению цоканья и чоканья на субстратной основе. Выбор аффрикаты зависел от состояния фонологической системы того финно-угорского говора, в контактирование с которым вступали русские говоры той или иной территории.

[35] Т. И. Тепляшина, Нижнечепецкие говоры северноудмуртского наречия, «Зап. Удм. НИИ», 21 — Филология, Ижевск, 1970, стр. 159—160.

[36] Т. И. Тепляшина, Об удмуртско-русском словаре Захария Кротова, «Советское финно-угроведение», 1971, 2, стр. 129—139.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

С. К. КЕНЕСБАЕВ, А. Т. КАЙДАРОВ

КАЗАХСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА 50 ЛЕТ

Казахское языкознание как самостоятельная научная дисциплина окончательно сложилось в советскую эпоху. В то же время нельзя умалить значение и роль замечательной плеяды русских ученых в истории культурной жизни казахского народа со второй половины прошлого столетия — Н. И. Ильминского, Е. Катаринского, П. М. Мелиоранского, В. В. Радлова, казахского ученого Ч. Ч. Валиханова и многих других. В их трудах было определено место казахского языка в общей классификации языков тюркской семьи; в общих чертах были описаны его фонетическая система, грамматический строй и лексика.

В советский период казахское языкознание, благодаря оптимальным условиям, за сравнительно короткий срок развивается исключительно интенсивно во всех основных звеньях. Продолжая лучшие традиции отечественной тюркологии, казахское языкознание усовершенствовало методологию и методику научных исследований; значительно обогатилось в теоретическом отношении; ему свойственно разнообразие тематики, глубина освещения и интерпретации отдельных языковых явлений, объективная оценка различных факторов, обуславливающих структурно-функциональное развитие современного казахского литературного языка и т. д. Тематика исследований по казахскому языку в советский период определяется прежде всего насущными потребностями развития культурной жизни возрожденного казахского народа [1].

Развернувшееся в первые годы Советской власти языковое строительство, отражавшее принципы ленинской национальной политики, оказалось настолько благотворным и эффективным, что наряду с успешным решением практически важных вопросов (создания национальных письменностей, разработки литературных норм, урегулирования терминологического процесса и т. д.) языков народов СССР, оно способствовало проведению широких научных изысканий. На местах были созданы научно-организационные лингвистические центры и ячейки, перед которыми были поставлены задачи проведения систематических плановых исследований и решения теоретических и практических лингвистических проблем.

В первые годы Советской власти основные задачи языкового строительства в Казахстане сводились к удовлетворению насущных потребностей народного образования и культурно-просветительных, издательских нужд. Эти задачи, в свою очередь, требовали от местных, в то время еще недостаточно опытных, языковедов элементарного описания грамматического строя родного языка, создания письменности, нормативных пособий, регламентации правил орфографии, пунктуации и т. д.; всеми этими вопросами в то время занимался Народный Комиссариат просвещения.

[1] С. К. Кенесбаев, Основные вехи изучения языка казахского народа, «Октябрь и наука Казахстана», Алма-Ата, 1967, стр. 531.

Новым стимулом для развертывания исследований теоретических и практических вопросов казахского языка явился научно-организационный фактор: в 1936 г. в составе Казахского филиала АН СССР был образован Сектор языка и литературы, на базе которого в 1940 г. создан Институт языка, литературы и истории. В 1945 г. на основе этого комплексного научно-исследовательского института организованы Институт истории, этнографии и археологии и Институт языка и литературы Казахского филиала Академии наук СССР.

В 1946 г. впервые в истории казахского народа организовывается национальная Академия наук, что явилось большим событием в культурной жизни народа и, прежде всего, благоприятным условием дальнейшего развития общественных наук, в том числе — казахского языкознания.

В 1961 г. на базе Института языка и литературы создаются два самостоятельных института: Институт языкознания и Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

В составе Института языкознания АН КазССР, структура которого в соответствии с целевыми задачами претерпела с годами известную реорганизацию, ныне функционируют восемь лингвистических отделов (теории современного казахского языка, тюркологии и истории казахского языка, диалектологии, культуры речи, ономастики, сопоставительного изучения казахского и русского языков, толкового словаря, двуязычных словарей), лаборатория экспериментальной фонетики (ЛЭФ), комплексный отдел уйгуроведения [2] и кафедра иностранных языков. Создание специализированного языковедческого института способствовало более глубокому и целенаправленному исследованию актуальных проблем казахского и уйгурского языков, а также благоприятствовало планомерной подготовке научных кадров по наиболее важным профилям и направлениям, укреплению его научно-технической базы.

Подготовка высококвалифицированных языковедческих кадров и сосредоточение их усилий на решении наиболее актуальных проблем также является немаловажным, если не главным, фактором в развитии казахского языкознания. В этом отношении наша республика занимает одно из первых мест в стране. Помощь республике оказывают вузы, научно-исследовательские учреждения и крупные ученые-тюркологи Москвы, Ленинграда и других союзных республик. Проблемами казахского языкознания занят большой отряд казахских ученых-лингвистов, профессорско-преподавательский состав вузов и работники просвещения республики (15 докторов и более 150 кандидатов филологических наук), основная масса высококвалифицированных специалистов-лингвистов сосредоточена в Институте языкознания АН КазССР.

Если взглянуть на пройденный путь казахского языкознания и оценить его с высоты достижений пятидесятилетнего развития лингвистической науки в СССР, то прежде всего бросаются в глаза поступательный характер его развития, многоплановость исследований и интенсивность их роста. Казахские языковеды разрабатывают узловые проблемы морфологии и синтаксиса, фонетики, алфавита и орфографии, лексикологии и лексикографии, диалектологии и истории казахского языка, ономастики и этнонимики, культуры речи и перевода, общей теории и математиче-

---

[2] Отдел уйгуроведения при Институте языкознания АН КазССР был организован на базе Отдела уйгурского языка в 1964 г. Сформированный при участии уйгурских литературоведов и историков, работавших до этого отдельными группами в составе Института литературы и Института истории, этнографии и археологии, Отдел носит комплексный характер и изучает вопросы языка, литературы, истории и искусства советских уйгуров.

ской лингвистики, языковых контактов и алтаистики; для школ и вузов создаются учебники и методические пособия. К 1971 г. казахскими языковедами было опубликовано около 3500 научных трудов (статей, брошюр, монографий, сборников, словарей, учебников и т. д.) [3].

В развитии казахского языкознания за полувековой период можно выделить определенные этапы, характеризующиеся своими особенностями. Так, 20-е годы были своего рода подготовительным, но вместе с тем исключительно важным этапом в становлении казахского языкознания. Задачи ликвидации неграмотности населения, необходимость преподавания казахского языка как предмета, создание письменности и унификация орфографии, терминологии, организация государственного делопроизводства, судопроизводства и т. д.— все это обусловило прикладной характер развития казахского языкознания этого периода.

В 30-е годы намечается поворот в сторону углубленного изучения узловых вопросов грамматики, фонетики и терминологии казахского языка, что в известной степени было связано с открытием в республике высших учебных заведений (в частности, Казахского гос. университета в 1928 г. на базе Казахского высшего пединститута) и преподаванием в них специального научно-нормативного курса казахского языка. Значительному оживлению научных исследований в этот период способствовала организация Казахского научно-исследовательского института национальной культуры, который в 1936 г. был слит с Казахстанской базой АН СССР, а также функционирование Государственной терминологической комиссии при Наркомпросе.

Центральное место в научных исследованиях грамматики этого периода занимали вопросы синтаксиса и синтаксических конструкций казахского языка. В этой связи следует назвать таких ученых-языковедов, как Х. К. Жубанов, С. Аманжолов, Н. Т. Сауранбаев, М. Б. Балакаев и др. Так, в работах Х. К. Жубанова, одного из основоположников казахского языкознания, четко вырисовывается научно-теоретический подход к изучению казахского языка и его развития. Например, в статье «Из истории порядка слов в казахском предложении» анализируются синтаксические нормы расположения слов в предложении в сравнительно-историческом плане; особенно оригинально освещены атрибутивные устойчивые сочетания. Не менее интересны его исследования и по другим вопросам казахского языкознания, например, «Заметки о вспомогательных и сложных глаголах» [4].

В 30-е годы одним из злободневных научно-практических вопросов был вопрос о терминотворчестве. В сложных условиях преодоления узконационалистической «имманентной теории» эволюции казахского языка, губительно сказавшейся не только на терминологии (ориентировка на Запад), орфографии (навязывание только фонетического письма), но и на общем развитии казахского литературного языка, объективно-научный подход к решению вопросов терминотворчества имел исключительно важное значение. В основу терминотворческого процесса был положен принцип исчерпывающего использования собственных возможностей родного языка и смелого заимствования советско-интернациональных терминов в самых различных областях научного знания в соответствии с графическим оформлением заимствуемых слов в русском литературном языке.

Преподавание казахского языка в вузах и школах, в свою очередь, требовало разработки методики и учебно-методической литературы.

[3] См.: Ш. Ш. Сарыбаев, Библиографический указатель литературы по казахскому языкознанию, ч. 1, Алма-Ата, 1965, ч. 2—1971.

[4] См.: Х. Жубанов, Исследования по казахскому языку, Алма-Ата, 1966 (на казах. и русск. яз.).

Большая работа в этой области была проделана в 30-е и последующие годы педагогами-методистами Г. Бегалиевым, С. Жиенбаевым, Ш. Х. Сарыбаевым, Х. Басымовым, М. Касымовой, А. Сытдыковым и др., благодаря трудам которых сформировалась научная методика преподавания казахского языка в школе и вузе.

В годы Великой Отечественной войны вместе с казахскими языковедами в республике работали И. И. Мещанинов, С. Е. Малов и др., оказывая научно-практическую помощь в разработке актуальных вопросов казахского языкознания и помогая в подготовке высококвалифицированных специалистов. Небезынтересно отметить, что труды С. Е. Малова «Памятники древнетюркской письменности» и И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» были созданы в годы войны в г. Алма-Ате.

Стимулирующим фактором развития лингвистической науки в республике начиная с 40-х годов явилось предоставление права проводить защиту кандидатских и докторских диссертаций по тюркским языкам и литературам Объединенному совету по филологическим наукам (с 1947 г.), функционирующему ныне при Институте языкознания и Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН КазССР: за 25 лет здесь защитили докторские и кандидатские диссертации многие языковеды и литературоведы республик Советского Союза. Аналогичные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций ныне функционируют при Казахском гос. университете им. С. М. Кирова и Алма-Атинском пединституте им. Абая

Последовательная дифференциация отраслей и направлений казахского языкознания, результативные исследования отдельных узловых проблем и теоретическое осмысление закономерностей развития казахского языка наблюдается в послевоенные годы.

Ощутимые результаты дали, прежде всего, многолетние изыскания языковедов в области казахской диалектологии: была выявлена диалектная лексика [5], изучены фонетические и грамматические особенности разговорной речи казахов и обобщены в монографических исследованиях [6] и сборниках [7]. Сбор, систематизация и описание диалектных явлений казахского языка велись с целью определения диалектной основы литературного языка. До недавнего времени существовали самые различные, а порою полярно противоположные, мнения казахских диалектологов относительно наличия [8] или отсутствия в казахском языке резко выраженных диалектных различий. Изучение диалектных явлений пока еще не дает полного основания категорически утверждать, что в казахском языке имеются столь ярко выраженные диалекты, как, например, в узбекском, азербайджанском и других тюркских языках.

Для казахской диалектологии, располагающей к настоящему времени большим числом диалектографических описаний, характерно постоянное накопление диалектных материалов по языку казахов различных регионов республики (восточная группа диалектов, говор казахов Чуйской до-

---

[5] «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі», Алматы, 1969; см. также: Ш. Ш. Сарыбаев, Инструкция для составления диалектологического словаря казахского языка, «Қазақ диалектологиясы», 1, Алматы, 1965.

[6] Ж. Досқараев, Оңтүстік диалектісінің кейбір мәселелері, Алматы, 1945; Ж. Досқараев, Ғ. Мұсабаев, Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері, 1, Алматы, 1951; С. Аманжолов, Вопросы диалектологии и истории казахского языка, ч. 1, Алма-Ата, 1959, и др.

[7] «Вопросы истории и диалектологии казахского языка», 1, Алма-Ата, 1958, 2—1961, 3 — 1960, 4 — 1962, 5 — 1963; «Қазақ диалектологиясы», 1, и др.

[8] С. Аманжолов, указ. соч.; его же, О диалектной основе современного казахского языка, «Изв. АН КазССР». Серия филологии и искусствоведения, 3—4, 1955, и др.

лины, аральский, кзыл-ординский, урдинский и другие говоры) и за ее пределами (говоры казахов Туркмении, Узбекистана, Каракалпакии). Трудами таких подготовленных специалистов-диалектологов, как Ш. Ш. Сарыбаев, С. Омарбеков, Ж. Болатов, О. Накисбеков, А. Нурмагамбетов, Г. Калиев, Н. Д. Жунусов, Т. Айдаров, Ю. Абдувалиев, Ш. Бектуров, А. Борибаев, К. Айтазин и др., уже подводятся некоторые итоги многолетних исследований, подготовлена основа для составления диалектологического атласа казахского языка.

Одним из наиболее значительных направлений казахского языкознания, заметно оживившимся в последние годы, является история казахского языка, изучение которой в отдельных своих моментах перекликается с исследованием общетюркологических и алтаистических проблем. Ведется изучение языка и языковых категорий памятников древнетюркской и уйгурской письменностей, средневековых арабописьменных памятников и дореволюционных изданий, имеющих прямое или косвенное отношение к истории и историческому развитию современного казахского языка. В этой области следует отметить многолетние поиски Г. Айдарова, А. Аманжолова, А. Есенгулова [9]. Изучением средневековых кыпчакских памятников занимается А. Курышжанов [10]; им же готовится к изданию средневековый памятник «Кодекс Куманикус», имеющий прямое отношение к истории кыпчакских языков. Относительно недавно С. К. Кенесбаевым, Р. Г. Сыздыковой и др. начато исследование языка «Дивана» Ходжа Ахмеда Ясеви (по всем существующим спискам); А. Ибатовым подготовлен к изданию словарь языка «Хусрав и Ширин». Над изучением языка дореволюционных казахских письменных памятников работает К. Умиралиев.

Значительная работа проделана и по изучению предоктябрьского периода развития и становления казахского письменно-литературного языка. В этой связи особое внимание языковедов привлекает наследие Абая и других представителей казахской письменной литературы, чья литературно-просветительская деятельность сыграла решающую роль в становлении и демократическом развитии казахского письменного литературного языка [11]. Ряд работ казахских ученых (Н. Карашева, Б. Абилкасымов, К. Умиралиев, Е. Жубанов, Е. Жанпеисов и др.) посвящен обстоятельному изучению особенностей языка устно-поэтического творчества казахов, первых казахских газет и журналов дореволюционной поры, а также языка произведений наиболее выдающихся представителей казахской советской литературы (С. Сейфуллина, Б. Майлина, М. Ауэзова, И. Джансугурова и др.), сыгравших большую роль в стилистической дифференциации и интенсивном развитии современного казахского литературного языка [12].

---

[9] Г. А й д а р о в, Язык орхонских памятников древнетюркских письменностей VIII в., Алма-Ата, 1971; А. С. А м а н ж о л о в, Глагольное управление в языке древнетюркских памятников, М., 1969; А. Е с е н г у л о в, Словообразовательные аффиксы в языке древнетюркской письменности, Автореф. канд. диссерт., Алма-Ата, 1969 (далее авторефераты обозначаются соответственно: АКД, АДД).

[10] А. К. К у р ы ш ж а н о в, Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника XIII в.— «Тюркско-арабского словаря», Алма-Ата, 1970.

[11] См., например: Р. Г. С ы з д ы қ о в а, Абай шығармаларының тілі (лексикасы мен грамматикасы), Алматы, 1968; е е ж е, Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылыссы, Алматы, 1970.

[12] Б. Ә б і л қ а с ы м о в, Алғашқы қазақ газеттерінің тілі, Алматы, 1971; Н. Б. К а р а ш е в а, Грамматические особенности языка казахской публицистики начала XX века. АКД, Алма-Ата, 1959; Е. Ж у б а н о в, О некоторых лексико-грамматических особенностях языка эпоса Козы-Корпеш —Баян Сулу, «Изв. АН КазССР». Серия филологии и искусствоведения, 3 (22), 1962; Е. Ж а н п е й і с о в, Қазақ прозасының тілі, Алматы, 1968.

В результате целенаправленной работы в этой области созданы также коллективные труды [13], систематизированный курс по истории казахского литературного языка для филологических факультетов вузов республики [14], а также по языку древнетюркской письменности [15].

На протяжении десятилетия ведутся поиски и изучение эпиграфических памятников на обширной территории республики; найден ряд древнетюркских (рунических, древнеуйгурских) надписей, наскальных изображений и проч., способных пролить свет на историю народа и его языка. Первые результаты таких поисков опубликованы в виде сборника [16].

В последние годы казахские языковеды стремятся выйти за рамки «чистого» казаховедения. Об этом свидетельствуют тюркологические исследования общего плана [17], отдельные пока еще опыты сравнительного изучения грамматического строя тюркских языков [18] и этюды в области тюрко-монгольских лексических параллелей, на основании которых делаются попытки установить характер взаимоотношений конкретных тюркских языков с монгольскими [19].

Вопросы фонетики, морфологии и синтаксиса всегда были в центре внимания казахских языковедов. В 30—40-х годах решение этих вопросов ставилось в прямую зависимость от практических потребностей языкового строительства; в 60—70-х годах языковеды пытаются глубже осмыслить те же вопросы, устанавливая закономерности структурных изменений казахского языка в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Фонетическая структура казахского языка получила более обстоятельное научно-теоретическое описание в трудах С. К. Кенесбаева [20], положенных затем в основу всех школьных учебников и вузовских курсов [21]. Отдельные фонетические вопросы подвергнуты более углубленному изучению в трудах Ж. А. Аралбаева, Т. Талипова, М. А. Черкасского, А. Исенгельдиной [22], при этом как в синхронных, так и в историко-сравнительных исследованиях нередко использовались методы структурной лингвистики. В последние годы при изучении фонетических явлений и закономерностей звукового развития казахского языка стали широко

[13] См.: «Вопросы истории и диалектологии казахского языка», 1—5; «Исследования по истории казахского языка», Алма-Ата, 1965 (на казах. и русск. яз.).

[14] М. Балақаев, Р. Сыздықова, Е. Жанпейісов, Қазақ әдеби тілінің тарихы, Алматы, 1968; Ғ. Мұсабаев, Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан, I, Алматы, 1966.

[15] Ғ. Айдаров, Ә. Құрышжанов, М. Томанов, Көне тұркі жазба ескерткіштерінің тілі, Алматы, 1971.

[16] Г. Мусабаев, А. Махмутов, Г. Айдаров, Эпиграфика Казахстана, I, Алма-Ата, 1971.

[17] См.: сб. «Исследования по тюркологии», Алма-Ата, 1969.

[18] А. Нұрмаханова, Түркі тілдерінің салыстырма грамматикасы, Алматы, 1971.

[19] См.: С. К. Кенесбаев, К вопросу о тюрко-монгольской языковой общности (на материале некоторых грамматических явлений казахского языка), «Проблема общности алтайских языков», Л., 1971; Ш. Ш. Сарыбаев, Монгольско-казахские лексические параллели, там же; его же, К вопросу о монгольско-казахских языковых связях, «Вопросы истории и диалектологии казахского языка», 2; А. Кайдаров, Уйгурско-монгольские языковые связи в области фонетики, сб. «Исследования по уйгурскому языку», 2, Алма-Ата, 1970.

[20] [С. К. Кенесбаев], «Фонетика», в кн.: «Современный казахский язык. Фонетика и морфология», Алма-Ата, 1962, стр. 14—118.

[21] См., например: І. К. Кеңесбаев, Ғ. Мұсабаев, Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика, Алматы, 1962.

[22] Ж. А. Аралбаев, Вокализм казахского языка, Алма-Ата, 1970; Т. Талипов, Гласные звуки уйгурского и казахского языков, Алма-Ата, 1968; М. А. Черкасский, Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования, М., 1965; А. Исенгельдина, Спектрально-рентгенологическое исследование сонорных гласных казахского и английского языков. АКД., Алма-Ата, 1960.

применяться экспериментальные методы и статистический анализ. Все это непосредственно связано с созданием при Институте языкознания АН КазССР оснащенной новейшей фоно-акустической аппаратурой Лаборатории экспериментальной фонетики и подготовкой специалистов-экспериментаторов в соответствующих лабораториях Москвы (В. А. Артемов) и Ленинграда (Л. Р. Зиндер). В научных трудах [23] и защищенных диссертациях целого ряда молодых исследователей-экспериментаторов (Б. Калиев, А. Джунусбеков, Н. Туркпенбаев, С. Татубаев, М. А. Раимбекова, А. Кошкаров, М. Исаев, С. С. Кенесбаева и др.) на основе этих новых методов исследован большой круг вопросов фонетики казахского языка и прежде всего — вокализм, длительность гласных и редукция гласных, фонетическая структура слова.

В исследованиях грамматического строя казахского языка в 50—60-х годах наметился дифференцированный подход к изучению отдельных морфологических и синтаксических категорий в плане как их статики, так и динамики. В этот период монографическому изучению подверглись почти все части речи (глагол, прилагательное, числительное, местоимения, союзы, междометия, подражательные слова), приемы и модели словообразования глаголов и имен (в том числе и отглагольных), природа грамматических категорий [24], синтаксис словосочетания, простых и сложных предложений и т. д. [25]. Благодаря этой подготовительной работе казахское языкознание за последние годы получило ряд обобщающих трудов по грамматике казахского языка [26]. Казахские ученые, развивая традиционные приемы описания грамматической структуры языка, стали уделять больше внимания интерпретации наиболее малоизученных ее аспектов. Наметилась тенденция к историческому изучению синтаксиса на основе письменных источников прошлых эпох [27] и к сравнительному исследованию фактов родственных языков [28]. Перспективные планы Института языкознания АН КазССР предусматривают всестороннее теоретическое осмысление исторических процессов развития грамматической

---

[23] См., например: «Фонетика казахского языка», I, Алма-Ата, 1969; Н. Туркпенбаев, Интонация простых вопросительных предложений в казахском языке. М.— Алма-Ата, 1966.

[24] См. авторефераты канд. диссерт.: Ж. Болатов, Синтаксические функции причастия в казахском языке, Алма-Ата, 1955; Х. Неталиева, Имена действия в современном казахском языке, Алма-Ата, 1963; К. Мусаев, О глагольно-именных конструкциях в современном казахском языке, М., 1956; И. К. Уюкбаев, Категория глагольного вида в современном казахском языке, Алма-Ата, 1954.

[25] См. авторефераты канд. диссерт.: Т. Сайранбаев, Глагольные словосочетания с прилагательными и числительными в современном казахском языке, Алма-Ата, 1965; А. Абилькаев, Семантико-грамматическая природа глагола «де» в современном казахском языке, Алма-Ата, 1962; С. Тулегенов, Выражение сказуемого и его основные типы в простом личном предложении современного казахского языка, Алма-Ата, 1955; М. Бимагамбетов, Обращение и вводные слова в современном казахском языке, Алма-Ата, 1967; О. К. Жармакин, Побудительные предложения в современном казахском языке, Алма-Ата, 1970; Г. Мадина, Безличные предложения в современном казахском языке, Алма-Ата, 1959.

[26] «Современный казахский язык»; «Қазақ тілінің грамматикасы», I — Морфология, II — Синтаксис, Алматы, 1967; М. Б. Балакаев, Современный казахский язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения, Алма-Ата, 1959; А. Ы. Ыскақов, Қазақ тілінің морфологиясы, 1963; И. Е. Маманов, Қазіргі қазақ тілі. Етістік, Алматы, 1966; А. Хасенова, Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты, Алматы, 1971; Оралбаева, Аналитические формы глагола в современном казахском языке. АДД, Алма-Ата, 1971.

[27] Т. Р. Қордабаев, Тарихи синтаксис мәселелері, Алматы, 1964; его же, Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі, Алматы, 1960.

[28] А. Н. Нурмаханова, Типы простого предложения в тюркских языках, Ташкент, 1965; Қ. Есенов, Қазіргі қазақ тіліндегі шартты және қарсылықты бағыныңқы сөйлемдер, Алматы, 1969.

структуры казахского языка как в диахроническом, так и синхронном аспектах.

Наиболее значительным направлением казахского языкознания являются лексикология и лексикография. Если до 50-х годов основное внимание уделялось составлению школьных лексикографических пособий, первых двуязычных [29] и отраслевых терминологических словарей [30], то в дальнейшем не только совершенствуются подобные словари [31], но и составляются двухтомный [32] и многотомный [33] толковые словари казахского языка, большой казахско-русский словарь [34], словарь языка Абая [35] и т. д.

Проделана большая лексикографическая работа по составлению и изданию двуязычных и толковых терминологических словарей с участием специалистов по всем основным отраслям научных знаний, техники и культуры (всего около 30 словарей). Ответственную и практически важную задачу по сознательному урегулированию и упорядочению терминологического процесса казахского литературного языка приняла на себя Государственная Терминологическая Комиссия (Гостерминком) при Совете Министров КазССР, которая постоянно занимается изучением и узаконением уже созданных и вновь создаваемых терминов по самым различным отраслям науки и техники.

В республике создан также ряд казахско-иноязычных словарей и разговорников (английско-казахский, русско-казахско-латинский, казахско-немецкий, казахско-английский, арабско-казахский и др.), способствующих практическому овладению этими языками.

Результатом всестороннего изучения лексического состава казахского языка — его истории и этимологии, структуры и семантики — явились словари синонимов [36], слитных слов и словосочетаний [37], краткий этимологический словарь [38]. Параллельно с лексикографической работой ведутся и исследования кардинальных проблем лексики казахского языка. Казахской фразеологией многие годы занимается С. К. Кенесбаев, перу которого принадлежит ряд оригинальных научных статей по этой тематике. Ныне им подготовлен к изданию большой фразеологический словарь казахского языка. Общие и частные вопросы лексикологии в течение последних десятилетий разрабатываются Г. Г. Мусабаевым [39]. Отдельные вопросы лексикологии, семасиологии, профессионализмов, исторического развития лексической структуры, ономастики, топонимики и т. д. получили научное освещение в ряде диссертаций [40] и моногра-

[29] «Русско-казахский словарь», 1—2, Алма-Ата, 1946.

[30] См., например: Ғ. Мұсабаев, Ю. Цунвазо, Қ. Айдарханов, Орысша-қазақша әскери сөздік, Алматы, 1942.

[31] «Русско-казахский словарь», под общей ред. Н. Т. Сауранбаева, М., 1954; Г. Мусабаев, Х. Махмутов, Казахско-русский словарь, Алма-Ата, 1955.

[32] «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», жалпы ред. басқарған І. К. Кеңесбаев, 1— Алматы, 1959, 2 — 1961.

[33] Первый том многотомного толкового словаря находится в печати, завершено составление второго тома.

[34] Большой «Казахско-русский словарь» (объем около 140 печ. л.) принят к печати издательством «Советская Энциклопедия» в Москве.

[35] «Абай тілі сөздігі», жалпы ред. баскарған А. Ысқақов, Алматы, 1968.

[36] Ә. Болғанбаев, Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі, Алматы, 1962.

[37] Г. Жөркешева, Біріккен сөздер мен сөз тіркестерінің орфографиялық сөздігі, Алматы, 1960.

[38] «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі», Алматы, 1966.

[39] См., например: Г. Г. Мусабаев, Современный казахский язык. Лексика, Алма-Ата, 1959.

[40] См., например, авторефераты канд. диссерт.: А. Болганбаев, Синонимика имени существительного в современном казахском языке, Алма-Ата, 1955; К. Аханов, Омонимы в казахском языке, Алма-Ата, 1956; Р. Барлыбаев, Расширение и сужение значений слов в казахском языке, Алма-Ата, 1963; Ш. Мухамеджа-

фий [41]. Несмотря на наличие большого количества лексикологических и историко-этимологических исследований, пока еще не создан обобщающий труд, в котором освещались бы исторические пути развития и процессы обогащения и структурно-семантических изменений лексики казахского языка.

Проблема нормализации литературного языка ставит перед лингвистами ряд практически актуальных вопросов, в первую очередь — дальнейшее совершенствование алфавита [42], письменно-орфографических и орфоэпических норм, изучение особенностей устно-разговорной и письменной речи, процесса дифференциации стилей, что в свою очередь связано с решением комплекса вопросов языковой культуры. В этом направлении сделано немало: с учетом практических потребностей языка пересматривается ранее изданный орфографический словарь казахского языка [43], проводятся специальные исследования вопросов орфоэпии, фонетических дублетов слов [44], синтаксиса устной речи, стилистики [45], культуры речи [46]. Вопросами стиля и стилистики в теоретическом плане плодотворно занимается Х. Х. Махмутов.

В казахском языкознании широко изучаются проблемы влияния русского языка на казахский. На первых этапах разрешения этой проблемы, имевшей преимущественно прикладное значение, сопоставительное изучение двух языков ставило перед собою цель способствовать лучшему освоению русского языка казахами, а также совершенствованию практики перевода художественных произведений с русского на казахский язык. В этом плане написан целый ряд диссертационных работ, затрагивающих разные аспекты грамматики и лексикологии сопоставляемых языков (склонение имен существительных, залоги, наклонения и времена глагола; прилагательные; словообразование имен и т. д.). Дальнейшее изучение этой проблемы проводится уже на уровне систематического сопоставления структур двух языков [47] и теоретического осмысления и интерпретации глубинных процессов их взаимовлияния [48].

нов, Переносное значение слова в современном казахском языке, Алма-Ата, 1968; Б. Хасанов, Метафорическое употребление слов в казахском языке, Алма-Ата, 1964; А. Ермеков, Семантика слитных слов в казахской лексике, Алма-Ата, 1950; Т. Жанузаков. Лично-собственные имена в казахском языке, Алма-Ата, 1961; Г. К. Конкашбаев, Казахские народные географические термины, Алма-Ата, 1949; Е. Койчубаев, Основные типы топонимов Семиречья, Алма-Ата, 1967; Л. З. Рустемов, Арабо-иранские заимствования в казахском языке, Алма-Ата, 1963; А. Махмутов, Архаизмы и историзмы в казахском языке, Алма-Ата, 1963.

[41] Ә. Болғанбаев, Қазақ тіліндегі синонимдер, Алматы, 1970; Ә. Әбдірахманов, Қазақстанның жер-су аттары, Алматы, 1959; Т. Жанұзақов, Қазақ есімдерінің тарихы, Алматы, 1971; К. Аханов, Қазақ тілі лексикасының мәселелері, Алматы, 1955.

[42] См. С. К. Кенесбаев, Г. Г. Мусабаев, Х. Неталиева, Об алфавите казахского языка, сб. «Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР», М., 1972.

[43] «Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі», Алматы, 1963.

[44] С. Б. Бизаков, Фонетические варианты слов в современном казахском языке. АКД, Алма-Ата, 1972.

[45] М. Б. Балақаев, Е. Жанпейісов, М. Томанов, Б. Манасбаев, Қазақ тілінің стилистикасы, Алматы, 1966.

[46] М. Балақаев, Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері, Алматы, 1965; М. Әлімбаев, Өрнекті сөз-ортақ қазына, Алматы, 1967; Қ. Жұмалиев, Стиль-өнер өрекшелігі, Алматы, 1966.

[47] «Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. Морфология», Алма-Ата, 1966; Н. Х. Демесинов, Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. Синтаксис, Алма-Ата, 1968; Д. Турсунов, Б. Хасанов и др., Сопоставительная грамматика русского и казахского языков, Алма-Ата, 1967.

[48] В. А. Исенгалиева, Тюркские глаголы с основами, заимствованными из русского языка, Алма-Ата, 1966; «Прогрессивное влияние русского языка на казахский», Алма-Ата, 1965.

С проблемой сопоставительного изучения казахского и русского языков в известной степени смыкаются вопросы перевода. В ряде монографических исследований разрабатываются конкретные и узловые вопросы перевода художественных произведений и трудов классиков марксизма-ленинизма с русского на казахский, с казахского на другие европейские языки через посредство русского. В этой области плодотворно работают такие ученые, как С. О. Талжанов, А. Сатыбалдиев, М. Джангалин, К. Сагындыков, Б. И. Репин, Ю. А. Сушков, У. Айтбаев.

В связи с процессом развития двуязычия и многоязычия в условиях многонационального Казахстана большое внимание уделяется вопросам методики преподавания казахского языка в школах и вузах и освоения русского языка казахами. Методические исследования и разработки последних лет отличаются углублением теоретической основы преподавания языка, учетом психологических, эстетических, воспитательных и других элементов педагогики.

В настоящее время в казахском языкознании развиваются новые направления. В Институте языкознания АН КазССР функционирует группа статистико-лингвистических исследований казахского языка. Небольшая группа статистики речи (руководитель К. Бектаев), координируя свою деятельность с соответствующими центрами статистических и информационных исследований Советского Союза (под общим руководством Р. Г. Пиотровского), за короткий срок добилась успехов как в подготовке кадров специалистов, так и в изучении конкретных проблем казахского языка и обработки текста с помощью вероятностно-статистических, теоретико-информационных и кибернетических методов. Путем реферирования и автоматической обработки текста на ЭВМ «Минск-22» получены словари языка романа М. О. Ауэзова «Путь Абая», прежде всего алфавитно-частотный словарь этого романа, выпущен «Обратный словарь казахского языка» (автор К. Бектаев, Алма-Ата, 1971). А. Жубановым, Д. Байтанаевой, С. Мирзабековым и др. ведутся исследования по вопросам автоматизации лингвистических процессов, энтропии текстовых и нетекстовых словоформ, частотности словообразующих форм казахского языка и т. д.

В Институте языкознания АН КазССР намечаются контуры будущих социолингвистических исследований: взаимоотношение разносистемных языков в условиях многонационального Казахстана и воздействие социальных факторов на структурное развитие конкретных языков, вопросы двуязычия и многоязычия и роли русского языка в качестве межнационального средства общения народов Казахстана и т. д.

Всестороннему развитию казахского языкознания [49] благоприятствовали постоянный контакт казахских ученых с учеными других республик и зарубежных стран на региональных, всесоюзных лингвистических конференциях и совещаниях, на международных симпозиумах и конгрессах.

Немаловажным фактором в развитии казахского языкознания является непосредственное участие многих крупных ученых-тюркологов Москвы, Ленинграда и союзных республик в разработке тех или иных проблем казахского языка. В исследовании отдельных вопросов казахского языка участие принимают также и некоторые зарубежные тюркологи.

Успехи и достижения казахского языкознания за полувековой период его развития следует рассматривать как неотъемлемую часть достижений всей советской науки вообще и советской тюркологии в частности. Эти успехи олицетворяют силу и жизненность ленинской национальной политики, обеспечившей свободное развитие национальных языков и культур народов Советского Союза.

[49] В данном случае мы не затрагивали вопросы развития уйгурского, дунганского, русского, романского и других отраслей языкознания, представленных в республике.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

З. М. ПЕТРОВА

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

Приступив к изданию капитального лексикографического труда — сводного Словаря русских народных говоров, группа лексикографов Словарного сектора Института русского языка АН СССР одновременно поставила задачу систематического исследования диалектной лексики и диалектного словообразования, изучения и обобщения составительского опыта и опыта диалектной лексикографии прошлого и настоящего. Результатом этого явились четыре сборника статей под редакцией Ф. П. Филина и Ф. П. Сороколетова, посвященных различным вопросам диалектной лексикологии, лексикографии и словообразования [1] (пятый сборник утвержден к печати). Составляемый коллективом лексикографов Словарь русских народных говоров не может вместить всего лексического богатства диалектов русского языка и, в силу специфических особенностей такого рода издания, не может решить многих проблем диалектной лексикологии. Рецензируемые сборники, опираясь на богатейшую лексическую базу (около 2 миллионов карточек-цитат), а также на уже составленные выпуски Словаря, осуществляют «теоретическое и описательное изучение диалектной лексики родной речи» (№ 1, стр. 3).

Русская диалектная лексикология в настоящее время переживает свой расцвет. С момента выхода в свет первого монографического труда в этой области — «Исследования о лексике русских народных говоров» Ф. П. Филина (М.— Л., 1936) прошло 36 лет. Интенсивное собирание новых диалектных материалов, развернувшееся особенно широко в послевоенное время, создало благоприятные условия для разного рода лексикологических исследований. «Никогда еще в истории русской диалектологии не печаталось столько книг, сборников, статей, фактической основой которых является диалектная лексика, как в наше время»,— пишет Ф. П. Филин в предисловии к одному из сборников (№ 4, стр. 3).

В ряду многочисленных работ по диалектной лексикологии рецензируемые сборники занимают особое место. Авторы их (за немногим исключением) составляют коллектив, объединенный общностью методологии и целей исследования. Это дает основание рассматривать сборники как монографическое исследование, в известных отношениях целостное и целенаправленное.

В кратком обзоре нет возможности рассмотреть содержание всех статей, опубликованных в рецензируемом издании (62 статьи). Остановимся на основной проблематике сборников.

Ряд статей, авторы которых являются составителями словаря, посвящен наиболее существенным и сложным вопросам разработки слова в

[1] «Лексика русских народных говоров (опыт исследования)», М.—Л., 1966 (далее — № 1); «Слово в русских народных говорах», Л., 1968 (далее — № 2); «Диалектная лексика — 1969», Л., 1971 (далее —№ 3); «Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Диалектная лексика — 1971», Л., 1972 (далее — № 4).

диалектном словаре: понятию диалектного слова, отбору слов в областной словарь, структуре словарной статьи, типам толкования значений слова и многим другим, более частным вопросам, составляющим специфику словарной обработки диалектной лексики.

Решение перечисленных вопросов во многом зависит от определения особенностей различных типов областных словарей. Характеристике типов областных словарей посвящены статьи Ф. П. Сороколетова «Диалектная лексика в ее отношении к словарному составу общенародного языка» (№ 2), «Семантическая структура слова в диалектных словарях» (№ 4), О. Г. Пороховой «Общерусская лексика и диалектологические словари» (№ 2) и рецензия О. Д. Кузнецовой на три областных словаря («Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики», «Словарь русских говоров Среднего Урала», «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби»). Обсуждение вопроса о типе областного словаря в последние годы проводилось на страницах различных лингвистических изданий и приняло характер оживленной дискуссии. По вопросу о том, полным или дифференциальным должен быть областной словарь, определенную позицию занимают авторы сборников, составители сводного областного словаря русских народных говоров. Тип сводного областного словаря как словаря дифференциального, включающего только диалектную лексику, определен в его проекте [2]. Авторы названных статей убедительно показывают, что областной словарь, включающий лексику широкого ареала, не может отразить ее системные отношения, так как «разные говоры, пусть даже близкие по своей структуре, не обладают таким единством лексической системы, как один говор» (Ф. П. Сороколетов, Семантическая структура слова..., стр. 187). Таким образом, полным может быть словарь одного говора; он может включить в себя свод всех употребляющихся в нем слов как общенародных, так и областных, отразив их системные отношения. Однако и в этом случае основным объектом описания в словаре должны быть слова (или их значения) специфически диалектные, а слова, совпадающие с литературными (например, *лес*, *луг*, *трава*), могут быть лишь включены в словник, без словарной разработки и цитат.

Вышедший в свет первый выпуск Псковского областного словаря можно рассматривать как попытку применить на практике идею составления полного областного словаря. Но псковские говоры как единая система — «фикция и в синхронном плане и в диахроническом» (Ф. П. Сороколетов, Диалектная лексика.., стр. 235). В статье, анализирующей словник и принципы разработки лексических материалов в первом выпуске Псковского областного словаря, Ф. П. Сороколетов показывает, что, задуманный как полный и «системный», Псковский областной словарь на деле таковым не является.

О. Д. Кузнецова в своей рецензии на Уральский, Томский и Прибалтийский словари русских говоров, вышедшие в 1963 —1964 гг., детально анализирует словник словарей, структуру словарной статьи, определение значения слова и многие другие, более частные вопросы лексикографической практики этих словарей. «Теперь уже ясно,— пишет автор,— что создание полного словаря сравнительно большой территории, на которой находятся говоры различных систем (а рецензируемые словари являются именно такими словарями), невозможно ни практически, ни теоретически» (№ 1, стр. 216).

---

[2] См.: Ф. П. Филин, Проект «Словаря русских народных говоров», М.— Л., 1961, стр. 15—16.

Практические нужды ставят лексикографов перед необходимостью выработать и уточнить научное понятие о диалектном слове. Исходя из сформулированного в «Проекте „Словаря русских народных говоров“» понятия диалектизма [3], авторы ряда статей много внимания уделяют уточнению понятия семантического диалектизма (Ф. П. Сороколетов, Диалектная лексика.., стр. 222), диалектного фразеологизма (О. Д. Кузнецова, О некоторых трудностях отбора слов в диалектный дифференциальный словарь, № 3, стр. 24—25), отличию этнографизмов, распространенных на широкой территории (иногда на всей территории распространения данного языка), от диалектизмов. Ф. П. Сороколетов отмечает изменение понятия «диалектизм» для разных исторических эпох. На основании анализа местных слов, относящихся к группе военной лексики и представленных в памятниках древнерусской письменности XIV—XV вв., он утверждает, что для этой эпохи нельзя говорить о диалектизмах в современном понимании как о словах, имеющих ограниченный ареал и не входящих в состав общенародного языка. Для ранних периодов древнерусского языка следовало бы предпочесть термины «местные слова», или «локализмы», которыми различалась речь населения разных областей, вне ее отношения к общенародному языку, сформировавшемуся позднее.

В сборниках уделено внимание одному из самых сложных вопросов диалектной лексикографии — построению словарной статьи в областном словаре, разным типам толкования слова, порядку расположения значений в словарной статье. В статье «Семантическая структура слова в диалектных словарях» Ф. П. Сороколетов приходит к убеждению, что специфика описываемого в областном словаре материала определяет характер толкования слов. Оно может быть в одних случаях простым переводом на литературный язык (например, *дро́ля* «возлюбленный, возлюбленная», *емкí* «ухват», *жими́ло* «скряга» и т. п.); в других, когда значение диалектного слова не покрывается значением слова литературного языка, применяются толкования, обычные для толкового словаря литературного языка; в третьих — толкование слова предполагает приведение энциклопедических сведений о значении слова (в особенности это касается этнографизмов). Особые трудности при семантической разработке слова встают перед составителями сводного областного словаря. Автор статьи приходит к выводу, что материалы, приводимые в этом словаре, могут быть даны в виде собрания значений слова, которые оно имеет в разных говорах зачастую независимо друг от друга.

Изучение отдельных диалектных лексических пластов и тематических групп слов как с типизированной семантической структурой, так и с индивидуальными особенностями каждого слова — очень важный аспект лексикологических исследований. Не случайно поэтому рассмотрению лексико-семантических и тематических групп лексики, а также лексико-словообразовательных гнезд и истории отдельных слов посвящен ряд статей сборников. Так, например, на обширном диалектном материале, с привлечением данных из памятников русского языка рассматриваются лексико-словообразовательные группы слов с корнем *лих-* [Ф. П. Сороколетов, Из истории лексики (слова с корнем *лих-* в русских народных говорах и в литературном языке), № 1], *благ-* (*блаж-*) (О. Г. Порохова, Из истории лексики. Слова с корнем *благ-* (*блаж-*) в русском языке, № 2), *весн-* (А. Ф. Марецкая, Слова с корнем *весн-* в русских народных говорах, № 3) и др.; большой материал по диалектной терминологии содержит статья Т. С. Ко-

[3] «Решающим признаком принадлежности слова к диалектной лексике является локальная ограниченность его употребления, т. е. наличие у слова изоглоссы в пределах территории, которую занимает язык» (Ф. П. Филин, Проект..., стр. 19—20).

готковой «К вопросу о производственно-профессиональной лексике говора и соотношении ее с терминологической лексикой литературного языка» (№ 3). Перечисленные, а также многие другие статьи, посвященные истории диалектных слов, отличает, как правило, глубина лексикологического анализа. Для них свойственно внимание ко всем оттенкам анализируемых слов, к индивидуальным «бесчисленным фактам языка» (Предисловие, № 4, стр. 3). «Каждое слово,— пишет Ф. П. Филин,— свой особый лингвистический микромир, раскрыть тайны которого не только поучительно, но и увлекательно» (там же, стр. 4). Статьи раскрывают богатство лексики народного языка, особенности его лексико-семантической системы (явления полисемии, «семантической поляризации», богатство словообразовательных возможностей многих диалектных слов и пр.).

Судьба диалектных слов рассматривается, как правило, на широком историческом фоне. Исторический аспект исследования областной лексики, сравнение современных диалектных данных с данными древнерусского языка по памятникам письменности принят в рецензируемых сборниках как основной метод исследования. Здесь следует особо остановиться на статьях, посвященных местной лексике в памятниках письменности. Вопрос о роли диалектов в развитии общенародного языка на разных его этапах относится к числу наименее разработанных в исторической лексикологии русского языка. В статьях Ф. П. Сороколетова «Диалектная лексика...», В. Я. Дерягина «Об употреблении диалектных слов в памятниках местной деловой письменности (слова *деревня*, *починок*, *подворье*, *двор* в важских актах XVII века)» (№ 3), Н. С. Котковой «Из истории русских терминов полеводства» (№ 4) и других рассматриваются слова и группы диалектных слов на широком материале памятников древнерусского языка. Анализируя местную лексику, относящуюся к военной терминологии, Ф. П. Сороколетов указывает на социальные моменты, определявшие в XIV—XVI вв. формирование данной тематической группы слов.

Работа над областным словарем ставит его авторов перед трудностями, связанными с отграничением диалектной лексики от других пластов — лексики литературного языка, узкоспециальной терминологии, арготизмов и т. п. В статьях Л. И. Балахоновой «Диалектные по происхождению слова в современном литературном языке» (№ 2), Е. Н. Этерлей «К вопросу о взаимоотношении литературного языка и диалектов. *Гнус*» (№ 3), Н. В. Поповой «О диалектизмах и иных стилистически окрашенных словах в „Записках охотника Восточной Сибири“ А. А. Черкасова и их отражение в толковых словарях русского литературного языка» (№ 4) на примере истории отдельных слов и тематических групп лексики прослеживаются различные пути вхождения диалектных слов в литературный язык.

В статьях В. Д. Бондалетова «Арготическая лексика в диалектологических словарях русского языка» (№ 2) и Н. В. Поповой «Элементы арго в областном словаре» (№ 1) нашел свое отражение вопрос о взаимодействии арготической и диалектной лексики. Создатели сводного Словаря русских народных говоров не включают в него слова условно-профессиональных арго. Однако вопрос об отграничении собственно диалектизмов от арготизмов принадлежит к числу очень сложных из-за слабой изученности социальных диалектов и арго. Статья В. Д. Бондалетова, насыщенная богатейшими материалами по арготической лексике, оказывает неоценимую практическую помощь составителям областных словарей в деле отграничения собственно диалектных слов от «ложных диалектизмов» — арготических слов, условной лексики ремесленников и торговцев-отходников старой деревни.

Область сравнительно-исторического изучения русской диалектной лексики до сих пор остается малоисследованной. Ряд статей рецензируе-

мых сборников посвящен разработке вопроса о взаимодействии диалектной лексики с церковнославянской и с лексикой восточно-славянских языков, в частности, с белорусской.

В процессе формирования диалектных лексических систем существенную роль играло воздействие на русские диалекты памятников древнерусской и старорусской письменности, в том числе и церковной. А. И. Попов в статье «Некоторые вопросы и задачи исследования лексики русских говоров» (№ 1) указывает в частности, что важную роль в распространении церковнославянских и старописьменных языковых элементов в народных говорах сыграли старообрядцы Севера и Северо-Запада Руси, которые с давних пор являлись обладателями старинного культурного наследия в виде рукописей и старопечатных книг (стр. 7—8). Знакомство носителей диалекта с этими книгами до сих пор, как отмечает А. И. Попов, «поддерживает или обновляет применение некоторых древнерусских и церковнославянских лексических данных, которые... могут быть признаны диалектизмами, внедрившимися в говор, так сказать, на литературной основе» (стр. 8). Одним из очевидных путей проникновения церковнославянизмов в народные говоры является внедрение в бытовую речь устойчивых оборотов из церковной письменности (*благое дело* и под.) (О. Г. Порохова, «Из истории лексики...», стр. 192). Однако взаимодействие «церковнославянских» и исконно русских элементов в лексике русских народных говоров не ограничивается внешними путями проникновения славянизмов в говоры. Подтверждением этого служат насыщенные богатыми материалами статьи О. Г. Пороховой о лексике с полногласием и неполногласием (кроме названной, см.: «О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. I. Варьирование», № 3; «О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. II. Слова с корнем *град-* и *город-*», № 4) и П. И. Павленко о словах с приставкой *воз-* в русских народных говорах («Слова с приставкой *воз-* в русских народных говорах», № 3; «Глаголы с приставкой *воз-* в русских народных говорах», № 3; «К вопросу об употреблении слов с приставкой *воз-* в русских народных говорах», № 4).

Неполногласные образования отнюдь не чужды русским диалектам и могут принадлежать там к словам нейтрального лексического пласта. Наблюдения над словообразовательной активностью основ с неполногласием в говорах (ср. приводимые О. Г. Пороховой образования с основой *слад-*: *сладѐха*, *сластёжничать*, *сластовéнь*, *услади́ть*, *сладу́щий*, *сладчи́ть* и др.), а также над более свободным стилистическим и семантическим применением неполногласных образований в говорах по сравнению с литературным языком помогут решению сложного и спорного вопроса о том, как и когда лексика с неполногласием появляется в русских говорах.

Богатый материал, приводимый П. И. Павленко, дает основание пересмотреть мнение о том, что большая часть слов с приставкой *воз-* в русском языке относится к категории книжных, торжественных. Если словообразовательные возможности приставки *воз-* иссякли в современном литературном языке, если большинство слов с этой приставкой в нем является книжным, то в русских народных говорах дело обстоит иначе.

Взаимодействие диалектов русского и белорусского языков прослеживается в статье И. С. Козырева «Развитие и соотношение областной и литературной лексики со значением „внезапно“ в русском и белорусском языках» (№ 2). В результате сравнительно-исторического анализа группы наречий со значением «внезапно» автор приходит к выводу о том, что «данный лексико-семантический ряд русского литературного языка почти полностью отличается от соответствующего лексико-семантического ряда белорусского литературного языка»; с другой стороны, лексика рассматри-

ваемой группы в русских говорах имеет «много общих и сходных компонентов с лексикой белорусских говоров» (стр. 116). Это дает основание автору отметить, что исследованная им группа наречий в русском и белорусском литературных языках «развивалась самобытными путями» (стр. 125), в то время как в процессе формирования говоров на западе древнерусской территории возникла общая белорусско-русская диалектная зона.

Русские народные говоры в силу гигантских размеров территории и разнообразия контактов с другими языками отличаются чрезвычайной пестротой иноязычных вкраплений в говоры, что усложняет задачи исследования диалектной лексики. Проблеме заимствований из разных языков в русских говорах и путей их усвоения посвящены статьи Г. Н. Асланова «Лексические заимствования из азербайджанского языка, связанные с названием одежды, в русских говорах на территории Азербайджанской ССР» (№ 2), Л. И. Балахоновой «К истории слова *инжир* в русском языке» (№ 3), А. И. Федорова «Освоение заимствованных слов в севернорусских говорах» (№ 3), А. И. Попова «Русские народные говоры и влияние иноязычных соседей (этимологические этюды)» (№ 4), В. Я. Дерягина и Л. П. Комягиной «Из истории и географии финно-угорских заимствований в севернорусских говорах» (№ 4). Попутно с другими проблемами взаимодействие русской диалектной лексики с иноязычным окружением затрагивается и в других статьях. А. И. Попов на примере истории ряда диалектных слов показывает роль субстрата (в частности, на Севере — финно-угорского) в формировании лексической системы русских говоров («Некоторые вопросы и задачи исследования лексики русских говоров», № 1). Пристальное изучение разнообразных путей распространения иноязычных слов в русских говорах позволило А. И. Попову внести ряд уточнений и высказать интересные соображения по поводу этимологии слов *тундра*, *ко́рба* «чаща», *арма́й* «буян; беспокойный человек», *выть* и др. А. И. Попов отмечает также факты сложного взаимодействия и взаимопроникновения лексических элементов русских диалектов, с одной стороны, и прибалтийско-финских и карело-финских, с другой.

Установление ареала заимствованной и субстратной диалектной лексики может внести существенные уточнения в древнюю языковую и этническую историю. Поэтому в статьях о иноязычной лексике в говорах указывается на важность построения изоглосс заимствований (А. И. Попов, Некоторые вопросы..., стр. 11; В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина, Из истории и географии.., стр. 32). Представляются интересными карты распространения отдельных слов, их вариантов и значений в русских говорах Архангельской области (В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина, Из истории и географии.., стр. 35, 38, 41 и др.). Ареалы этих слов позволяют авторам уже сейчас сделать выводы о конкретных путях проникновения восточнофинских заимствований в говоры русского Севера.

В статье Г. Н. Асланова, построенной на материалах ряда экспедиций (с 1954 г.) в русские поселения на территории Азербайджана, рассматриваются тюркские заимствования в русских говорах, которые находились в непосредственном контакте с азербайджанским языком около 150 лет. Приводимый автором материал по лексике названий одежды в русских говорах на территории Азербайджана вносит коррективы в историю и этимологию ряда заимствованных русским языком тюркизмов (*архалу́к*, *башлы́к*, *папа́х* и *папа́ха*, *чу́ха* «род верхней мужской одежды» и др.). А. И. Федоров, показывая, как в беломорских говорах происходило освоение иноязычных слов *ку́рья* «речная заводь», *пу́дас* «рукав реки», *ня́ша* «грязь», *ла́мба* «небольшое озеро» и др., отмечает, что это дает возможность не только уточнить источник заимствования, но и выяснить фонетические, морфологические и семантические внутрисистемные закономерности диалекта.

Внутридиалектные лексико-семантические процессы являются предметом рассмотрения многих статей сборников. Ф.П. Филин в статье «О лексикализированных фонетико-морфологических вариантах слов в русских говорах» (№ 1) обращает внимание на совсем неисследованное явление диалектной речи — лексикализацию фонетических и морфологических вариантов слов. «Обычно незакономерные фонетические и морфологические особенности слов, ввиду того что они выпадают из фонетической и морфологической систем языка (диалекта), называют лексикализированными, а сам процесс перевода живого закономерного явления в отмершее, разрушающееся или вовсе разрушенное и сохранившееся только в отдельных, пережиточных примерах,— лексикализацией. Указанные особенности, переставая быть элементами фонетической или морфологической системы, теряя свою регулярность, „растворяются“ в корнях слов, таким образом становясь элементами лексики» (стр. 27). В статье Ф. П. Филина впервые дается классификация лексикализированных вариантов слов в говорах. Многочисленные примеры случаев лексикализации, приводимые в статье, показывают, что лексикализированные варианты слов могут иметь разное происхождение и объяснение. Это могут быть «лексикализированные пережитки былых фонетических закономерностей и тенденций, развившихся в результате спонтанных изменений» (стр. 32) (ср. *увéсь* «весь», *оржанóй* и пр.), результаты ассимиляции и диссимиляции, отражения субстратных и суперстратных явлений (*тубóвый* «дубовый», *земья* «семья» и пр.) и т. п. Автор статьи подчеркивает особую важность учета всех явлений лексикализации при составлении областных словарей.

Вопросы лексикализации фонетико-морфологических вариантов слов рассматривает также О. Д. Кузнецова в статьях: «Слова с отпадением начальных гласных *а* и *о* в говорах русского языка» (№ 3), «Два случая лексикализации в говорах русского языка» (№ 4). Ее внимание привлекают редкие случаи лексикализированного изменения слов, возникающие на почве отпадения начального гласного звука, а также в результате выпадения безударного корневого гласного в слабой позиции.

Изучению внутренних лексико-семантических закономерностей в говорах посвящены статьи Е. П. Лупповой о предлогах [«К вопросу об употреблении предлога *по* в русских народных говорах (на материале говоров Кировской обл.)», № 2; «Двойные предлоги в русских народных говорах (на материале говоров Кировской обл.)», № 3], И. А. Попова о наречиях [«Сложные наречия в говорах русского языка», № 1, 2; «Наречия и наречные сочетания, соотносительные с формой винительного падежа с предлогом *в* (*во*), в русских говорах», № 3, 4], Е. Н. Этерлей о глаголах («К вопросу о видовой дифференциации русского глагола», № 4) и др. Различные лексико-грамматические классы слов рассматриваются, как правило, с позиций лексикографов. Составительский опыт показывает, что необходимы общие принципы и приемы разработки отдельных лексико-грамматических разрядов. В частности, нередко возникают трудности при разработке грамматических слов. Практика описания предлогов в Словаре русских народных говоров привела его составителей к выводу о том, что способ толкования диалектного употребления предлога через нахождение соответствия в литературном языке не оправдывает себя. Необходимо выделять те пласты слов, которые обладают способностью сочетаться с тем или иным предлогом, т. е. показывать диалектные фразеологические и устойчивые предложные сочетания (Н. В. Попова, «Трудности описания предлога в областном словаре (на примере предлога *в*)», № 3, стр. 110).

Серьезное внимание в сборниках уделяется диалектному словообразованию, прежде всего тем его разделам, которые до сих пор изучены слабо. Серию статей на эту тему предваряет статья О. Г. Пороховой «К исто-

рии изучения словообразования в русских народных говорах» (№ 1), представляющая собой критико-библиографический обзор работ по словообразованию в говорах. По существу изучение диалектного словообразования начато совсем недавно — с 50-х годов, однако за прошедшие 20 лет написаны десятки работ по словообразованию в говорах русского языка. Статьи в рецензируемых сборниках существенным образом дополняют этот список. Особенно много внимания в них уделяется аффиксальному словообразованию глаголов, существительных, а также других классов слов [4]. Обширные материалы картотеки Словаря русских народных говоров дают возможность внести существенные поправки и дополнения, касающиеся ареала того или иного явления словопроизводства.

Авторы сборников подчеркивают преемственность в исследовании русских диалектов, обращаясь к истории диалектной лексикологии и лексикографии. В статьях Л. И. Балахоновой «И. И. Срезневский как диалектолог» (№ 1) и А. Ф. Марецкой «Вопросы диалектной лексики в работах А. И. Соболевского» (№ 4) описывается научная деятельность крупнейших лексикологов прошлого И. И. Срезневского и А. И. Соболевского, уделявших много внимания изучению народной речи. В статье Л. И. Балахоновой «Грамматическая характеристика слов в первом сводном словаре русских народных говоров („Опыт областного великорусского словаря" 1852 г. и его „Дополнение" 1858 г.)» (№ 4) дан анализ способов грамматической характеристики в лексикографическом труде по русским диалектам середины прошлого века.

В некоторых статьях имеют место отдельные фактические неточности или недостаточно обоснованные частные выводы. В кратком обзоре нет необходимости останавливаться на них, так как они не снижают научной значимости и ценности сборников с целом. Не преувеличивая, можно сказать, что сборники знаменуют собой новый этап в изучении диалектной лексикологии, так как в них диалектные явлечия рассматриваются на всей обширной территории распространения русского языка.

Можно было бы пожелать авторскому коллективу больше внимания уделять таким разделам и проблемам диалектной лексикологии, как сравнительно-историческое изучение диалектной лексики и словообразования, лингвистическая география, этимология, диалектная стилистика, фразеология, словосложение и др. Несомненную пользу могли бы принести статьи этнографического характера, описывающие уходящие в прошлое реалии крестьянского быта.

Необходимо сохранить и продолжить хорошую традицию регулярного издания этих сборников. Стоит подумать и над увеличением их тиража. Интерес к русскому языку все возрастает, и такого рода издания нужны не только узкому кругу специалистов-диалектологов, но и всем, кто любит русский язык и стремится к всестороннему изучению его неисчислимых богатств. Однако издательство «Наука» сейчас печатает сборники очень небольшими тиражами.

---

[4] О. Д. Кузнецова, Глаголы с суффиксом *-ану* (*-ону-*) в говорах русского языка, № 1; ее же, Глаголы с приставкой *ува-* в говорах русского языка, № 2; Н. И. Андреева-Васина, Значения глагольной приставки *при-* в русских народных говорах и произведениях устного народного творчества, № 1; ее же, Вторичная приставка *при-* в русских народных говорах и в произведениях устного народного творчества, № 3; ее же, О некоторых особенностях диалектного словообразования (на материале глаголов с приставкой *при-*), № 4; В. И. Максимов, Некоторые особенности суффиксального образования названий животных в диалектах (на материале лексики псковских говоров), № 1; его же, Образования с экспрессивным суффиксом *-ин(а)* в русских народных говорах, № 4; см. также указанные выше статьи П. И. Павленко, И. А. Попова и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

Н. Д. АРУТЮНОВА

ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА И СЕМАНТИКИ В РАБОТАХ Ч. ФИЛЛМОРА

Статьи Ч. Филлмора, появляющиеся в печати с середины 60-х годов, привлекли к себе внимание не только сторонников теории порождающих грамматик, но и более широкие круги синтаксистов и лексикологов [1].

В предлагаемом ниже обзоре будет освещена только общелингвистическая часть концепции Ч. Филлмора [2]. Поскольку в теории порождающих грамматик исследования по синтаксису и семантике все больше сливаются в общем русле, идеи Филлмора одновременно относятся к этим двум аспектам языка.

В своих исследованиях Ч. Филлмор исходит из следующих общих предпосылок: 1) центрального положения синтаксиса в грамматике, вследствие чего формы слов определяются по отношению к синтаксическим понятиям, а не наоборот; 2) важности глубинных (скрытых, не имеющих непосредственной репрезентации) категорий [3].

Размышляя над «вечной» лингвистической проблемой соотношения формы и функции, Ч. Филлмор приходит к заключению, что «поверхностная» организация предложения и его «глубинная» (семантическая) структура асимметричны. В предложениях *The door will open* «Дверь откроется» и *The janitor will open the door* «Швейцар откроет дверь» существительное *the door* находится в одинаковом семантическом отношении к глаголу, хотя в первом предложении оно — подлежащее непереходного глагола, а во втором — дополнение переходного [4]. Желательно, поэтому, чтобы грамматика содержала набор синтаксико-семантических функций и правила их реализации в поверхностной структуре предложения. Как известно, Филлмор не является единственным лингвистом, попытавшимся определить синтаксические «амплуа», релевантные для смысла предложения. В последнее время за эту задачу брались многие авторы (А. Греймас, В. Г. Гак, Т. Б. Алисова и др.[5]). Семантические функции именных элементов

[1] Уже имеются грамматики, построенные по методу Ч. Филлмора. См., например: M. G o l d i n, Spanish case and function, Georgetown University press, 1968.

[2] Место работ Ч. Филлмора в развитии форм порождающей грамматики определено в рецензии Ю. С. Мартемьянова на самую обширную публикацию американского ученого «The case for case». См.: Ю. С. М а р т е м ь я н о в. Порождение предложений и исследование лексики, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 13, М., 1970. Ср. более скептическую оценку работ Ч. Филлмора, данную Р. Даферти: R. D o u g h e r t y, Recent studies on language universals, «Foundations of language», 6, 4, 1970. Об отношении Ч. Филлмора к некоторым задачам порождающей грамматики см.: Ch. F i l l m o r e, On generativity, «Working papers in linguistics», 6, Ohio State University, 1970.

[3] Ch. J. F i l l m o r e, The case for case, сб. «Universals in linguistic theory», New York, 1968, стр. 3.

[4] Ch. J. F i l l m o r e, Toward a modern theory of case, «Research foundation», 13, Ohio State University, 1966, стр. 4.

[5] Из недавних публикаций на эту тему см.: L. T h é b a n, Aspects nouveaux de la théorie de la syntaxe, «Revue roumaine de linguistique», XVI, 2, 1971. Л. Чебан выделяет шесть участников ситуации — трех активных и трех пассивных. Те и другие затем делятся на инициальные, медиальные и финальные актанты.

предложения частично отображены в обслуживающей их во флективных языках системе падежей. На эту последнюю и опирается Ч. Филлмор в поисках семантической модели предложения. «Падежные понятия,— пишет он,— охватывают набор универсальных, возможно, врожденных, концептов, в терминах которых человек судит о происходящих вокруг него событиях, о том, в частности, кто сделал нечто, с кем что-либо случилось и что от этого изменилось» [6]. Свою синтаксическую модель Филлмор так и называет «падежной грамматикой». Вполне естественно, что Филлмор отобрал лишь те падежные функции, которые определимы в семантических терминах. Так называемые грамматические падежи, соответствующие логико-коммуникативным позициям предложения, и в силу этого семантически неопределенные, Филлмор квалифицирует как «поверхностные» падежи [7]. Иначе говоря, денотативный (семантический) принцип описания предложения противопоставляется им логико-коммуникативной основе традиционного синтаксиса [8].

Здесь уместно сделать следующее сравнение. Сколь ни разительно отличается по своим задачам и методам теория порождающих грамматик от структурной лингвистики [9], путь, пройденный трансформационным синтаксисом, повторяет в общих чертах линию развития дескриптивной морфологии. Напомним, что морфема в ранних дескриптивных грамматиках изображалась в виде основного формального варианта, соответствующего данной функции, а грамматические правила констатировали условия ее преобразования в другие — дистрибутивно ограниченные — варианты, или алломорфы. В порождающем синтаксисе этому грамматическому жанру соответствует описание ядерных структур (основных формальных вариантов, выражающих данное значение) и правил их преобразования в производные, обычно дистрибутивно обусловленные, конструкции, варьирующиеся по форме, но не по значению. Позднее дескриптивная грамматика решительно отнесла понятие морфемы к значению, а понятие морфа— к ее формальным реализациям. Этой стадии в развитии дескриптивной морфологии как раз и соответствует синтаксическая теория Филлмора, в которой под падежом подразумевается «чистая» функция, а грамматика строится как набор правил поверхностной реализации падежных значений.

Проведенная параллель свидетельствует о том, что развитие лингвистической мысли, движимое, как кажется, стремлением к все большей абстрактности грамматических единиц и конструкций, на самом деле идет путем их постепенного освобождения от признаков формы и переноса центра тяжести на функцию, т. е. в конечном итоге к построению грамматики на семантической основе (мы сейчас отвлекаемся от возможных различий в понимании категории значения). Подобной эволюции, стимулированной общей асимметрией структуры языка, не избежали и лингвистические школы, характеризуемые крайним формализмом в постановке своих задач.

Модель Филлмора применяется к «предметному» (денотативному) аспекту предложения, или пропозиции. «В основной структуре языка,— пишет Филлмор,— мы обнаруживаем то, что можно назвать пропозицией,

---

[6] Ch. F i l l m o r e, The case for case, стр. 24. См.: е г о ж е, Subjects, speakers, and roles, «Working papers in linguistics», 4, Ohio State University, 1970, стр. 50.

[7] Ch. F i l l m o r e, Toward..., стр. 4.

[8] Подробнее об этом см.: Н. Д. А р у т ю н о в а, О номинативной и коммуникативной моделях предложения, ИАН ОЛЯ, 1972, 1.

[9] Сущность этого различия состоит в том, что структурная лингвистика подходит к языку как к семиологической системе, а теория порождающих грамматик относится к своему объекту прежде всего как к виду регламентированной (подчиненной определенным правилам) деятельности, чем определяется ее интерес к речи, узусу, реальной коммуникации и ее целям.

т. е. вневременной набор отношений между глаголами и именами... в отвлечении от модального конституента»[10]. Если в трансформационных грамматиках было принято начинать синтаксический анализ с деления предложения на глагольную и именную фразы ($S \rightarrow NP + VP$), то Филлмор прежде всего расчленяет высказывание на модус и пропозицию ($S \rightarrow M + P$). Оставив в стороне модальный компонент предложения, Филлмор приступает к анализу пропозиции. Последняя состоит из глагольного ядра и семантически равноправных именных спутников, или аргументов, охарактеризованных по их роли относительно предиката, или, в терминологии Филлмора, по «глубинному падежу». Падежи семантически элементарны и дальнейшему анализу не подлежат. Каждый падеж имеет одно вхождение в структуру высказывания (one-instance-per-clause principle)[11]. В именной рамке глагола могут быть выделены обязательные и факультативные падежи. Значение глагола определяется тем, в какие падежные окружения он способен входить. Синтаксические «амплуа», в терминах которых следует описывать предложение, в первом варианте (1966) сводились к эргативу, агентиву, дативу, комитативу и инструменталю[12]. В обстоятельной статье «The case for case» дается уже несколько иной список ролей: агентив (A) — одушевленный возбудитель действия, датив (D) — лицо, затронутое состоянием или действием, инструменталь (I) — неодушевленная сила или предмет, вовлеченный в действие, фактитив (F) — предмет или существо, возникающее в результате действия, локатив (L) — место действия или его пространственная ориентация, объектив (O) — предмет, затрагиваемый действием (в первом варианте это амплуа называлось эргативом). Объектив представляет собой наиболее нейтральный падеж, функция которого прямо зависит от семантики глагола[13]. В версии 1969 г. структура пропозиции опять видоизменяется. Агентиву теперь противопоставлен контр-агентив — сила, мешающая действию, фактитив заменен результативом, датив фигурирует под символом E (experiencer — субъект восприятия)[14]. В 1971 г. Филлмор писал, что хотел бы удовлетвориться падежами агента, субъекта восприятия, инструмента, объекта, источника, цели, места и времени[15]. Комплект падежных функций, таким образом, не стабилен. Здесь нет возможности подробно анализировать систему универсальных синтаксических ролей, предложенную Филлмором. Поэтому ограничимся немногими соображениями.

Выявление семантически элементарных функций аргументов возможно только в рамках семантически простой пропозиции, состоящей из однособытийного глагола и предметных актантов. Филлмор в сущности строит здание падежной грамматики, не укрепив его фундамент, т. е. не определив признаков элементарной пропозиции. Так, например, он должным образом не разграничивает семантически простые (предметные) аргументы и аргументы, обозначающие события, такие, как *noise*, *accident* и др. Семантическая производность именного члена предложения не всегда столь очевидна, как в приведенных примерах. В качестве эквивалента событийного имени могут выступать предметные существительные (обычно назва-

[10] Ch. F i l l m o r e, The case for case, стр. 23.

[11] Принцип «разового вхождения» и его импликации обсуждаются Филлмором в ст. «Some problems for case grammar», «Monograph series on languages and linguistics», 24, Georgetown, 1971, стр. 39.

[12] Ch. F i l l m o r e, Toward..., стр. 8—9.

[13] Ch. F i l l m o r e, The case for case, стр. 24—25.

[14] Ch. F i l l m o r e, Types of lexical information, в кн.: «Studies in syntax and semantics», Dordrecht, 1969, стр. 116.

[15] Ch. F i l l m o r e, Some problems for case grammar, где обсуждаются также возможные «кандидаты в падежи», такие, как force — неодушевленная сила, benefactive — лицо, в пользу которого совершается действие, path — путь.

ния лица). В предложении *Этот человек поразил* (*огорчил*, *обрадовал* и т. п.) *его* существительное *человек* указывает на действия, поступки или признаки лица и может быть заменено такими перифразами, как *поведение этого человека*, *вид этого человека*, *слова этого человека* и т. п. Подобные подстановки невозможны в семантически простых предложениях, таких, как *Этот человек ест яблоко* [16]. Без ясного разграничения предметных и событийных аргументов невозможна семантико-синтаксическая характеристика глаголов, к которой стремится Филлмор.

Недостаточная определенность и эксплицитность принципов отождествления падежей представляет собой другой пробел в теории Филлмора. Большей частью Филлмор стремится опереться на наши представления об обозначаемой предложением ситуации. Такая опора, однако, ненадежна. Это хорошо видно на примере ситуаций «сделок» и «передач». Основанием для выбора агента считается в этом случае признак наибольшей активности. Но разве можно установить, кто из двух участников операции — продающий или приобретающий — проявляет больше энергии, чтобы добиться осуществления сделки? Мы уже не говорим о деликатности этого вопроса по отношению к другим двухагентным ситуациям, таким, например, как ситуация женитьбы. Предложение *Билл наконец женился на Мэри* обычно намекает на целеустремленность *Мэри*, хотя непосредственным предметом сообщения является акт, совершенный Биллом.

Роль агента органически связана с понятием главного действующего лица и не определима путем апелляции к обозначаемому событию. Подобно тому, как героем пьесы может, по замыслу автора, оказаться лицо весьма бездеятельное, протагонистом той драмы в миниатюре, которую отображает предложение, может быть пассивный субъект, поставленный волею говорящего в центр события. Наличие в языках глаголов-конверсивов (*продавать — покупать*, *передавать — получать*) позволяет менять героя при сообщении об одном и том же факте, разные стороны которого вводятся в фокус коммуникации. Глагол *продавать* предполагает наличие покупателя, но фиксирует внимание на продающем, а глагол *покупать*, напротив, предполагая наличие продающего, обращает внимание на акт приобретения.

Это вскоре понял и Ч. Филлмор. Считая нецелесообразным расчленять ситуацию «сделок» на акт продажи и акт покупки, он признал, что «купля-продажа» допускает изображение с точки зрения любого из двух ее участников. Филлмор представляет их деятельность на двух уровнях: на более низком уровне речь идет о ролях «потребителя» и «продавца», или шире, «источника» и «цели», а на более высоком — о функции агента действия, соответствующей субъектам глаголов *продавать*, *учить*, *сообщать*, *покупать*, *учиться*, *узнавать* и т. п. [17]. Таким образом, падеж агента, не определимый в семантических терминах, утратил элементарность, чем был нарушен замысел падежной грамматики.

Итак, если нетрудно произвести отождествление семантической функции аргументов, когда меняется лишь актантная конфигурация и форма предиката (ср. пассивные и каузативные преобразования), но не его лексическое значение, то эта задача осложняется, когда роль того или другого актанта «врастает» в лексическое содержание глагола (ср. конверсивы и т. п.). Уже глаголы с подвижной падежной рамкой (типа англ. *to open*, *to break*) ставят перед исследователем известные трудности.

---

[16] Z. V e n d l e r, Linguistics in philosophy, Ithaca, 1967, стр. 154, 159.

[17] Ch. F i l l m o r e, Subjects..., стр. 51; е г о ж е, Types..., стр. 17—18. Другие вопросы, связанные с идентификацией агента действия, обсуждаются Ч. Филлмором в ст. «Some problems for case grammar», стр. 43 и сл.

Здесь мы подходим к вопросу о соотношении функций актантов и того действия, в которое они вовлечены. Филлмор ищет путь к изучению семантики глагола в определении сочетающихся с ним «глубинных падежей». Между тем, для того чтобы установить роли непосредственных участников ситуации, необходимо иметь сведения о значении глагола. Противопоставление агентива и субъекта восприятия, например, связано с различением активных и стативных глаголов [18]. Эти «амплуа» несовместимы при одном простом предикате. Если бы в системе Филлмора присутствовало понятие позиции (пусть семантической), без которой невозможно различение и отождествление фактов языка, то ему, по-видимому, пришлось бы считать агентив и субъект восприятия комбинаторными вариантами одного амплуа, а соответствующее семантическое различие отнести к значению глагола. Итак, в предложенный Филлмором актантный комплект вошли функции, соотносительные с одной семантической позицией, что столь же мало естественно, как если бы в одной трагедии Шекспира участвовали Отелло и Гамлет.

Резюмируем сказанное. Падежная грамматика Филлмора столкнулась с трудностями двух родов. Одни из них обусловлены необходимостью определения и выявления элементарной пропозиции, другие вызваны задачей идентификации и дифференциации семантических функций аргументов при разных по значению предикатах. Эти проблемы неразрешимы на референтном уровне анализа, которого придерживается Филлмор. В более поздней публикации, он, впрочем, уже ищет точку опоры при идентификации падежей в принципе дополнительности («те, кому более 40,— пишет Ч. Филлмор, вероятно, еще помнят этот термин»). Применение дистрибутивного критерия позволило, например, подвести под понятия «источника» и «цели» аргументы, обозначающие «старт» и «финиш» при глаголах движения, исходное и результирующее состояние при глаголах изменения состояния, а также начальное и конечное время при глаголах со значением временной протяженности. Став на путь структурного анализа, Филлмор отдалился от денотативных тождеств. Он, например, идентифицирует аргументы в таких предложениях, как *Билл проделал путь от вершины холма до ворот кладбища* и *Билл превратился из заморыша в знаменитого футболиста* [19]. Едва ли естественно думать, что *вершина холма* и *заморыш* (соответственно *ворота кладбища* и *знаменитый футболист*) играют в описываемых ситуациях одинаковые роли. Мы уже не говорим о том, что в первом предложении аргументы обозначают предметы, а во втором представляют собой предикаты, то есть употреблены нереферентно.

Все сказанное наводит на мысль о том, что если возможно выделить набор денотативных (семантических) функций в предложениях с синонимичными или семантически однородными предикатами [20], то едва ли воз-

---

[18] G. L a k o f f, Irregularity in syntax, New York, 1970, стр. 115 и сл. Первая публикация Лакова на эту тему относится к 1966 г.; J. E. M i l l e r, Stative verbs in Russian, «Foundations of language», 6, 4, 1970. Дж. Миллер считает, что функции аргументов прямо обусловлены значением управляющего ими глагола. Об отношении системы синтаксических ролей Филлмора к теории активных и стативных предикатов см.: Gr. L e e, Subjects and agents, «Working papers in linguistics, 7, Ohio State University, 1971; M. C l a r k, The case against stative, «Working papers in linguistics», 10, Ohio State University, 1971.

[19] Ch. F i l l m o r e, Some problems for case grammar, стр. 40—42.

[20] Эффективность подобного анализа была блестяще показана Ч. Филлмором на примере глаголов оценочного суждения и физического контакта. См.: Ch. F i l l m o r e, Verbs of judging: an exercise in semantic description, в кн.: «Studies in linguistic semantics», ed. by Ch. Fillmore, D. Langendoen, New York, 1971; е г о ж е, Грамматика употребления глаголов *hit* и *break*, в кн.: «Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики», 16, М., 1970.

можно создать универсальную систему семантических амплуа, приложимую к высказываниям любой семантики.

Во второй части падежной грамматики описываются механизмы, обеспечивающие выбор «открытых» (overt) падежей для выражения семантических функций, т. е. процессы перехода от глубинных структур к их поверхностным реализациям. Сюда относятся: правила топикализации (определения темы сообщения), субъективации (выбора подлежащего), объективации (выбора прямого дополнения), правила выбора предлога или предложно-падежной формы, регламентация линейного порядка, номинализация предложений и т. п. Порядок выбора падежей для замещения синтаксических позиций обнаруживает их иерархическую организацию. Самым высоким рангом обладает падеж, которому отдается предпочтение при замещении позиции подлежащего [21].

Сравнивая предложения, восходящие к одной семантической модели, Филлмор обращает особое внимание на явление конверсии аргументов, которая возможна не только у двухместных, но и у многоместных предикатов. Ср., например, конверсию отношений между прямым и косвенным дополнениями: *Harvey robs John of roses — Harvey steals roses from John*; *Harvey blamed his failures on Mary — Harvey blamed Mary for his failures* [22]. Важно отметить, что Филлмор рассматривает явление конверсии именных членов предложения в связи с осуществляемой ими референцией (отнесением к денотату). В частности, интересны его наблюдения над поведением некоторых кванторов (например, *every*) при изменении позиций имен [23]. Изучая конверсию аргументов, Филлмор привлекает внимание к возможным различиям в логической характеристике пропозиций. Так, предложения, выражающие аналитические (в логическом смысле) суждения, утрачивают это свойство при обращении в пассив: высказывание *Pianists play pianos* — аналитично, а соответствующая ему пассивная форма *Pianos are played by pianists* — синтетична (в логическом смысле) [24].

Как уже упоминалось, глубинная синтаксическая структура, по Филлмору, универсальна и типологические различия между языками сосредоточены в способах ее поверхностной реализации. Для выявления синтаксической типологии языков пропозициональное ядро предложения может быть ограничено двумя падежами — агентивом и объективом, образующими три возможные падежные рамки глагола: 1) $V — A$, 2) $V — OA$, 3) $V — O$. Языки различаются между собой прежде всего тем, как в них оформлены эти фундаментальные синтаксические структуры. В некоторых языках объектив и агентив никогда формально не отличимы друг от друга. Есть языки, в которых особую форму имеет только объектив в сочетании с транзитивным глаголом. В других языках, наоборот, особо отмечен агентив при переходном глаголе. Это так называемые эргативные языки. В ряде языков агентив и объектив всегда имеют разную форму. Наконец, существуют языки, в которых A и O, не различаясь между собой при одноместных предикатах, оформляются по-разному в сочетании с переходными глаголами [25].

---

[21] Ch. F i l l m o r e, Some problems for case grammar, стр. 37.

[22] Ch. F i l l m o r e, Lexical entries for verbs, «Foundations of language», IV, 4, 1968, стр. 376—377.

[23] Ch. F i l l m o r e, Subjects..., стр. 49. Проблема влияния синтаксических преобразований на референцию имен обсуждалась в ряде работ, среди которых есть и монографические исследования. См.: B. L. R o b b i n s, The definite article in English transformations, The Hague — Paris, 1968.

[24] Ch. F i l l m o r e, Subjects..., стр. 33.

[25] Ch. F i l l m o r e, The case for case, стр. 53—55; на стр. 52 перечисляются другие параметры, существенные для типологической характеристики языков в области синтаксиса.

Выше были охарактеризованы идеи Ч. Филлмора, касающиеся собственно синтаксиса. Теперь остановимся на его исследованиях в сфере синтаксической и лексической семантики. Анализ значения предложения производится Филлмором с позиций так называемой интерпретативной семантики и формулируется в виде набора правил. Филлмор широко применяет при этом правила логического следования (entailment rules). Понятие логического следования не получает, впрочем, в его работах четкого определения и нередко смешивается с понятием пресуппозиции [26]. Оставляя в стороне вопросы терминологии и разграничения разных типов логических отношений между предложениями, мы хотим подчеркнуть, что Филлмор подтвердил эффективность использования логических правил в описании предложений, включающих слова, которые удобно обозначить термином «коннотативный предикат» (*даже*, *еще*, *только*, *также*, *уже* и т. п.) и которые в последнее время привлекают к себе внимание логиков и семасиологов. Филлмор разлагает значение подобных предложений на две семантически простых пропозиции, одна из которых передает основное информативное содержание высказывания, а другая эксплицирует коннотативное значение. Так, смысл предложения *Джон даже выше, чем Билл* сводится к следующим двум пропозициям: 1) Джон выше Билла, 2) Билл высок. Последняя включает реляционное понятие («высок») и должна прочитываться как «Билл выше нормы». Филлмор применяет логические правила также к интерпретации условных и уступительно-условных предложений, некоторых конструкций с предлогом *for* (*she is smart for a girl*) [27], предложений, включающих в свое значение дейксис, в частности высказываний с глаголами *to go*, *to come*, *to take*, *to bring* [28].

Ч.Филлмор одним из первых обратил внимание на необходимость различения коммуникативно существенных компонентов значения слова и пресуппозиций, обеспечивающих правильное отнесение имени к референту, но не входящих в утверждаемое. Из четырех компонентов, образующих значение слова *холостяк*,— 1) человек, 2) взрослый, 3) мужского пола, 4) не состоящий и никогда не состоявший в браке — только последний обладает коммуникативной релевантностью, только он один подвергается воздействию отрицания. Так, в предложении *Джон не холостяк* не отвергается тот факт, что Джон взрослый мужчина. В нем отрицается только то, что он не женат. Коммуникативное содержание лексических единиц может быть отделено от коммуникативно нерелевантных компонентов только при изучении употребления слова в предикативной функции, осуществляющей задачу сообщения (а не в функции идентификации темы сообщения) [29]. Коммуникативный подход к значению лексических единиц вносит тем самым уточнение в методику лексико-семантических исследований.

---

[26] В логико-лингвистической литературе этот термин употребляется в следующих значениях: 1) коммуникативно нерелевантные элементы значения слова и предложения (экзистенциальные пресуппозиции), 2) ситуативные условия, гарантирующие эффективность речевого акта (прагматические пресуппозиции), 3) обусловленность одного слова или предложения другим словом или предложением в тексте (синтагматические пресуппозиции), 4) побочные значения слова и предложения (коннотативные пресуппозиции), 5) представление говорящего о степени осведомленности адресата речи (коммуникативные пресуппозиции); 6) представление говорящих о естественных причинно-следственных, уступительных и т. п. отношениях между событиями (логические пресуппозиции).

[27] Ch. Fillmore, Entailment rules in a semantic theory, «Research foundation», 10, Ohio, 1965, стр. 68; 71—76.

[28] Ch. Fillmore, Deictic categories in the semantics of *come*, «Foundations of language», II, 2, 1966; специально о дейксисе см.: Ch. Fillmore, Toward a theory of deixis, «Working papers in linguistics», III, 4, 1971, University of Hawaii, Honolulu.

[29] Ch. Fillmore, Types..., стр. 123.

Обращение к коммуникативному аспекту языка при изучении лексической семантики является лейтмотивом отличного этюда Филлмора о значении глаголов оценочного суждения. Филлмор, в частности, показал присутствие в языках пар слов, различающихся распределением семантического содержания между пресуппозицией и утверждением. Именно этот признак определяет разницу в употреблении глаголов *обвинять* и *осуждать*. Пресуппозицию глагола *обвинять* составляет отрицательная оценка некоторого поступка, к области утверждаемого относится установление его «авторства» (ср. *Джон обвинил Мэри в написании статьи*). Используя глагол *осуждать*, говорящий, напротив, принимает как данное факт авторства и сообщает собеседнику о своей отрицательной оценке этого поступка (ср. *Джон осудил Мэри за написание статьи*) [30]. Эти слова, таким образом, совершенно аналогичны разным актуальным членениям одного предложения.

Заканчивая обзор публикаций Ч. Филлмора, по необходимости неполный, подчеркнем еще раз, что в них не только с большой ясностью очерчен круг проблем и понятий, характеризующих определенное направление современной лингвистики, близкое по своим интересам, задачам и методам к лингво- и логико-философским школам, но также обнаруживаются импульсы и тенденции в развитии лингвистической мысли в рамках указанного течения.

Особенно важно отметить, что в работах Филлмора, равно как и в работах близких ему по духу специалистов, можно встретить идеи, как бы идущие навстречу друг другу. Обращаясь к значению предложения, в анализе которого традиционно превалировал коммуникативный подход, Филлмор переносит акцент на денотативную семантику. Напротив, обращаясь к значению слова, Филлмор подчеркивает важность коммуникативного принципа анализа. В области синтаксиса Филлмор опирается на идею о том, что предложению, как и слову, свойственна денотативная функция. В области лексики Филлмор исходит из мысли о том, что значение предикативного слова соответствует его коммуникативной значимости, а не сумме семантических дифференциальных признаков, определяющих количество передаваемой им информации. Значение слов, специализирующихся на предикатной функции, тем самым приближается к значению предложения. Таким образом, Ч. Филлмор вносит в синтаксис идеи и методы лексикологии, а в лексикологию — некоторые понятия и принципы, характерные для синтаксиса.

---

[30] Ch. Fillmore, Types..., стр. 121—122; его же, Verbs of judging...; ср. S. Fillenbaum, A. Rapoport, Structures in subjective lexicon, New York — London, 1971, гл. X.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

РЕЦЕНЗИИ

«Энгельс и языкознание». — М., изд-во «Наука», 1972. 311 стр.

Рецензируемый коллективный труд, посвященный 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, представляет собой заметное явление в нашей лингвистической литературе по ряду причин. Во-первых, в этой книге большой коллектив авторов с единых позиций (несмотря на отдельные расхождения, которые мы ниже отметим) освещает несколько «энгельсовских тем», т. е. конкретных тем марксистской концепции языка. Коллективность подчеркивается оглавлением, в котором фамилии авторов даны лишь в скобках после названий статей. Во-вторых, этот сборник продолжает и дополняет серию общетеоретических исследований Института языкознания АН СССР, прежде всего книгу «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» (М., 1970) и коллективную монографию «Общее языкознание» (т. 1, М., 1970; т. 2, М., 1972; т. 3—в печати), И, в-третьих (что, может быть, самое характерное), сборник возобновляет традицию,— столь существенную для советской лингвистики 20, 30, 40-х годов,— подходить к методологическим и теоретическим проблемам языкознания на каждом новом этапе их исследования, непосредственно опираясь на положения диалектического материализма. Именно этот пункт, опуская детали, сами по себе интересные, но в данной связи все же второстепенные, мы и поставим в центр нашей рецензии.

Четыре статьи коллективного труда посвящены обзору взглядов Ф. Энгельса на проблему «язык и общество» во всей их конкретности: Р. А. Будагов «Ф. Энгельс и некоторые проблемы языкознания», Н. С. Чемоданов «Ф. Энгельс о социальной обусловленности языка», С. А. Миронов «Ф. Энгельс и изучение истории нидерландского языка», Г. А. Климов «Вопросы компаративистики в трудах Ф. Энгельса».

Понимание языка как продукта общественного развития явилось главным вкладом марксизма в теорию языкознания (Н. С. Чемоданов, стр. 21). С этим связано и новое понимание сущности человека как совокупности всех общественных отношений, т. е. как сущности социальной, и далее — материалистический подход к пониманию речевой деятельности индивида (Н. С. Чемоданов, стр. 22, 24). Эти положения лежат в основе конкретных языковедческих исследований Ф. Энгельса. Р. А. Будагов касается их в связи с вопросами: а) связи материи (субстанции) и отношения, б) соотношения системы и развития, в) взаимодействия языка и мышления. Н. С. Чемоданов показывает глубокую внутреннюю связь между названными им общефилософскими положениями и циклом работ Ф. Энгельса по проблемам этногонии и глоттогонии, которые венчает «Франкский диалект». С. А. Миронов начинает там, где кончает Н. С. Чемоданов, и прослеживает значение этой работы Ф. Энгельса для современной нидерландистики. Г. А. Климов самым детальным образом показывает отношение Ф. Энгельса к сравнительно-историческому языкознанию. Дальнейшее развитие науки о языке внесло существенные изменения в некоторые положения этой дисциплины, разделявшиеся Энгельсом, но, как правило, это были взгляды, стоявшие на переднем крае науки того времени: Ф. Энгельс и в этой конкретной области отстаивал принципы социально-исторического рассмотрения языка (Г. А. Климов, стр. 273).

Сказанное может служить, по-видимому, выводом и из всего этого раздела: марксистский подход к языку требует решать современные нам языковедческие проблемы так, как К. Маркс и Ф. Энгельс решали языковедческие проблемы своего времени.

Характерной чертой этих решений К. Маркса и Ф. Энгельса, как явствует из названных статей сборника, было то, что К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из четких философских положений и конкретизировали их применительно к языку. Таким образом, между общефилософскими тезисами и лингвистическими решениями у них всегда присутствовало срединное звено, которое можно назвать марксистской философией языка. Поэтому наличие в настоящем сборнике специального цикла статей, посвященных именно этим проб-

лемам, вполне оправдано и необходимо. Его образуют три статьи: Г. В. Колшанский «Проблема противоречий в структуре языка», Т. П. Ломтев «Внутренние противоречия как источник исторического развития структуры языка», В. М. Солнцев «Абстракции и проблема абстрактных сущностей в лингвистике».

Приходится признать, однако, что этот цикл наиболее спорен, хотя его недостатки объясняются скорее общей неразработанностью этого раздела в марксистской концепции языка. В самом деле, авторам (Г. В. Колшанскому и Т. П. Ломтеву) приходится рассуждать так: в марксистской философии имеется важнейшее положение о диалектических противоречиях как источнике развития всех явлений природы и общества, нужно подобрать что-либо в языке, что могло бы быть истолковано так же. Сомнительным кажется самый путь — «подбор» вместо открытия, да и результаты оказываются совершенно различными.

Г. В. Колшанский устанавливает «глобальное противоречие языка» как противоречие формы и содержания (стр. 40), при этом «под формой в языке понимается материальное бытие языка», т. е. его звуковая и графическая реализация (стр. 36), а под содержанием языка — мыслительная деятельность человека (понятия, суждения, умозаключения и т. д.) (стр. 37). Таким образом, предметом анализа в этой статье оказывается, вопреки ее названию, не язык, а комплексный объект «язык-мышление», понимаемый, по всей видимости, как некая самостоятельная система. Из этого совершенно логично вытекает, что «движущее начало этих противоречий выходит за рамки имманентной системы и вырастает вне сферы самого языка. В целом эту сферу мы обозначим как сферу познающего мышления» (стр. 41).

В статье Т. П. Ломтева «основным внутренним противоречием» называется противоречие «между наличными средствами данного языка и растущими потребностями обмена мыслями» (стр. 60). Согласно точке зрения автора, «данное понимание основного противоречия в развитии языка должно быть конкретизировано», и при этой конкретизации, в которой и заключается дальнейшее содержание исследования, фактически оказывается, что категория противоречия совпадает с категорией оппозиции в языке. В качестве описания оппозиций и корреляций восточнославянской системы падежей в ее развитии работа Т. П. Ломтева, безусловно, должна быть признана одной из лучших работ на эту тему. Но отождествление диалектического противоречия в языке с языковой оппозицией вряд ли удовлетворительно.

Как решение Г. В. Колшанского, так и решение Т. П. Ломтева, по-видимому, не учитывают современной разработки вопроса о диалектических противоречиях, в соответствии с которой «диалектическое противоречие не поддается непосредственному усмотрению в фундаменте бытия — путем построения онтологии» и формой его констатации является научная «содержательная антиномия, которую, в силу ее объективности, нельзя устранить никакими усовершенствованиями корректности изложения в пределах имеющегося знания» [1]. С этой точки зрения наиболее адекватной формой констатации диалектического противоречия в языке будут антиномии «означаемого и означающего» знака, «кода и текста» (соответственно «парадигматики и синтагматики»), «тождества и различия» (соответственно «синонимии и омонимии»), «синхронии и диахронии» и т. п., явившиеся результатом кропотливой исследовательской работы последних десятилетий [2].

Основное содержание статьи В. М. Солнцева по существу составляют яркие и неоднократно отмечавшиеся аналогии между различными типами определений фонемы, с одной стороны, и такими историко-философскими категориями, как «номинализм», «реализм» и т. п.,— с другой (хотя последние и не называются прямо в тексте статьи). Автор излагает свою точку зрения на этот вопрос и высказывает интересные соображения о соотношении инвариантов и вариантов, о способе наименования абстрактных лингвистических сущностей и др. Вместе с тем, некоторые выводы статьи с философской точки зрения, по-видимому, остаются дискуссионными. Например, «следует отдать предпочтение утверждению о том, что язык „как система“ состоит из материальных, а не абстрактных единиц. Эти материальные единицы объединяются в классы, „сокращенным“ обозначением которых являются абстрактные единицы» (стр. 105—106). Остается неясным, существуют ли, по мнению автора, «абстрактные единицы» как объективные единицы языка, или только как принцип упорядочения «конкретных» единиц, хотя и объективно обоснованный. Если (как, по-видимому, полагает В. М. Солнцев) «материальное» противопоставлять «абстрактному», то тогда «идеальное» должно противопоставляться «конкретному». Такая система противопоставлений остается неясным моментом в вопросе об абстрактных сущно-

[1] См. «Философская энциклопедия», 4, М., 1967, стр. 404.

[2] Ср.: E. Benveniste, Saussure après un demi-siècle, в кн.: E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966; «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Лексика современного русского литературного языка», под ред. М. В. Панова, М., 1968, стр. 23—24.

стях в лингвистике. Между тем, рассматриваемый в этой статье вопрос имеет и свою историю, и свою философию. Как известно, понимание фонемы как «удобного понятия для анализа», как «конструкта», как «операционной фикции» (В. Тводелл, С. К. Шаумян) соответствует «номинализму»; понимание фонемы как психической и психологической реальности (ранний Щерба, ранний Трубецкой) соответствует «концептуализму»; понимание фонемы как «семьи звуков», как «абстрактного звука» (Л. В. Щерба, Д. Джоунз) до некоторой степени соответствует «реализму» [3]. Эта история вопроса, как и удачные опыты синтеза учений о фонеме (например, С. И. Бернштейна [4]), скорее должны были бы ориентировать исследователя на проблематику единичного, особенного и всеобщего в ее философско-языковом преломлении.

Таким образом, в целом разбираемый раздел сборника характеризуется стремлением делать заключения от самых общих философских положений непосредственно к лингвистическим категориям, минуя срединную специальную область «философии языка», которая в ряде пунктов уже достаточно разработана.

Следующий цикл составляют статьи В. З. Панфилова «Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке», А. А. Леонтьева «Проблема глоттогенеза в современной науке» и В. И. Абаева «О родовых отношениях и терминах родства у осетин». Каждая из них представляет собой вполне законченное, хотя и небольшое по объему исследование, а весь цикл в целом освещает проблему глоттогенеза и становления внутренних категорий языка. Кроме того, эти статьи восполняют некоторые пробелы предыдущего цикла.

А. А. Леонтьев справедливо, с нашей точки зрения, подчеркивает, что в философской постановке проблемы глоттогенеза у К. Маркса и Ф. Энгельса «налицо единство трех сторон: специфики деятельности (отношение к природе), специфики общения (отношение друг к другу) и специфики сознания» (стр. 140). Отношение к сознанию, и у́же — мышлению, оказывается, таким образом, лишь одним из трех моментов в проблеме развития языка, и преувеличение этой стороны, заметное в предыдущих статьях сборника (ср. Р. А. Будагов, стр. 16—20; Т. П. Ломтев, стр. 60, 75; Г. В. Колшанский, стр. 41), благодаря этой констатации выправляется. А. А. Леонтьев показывает, что «развитие психики у первобытного человека ни в коем случае не может быть отождествлено с развитием мышления» (стр. 149 и сл.). Язык есть форма деятельности и общения прежде всего, и благодаря этому язык — самостоятельная семиотическая система особого рода, т. е. самостоятельной системой является язык, а не комплекс «язык — мышление», хотя теснейшая связь с мышлением несомненна. Следует все же заметить, что философская аргументация могла бы быть усилена ссылками на имеющиеся работы (или дискуссией с ними). Статья также выиграла бы, если бы ее автор уделил больше внимания лингвистическому аспекту проблемы.

В. З. Панфилов детально исследует закономерности и этапы развития категории количества, являющейся одной из наиболее абстрактных категорий мышления. Данные истории числительных и категории грамматического числа в языках различных типов, а также данные этнографии и детской психологии подтверждают положение Ф. Энгельса о том, что способность отвлекаться при рассмотрении предметов счета от всех свойств, кроме числа, «есть результат долгого, опирающегося на опыт, исторического развития». Чувственно-наглядный способ отражения количественной характеристики конкретных множеств предметов рассматривается автором не как начальная стадия ее развития, а как историческая предпосылка для ее возникновения. Большой и разнообразный языковой материал, приведенный автором, служит подтверждением положения о том, что категория количества является категорией абстрактного обобщенного мышления, а в языке выступает как классифицирующая категория, сходная с категориями именных классов. В этом отношении особенно поучительна система числительных в нивхском языке (см. заключительные таблицы на стр. 130—133). Таким образом, исследование В. З. Панфилова, имеющее и большое самостоятельное значение, убедительно подтверждает тезис об относительной самостоятельности системы языка при несомненной тесной ее связи с мышлением.

В сжатой, но очень четкой статье В. И. Абаева по данным осетинского языка, фольклора и этнографии прослеживаются черты социальной архаики, давно отошедшие в прошлое в живом быту. Тезис о том, что язык и фольклор могут хранить следы весьма древних социальных структур и служить, таким образом, ценным историческим источником, получает

[3] См., например: R. H. Robins, Aspects of prosodic analysis, сб. «Prosodic analysis», ed. by F. R. Palmer, London, 1970, стр. 188—200; О. В. Трахтенберг, Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, М., 1957, стр. 26—27; Д. П. Горский, Вопросы абстракции и образование понятий, М., 1961, стр. 9—79.

[4] С. И. Бернштейн. Основные понятия фонологии, ВЯ, 1962, 5; его же, Фонема, БСЭ, 45.

подтверждение на осетинском материале. Следует сказать, что в этом отношении язык, фольклор и этнография осетин обнаруживают разительное типологическое сходство с языком, фольклором и этнографией соседних народов, в частности кабардинцев, адыгейцев, абхазцев и абазинцев. Та часть статьи, которая касается терминов родства у осетин, отвечает одной из актуальных тем современного языкознания — социальному исследованию словаря, и существенно дополняет аналогичный раздел работы Э. Бенвениста [5].

Следует также сказать, что статьи В. З. Панфилова и В. И. Абаева удачно дополняют сборник еще в одном отношении. Напомним в этой связи замечательную мысль акад. Н. И. Конрада: «Мы прилагаем к оценке философских идей Востока обозначения, сложившиеся в философской науке у нас, в Европе, такие, например, как материализм, идеализм, рационализм, интуитивизм... и т. п., даже не подумав всерьез о том,— походят ли вообще эти обозначения к тому, что мы хотим обозначить ими; не лучше ли обратиться к тем обозначениям и характеристикам, которые выработаны научной мыслью там же — на Востоке; не соответствуют ли именно эти обозначения природе и содержанию обозначаемых ими явлений... Работу в этом направлении я и называю преодолением европоцентризма в науке (разрядка наша — *Ю. С., М. К.*), а такое преодоление считаю одной из самых важных в наше время задач науки о человеке и об обществе» [6]. Mutatis mutandis, сказанное Н. И. Конрадом, относится не только к философии, а и к лингвистике, в особенности к ее философскому разделу. Без материалов упомянутых статей сборник действительно имел бы легкий налет европоцентризма.

Четвертый цикл статей посвящен категории диалекта в разных исторических условиях. Его составляют работы А. В. Десницкой «К вопросу о языковых отношениях в родовом обществе», В. Н. Ярцевой «Соотношение территориальных диалектов в разных исторических условиях», М. М. Гухман «Взаимодействие диалектных ареалов и развитие наддиалектных форм в донациональный период (на материале германских языков)». Несмотря на некоторые расхождения в деталях, цикл образует большое внутреннее единство, и в нем, по существу, развито новое положение марксистской исторической социологии языка. В общей форме это положение можно было бы выразить так: диалект является основной формой, существования языка от периода общинно-родового строя до начала национального периода, формой, определяемой одновременно двумя рядами соотношений: рядом территориальным («горизонтальным») и рядом социально-иерархическим («вертикальным»), причем соотношение этих рядов исторически изменчиво. Это положение в дополнение к материалам сборника может быть подтверждено также данными русской диалектологии, ср., например, свидетельство Ф. П. Филина: «Большинство современного сельского населения (в России.— *Ю. С., М. К.*) говорит или на литературном языке или на своеобразных „койне", переходных от прежних диалектных систем к литературному языку» [7].

А. В. Десницкая, основываясь на работах Ф. Энгельса, рассматривает языковые процессы и типы языковых отношений, характерные для родового строя. Автор справедливо считает, что дальнейшая разработка теории обобщенных вариантов языка, возникших в условиях родового общества, открывает выход к изучению многих вопросов языковой истории, а именно: характер праязыков или праязыковых состояний, уточнение понятий «общий и единый язык народности» и т. д. Особенно интересны положения А. В. Десницкой о двух уровнях речи — верхнем, в котором воплощалось единство племенного диалекта как системы, и низшем, на котором возникала и распространялась вариативность (стр. 169). Вместе с тем, можно было бы, по-видимому, шире привлечь материалы советской лингвистики и этнографии 40—50-х годов, в частности, материалы гипотезы «языковой непрерывности» С. П. Толстова и дискуссии по ней [8], а также более новые данные [9]. В свете последних, свидетельства Миклухо-Маклая, упоминаемые на стр. 160, требуют более развернутой интерпретации, так как не вполне ясно, что наблюдал этот исследователь в Новой Гвинее — родственные диалекты или разные языки (сходная ситуация, по свидетельству Д. А. Ольдерогге, часто имеет место в современной Африке).

Полезно было бы усилить аргументацию и в пользу тезиса о «вертикальной

[5] E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1 — Économie, parenté, société, Paris, 1970, стр. 203—276.

[6] Н. И. Конрад, Запад и Восток, М., 1966, стр. 29—30.

[7] Сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 12.

[8] «Советская этнография», 1950, 4, стр. 15—23; 1951, 3.

[9] Ср.: Д. А. Ольдерогге, О некоторых этнолингвистических проблемах Африки, «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969.

иерархии» и хотя бы бегло охарактеризовать точки зрения А. Мейе, В. Пизани и Д. Девото [10].

В статье В. Н. Ярцевой на материале английских и кельтских диалектов Британских островов раскрывается особый, чрезвычайно интересный аспект диалектного варьирования — переход территориальных и временных диалектных различий в различия нормативно-иерархические. Статья, в особенности в ее кельтской части, вводит в наш научный обиход малоизвестный у нас материал и представляет собой по существу исследование, имеющее самостоятельное значение. Большой круг вопросов, относящихся к общей названной выше теме, исследуется в статье М. М. Гухман. Автор уточняет содержание самих понятий «диалект» и «наддиалектные формы языка» в связи с тем, что оба эти термина применяются недифференцированно к разным явлениям и языковым отношениям, сложившимся в разных условиях, и выделяет три исторических типа диалекта (диалект в условиях родоплеменного строя, диалект в эпоху образования древних и средневековых государств, диалект в период формирования национальных единств). Особое внимание уделяется становлению и развитию наддиалектных форм в донациональный период. Материал этой статьи показывает, насколько своеобразными могут быть пути сложения наддиалектных типов речи не только в истории разных языков, но и в разные периоды развития одного и того же языка. Очень интересны соображения М. М. Гухман о двойном статусе готского письменного языка — как языка межплеменного общения (в «горизонтальном» ряду) и как «особого религиозного койне германского мира» (в «вертикальном» ряду) (стр. 218—219).

Последний цикл образуют две статьи— С. Д. Кацнельсона «Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историко-лингвистических фактов» и Э. А. Макаева «О соотношении генетических и типологических критериев при установлении языкового родства». Э. А. Макаев, рассматривая известные опыты замены понятия генетического родства языков понятием типологического и ареального схождения (Н. С. Трубецкого, В. Пизани и др.), формулирует положение о том, что «типологические критерии не в состоянии ни заменить, ни отменить генетические критерии при установлении языкового родства; в данном вопросе именно последним всегда принадлежало и будет принадлежать решающее слово» (стр. 309); это положение автор ставит в связь с положением Ф. Энгельса об историческом развитии языков (стр. 306).

С. Д. Кацнельсон в своей статье рассматривает четыре примера системной реконструкции в языкознании, противопоставляя ее «атомарным», и в этом смысле несистемным, реконструкциям младограмматиков. Эти примеры таковы: 1) реконструкция праиндоевропейского вокализма Соссюром, 2) реконструкции балто-славянских акцентных систем, 3) современные реконструкции в сфере немецкой диалектологии, 4) реконструкции прошлого состояния диалектов в работе Ф. Энгельса «Франкский диалект». С. Д. Кацнельсон высказывает в этой связи ряд интересных соображений, например, положение о том, что при системной реконструкции движение начинается с наличных фактов и идет ретроспективно в глубь предыстории, в связи с чем бо́льшая или меньшая абсолютная древность зафиксированных фактов теряет значение (стр. 280, 285, 287). Однако, кроме этого момента, читателю трудно уловить какую-либо связь между четырьмя приведенными примерами, в особенности между работой Ф. Энгельса и тремя остальными реконструкциями. Из-за этого содержание статьи, само по себе интересное, оказывается мало связанным с энгельсовской темой сборника.

В целом, как мы стремились показать в кратком обзоре, отдельные частные разногласия между авторами или, с точки зрения рецензентов, пробелы в содержании являются гораздо менее значительными, чем внутреннее теоретическое единство этого подлинно энгельсовского сборника. Вместе с тем, сборник показывает, в каких отношениях предстоит особенно много сделать для раскрытия основ диалектико-материалистического подхода к языку.

Ю. С. Степанов, М. А. Кумахов

[10] Ср. также, например: J. Kuryłowicz, Indo-European metrical studies, «Poetics», Warszawa, 1961; Indogermanische Dichtersprache, hrsg. von R. Schmitt, Darmstadt, 1968.

В. М. Солнцев. **Язык как системно-структурное образование.** — М., изд-во «Наука», 1971. 292 стр.

В работе В. М. Солнцева подвергнуты последовательному и тщательному рассмотрению основные проблемы теории языка, взятые, главным образом, в их онтологическом аспекте. На первых же страницах книги автор формулирует свое понимание языка, считая, что «язык представляет собой функциональную материальную систему семиотического, или знакового, характера, функционирование которой и есть ее использование как средства общения» (стр. 4). Можно вполне согласиться с утверждением В. М. Солнцева, что XX в. в лингвистической науке ознаменовался пристальным вниманием к структурным характеристикам исследуемого объекта, а субстанциональные стороны этого последнего оказались, если не забытыми, то во всяком случае отодвинутыми на задний план. Автор книги справедливо считает, что именно идеи Ф. де Соссюра послужили исходным основанием для последующей абсолютизации понятия структуры и приравнивания структуры к самому объекту исследования.

Автор рецензируемой книги стремится сочетать анализ как структуры, так и материальной субстанции языка и для характеристики языка как целостного объекта обращается к общенаучным понятиям структуры и системы в соответствии с их определениями, имеющимися в советской философской литературе. Отмечая, что многие авторы употребляют термины «система» и «структура» как синонимы, а иногда определение системы языка у одного автора оказывается сходным с определением структуры языка у другого автора, В. М. Солнцев принимает положение, что «система есть целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных отношениях» (стр. 11). Отсюда следует, что структура является формой организации системы и определяется характером взаимоотношений элементов системы.

Хотя структура не может существовать вне субстанции или элементов системы, но она может быть абстрагирована от субстанции, поскольку, по мнению В. М. Солнцева, «структура есть объект минус составляющие его элементы, или система минус элементы системы» (стр. 26). Подобный подход к представлению о соотношении структуры и системы кажется вполне убедительным и плодотворным потому, что, не отрицая возможности построения из одних и тех же элементов разных систем (т. е. различного структурирования той или иной системы), автор работы показывает, что сами элементы структурно обусловлены и следует проводить различие между материальной субстанцией системы и элементами системы. Под материальной субстанцией языка В. М. Солнцев подразумевает звуки языка, иногда применяя также термин «звуковые волны» (см. на стр. 30: «Однако все языки имеют одну и ту же материальную субстанцию — звуковые волны»).

Стремясь уяснить механизм использования материальной звуковой субстанции в языке, автор книги оказывается перед вечной проблемой лингвистики — как связано звучание и значение и чем обусловлена их связь. При разрешении этого труднейшего вопроса теоретического языкознания В. М. Солнцев высказывает очень много интересных и правильных соображений, хотя, как нам кажется, полной ясности не достигает. В работе утверждается, что «материальная субстанция языка как вторичной материальной системы представлена звуковой материей» (стр. 41). Однако тут же автор книги оговаривается, что свести понятие субстанции в языке только к звуковой материи нельзя, так как «звуковая материя языка и материальные элементы языка важны для системы языка не столько в силу своих субстанциональных свойств (хотя эти свойства также играют роль в формировании системных отношений, т. е. структуры, по крайней мере на низшем — фонетико-фонологическом — уровне), сколько благодаря тому, что они (материальные элементы) служат средством закрепления некоторых идей и понятий, образующих идеальную систему» (стр. 43).

По мнению автора книги, «единство звукового (материального) элемента и значения (идеального элемента) образует специфическую единицу, или элемент языковой системы» (стр. 43). С этим утверждением вполне можно согласиться, но тогда становится неясным, какую роль играет «звуковая материя я з ы к а» (разрядка наша.— *В. Я.*). Никто не может сомневаться в правильности утверждения В. М. Солнцева, что звуковой элемент сам по себе вне значения и вне определенной функции не является единицей языка, но в таком случае не следует ставить знак равенства между «звуковой материей языка» и «материальными элементами языка» (см. выше цитату на стр. 43), тем более, что на стр. 42 автор книги утверждает, что субстанция в материальных системах существует в виде элементов. Принимая во внимание, что элементы эти — структурно-обусловленные величины (стр. 29), и, следовательно, нельзя их отождествлять с чисто физическими величинами — звуками, остается неясным вопрос, к а к физическая материальная область звуков приспосабливается для того, чтобы стать материальной субстанцией семиотической системы — языка. Путем наделения значением? Но это свойство двусторонней сущности —

элемента языковой системы. Путем структурирования? Но это тоже категория, принадлежащая элементам языка. Зато в работе В. М. Солнцева хорошо показано, п о ч е м у именно звуки используются для языка, относящегося к разряду вторичных материальных (семиотических) систем.

Автор доказывает, что сложная семантическая информация требует для своего выражения вообще сложной вторичной материальной системы. Высокая дифференцирующая способность звуковой материи и большое количество разнообразных комбинаций, которые могут быть образованы на основе звуковой материи, делают возможным в процессе функционирования языковой системы ее развитие и усложнение. Это проявляется и в сфере значимости (ценности) знака в семиотической системе. Полемизируя с Ф. де Соссюром, утверждавшим вторичность звуков для языка, В. М. Солнцев показывает, что «материальная определенность знака, сохраняющаяся во всех его вариантах, является основой его дифференцирующей способности» (стр. 117). Отсюда следует и важность звуковой материи для языка, так как «дифференцирующая способность языковых единиц зависит от качественной определенности их материальной субстанции» (там же).

Наиболее подробно разработан в рецензируемой книге вопрос о единицах языка. Основываясь на ленинской теории отражения, В. М. Солнцев сопоставляет свойства знака и свойства единиц языка и справедливо отмечает, что «знаковое использование» еще не превращает данный предмет в знак. Термин «знак» автор считает возможным прилагать только к тем предметам, которые обозначают другие предметы не в силу своих природных свойств (это будут лишь признаки других предметов), а в силу наделяемости в процессе своего функционального использования знаковостью с привнесением, следовательно, свойств конвенциональности. Сопоставление слова и знака приводит автора книги к заключению, что слово в целом не есть знак. Слово в определенном смысле мотивировано, потому что как единство звучания и значения слово связано через свое значение обязательной связью с тем или иным классом предметов или явлений. Поэтому, как пишет В. М. Солнцев, «свойством *условности* и *произвольности* обладает только звучание в слове, но не вторая сторона слова — значение — и не слово в целом» (стр. 110). Слово является единицей языка. Единицами языка являются также фонемы и морфемы. Возражая тем лингвистам, которые считают, что односторонность фонемы препятствует ее признанию как единицы языка, В. М. Солнцев справедливо замечает, что односторонность фонемы не лишает ее связи со смысловой стороной языка. Именно фонемы являются средством дифференциации смысла, фонемы, входя в состав языковых оболочек морфем и слов, участвуют в выражении смысла и поэтому в определенных условиях могут даже превращаться в двусторонние единицы (когда звуковая оболочка двусторонней единицы — морфемы или слова — сведена к одной фонеме).

Отличительной чертой творческой манеры автора книги является сочетание детального анализа разбираемых явлений языка с выделением и обобщением тех черт, которые оказываются в них сходными; поэтому четкость схемы описания фундаментальных категорий языка служит основой для формулирования многих наблюдений относительно того особенного, что свойственно конкретным языкам различных типов и что определяет своеобразие этих языков. Так, например, обращаясь к общей проблеме произвольности связи между знаком и означаемым (стр. 134—135), В. М. Солнцев указывает, что данное явление создает трудности для исследователей изолирующих языков при разграничении знаменательных и служебных элементов, так как в этих языках одни и те же знаки могут использоваться для выражения то знаменательного, то служебного (грамматического) значений.

Автор книги приходит к заключению, что произвольность знака и произвольность связи знака и означаемого реализуются в языках различного типа поразному и это должно быть учтено при анализе грамматического строя языков. Вопрос о варьировании морфемы (проблема морфов и алломорфов) актуален в первую очередь для флективных языков, которые характеризуются высокой степенью вариативности звуковой формы. Для языков изолирующего типа, в которых звуковой состав фиксируется в замкнутом количестве слогов и в которых морфологическое деление и слоговое деление совпадают по своим границам, вопрос о фонетическом варьировании морфем имеет не первостепенное значение. Отсюда следует, что и проблема отношения «морфема — морф» должна ставиться по-разному для флективных и изолирующих языков (стр. 35).

Интересно и правильно В. М. Солнцев решает проблему отношения общего и особенного в языке, к которой он подходит в ряде мест своей книги. Рассматривая вопрос о варианте и инварианте, он пишет: «Инвариант и вариант представляют собой две характеристики предмета или явления, входящего в некоторый класс. Свойство инвариантности характеризует то общее, что есть у данного единичного предмета с другими ему подобными. Вариантность характеризует то особенное, что есть только у данного предмета в отличие от других ему подобных, с которыми он связан через свои инвариантные свойства. Инвариантные свойства пред-

мета представляют собой основу конструирования идеального предмета, в котором сняты вариантные черты» (стр. 217).

Из этого рассуждения логически следует, что вариант и инвариант принципиально негомогенные объекты, так как каждый предмет из ряда составляющих данный класс является вариантом по отношению к другому предмету, даже если по тем или иным соображениям этот предмет будет избран как некий эталон, или представитель данного класса предметов. Абстрактный предмет как инвариант гомогенен с конкретным предметом-вариантом лишь в том смысле, что он как бы вбирает в себя те общие черты, которые существуют в каждом отдельном конкретном предмете данного класса. Поэтому В. М. Солнцев приходит к правильному выводу, что «инвариантность существует в предмете как общее в отдельном. Инвариантность и вариантность суть две стороны одного предмета» (стр. 218). Автор книги отдает дань общепринятому сейчас положению о системности языка, но ценным является то, что он не возводит свойство системности в абсолют (как делают многие современные лингвисты) и всегда стремится показать не только отношение элементов языка, но и качественные черты самих элементов.

Разбирая понятие значимости, введенное для характеристики единиц языка Ф. де Соссюром, автор книги справедливо указывает, что, не отрицая самого этого понятия, необходимо помнить, что ограничиться характеристикой единиц языка только как чистых значимостей (ценностей) невозможно, так как значимость зависит не только от соотношения данной единицы с другими единицами — элементами взятой системы, но и от собственных свойств, присущих этим элементам. «Фонема обладает значимостью (ценностью), зависящей от ее места в системе фонем, но эта значимость находится в зависимости и от физических свойств соответствующего класса звуков, репрезентируемого данной фонемой. Эти свойства определяют возможность варьирования в известных пределах, наличие именно этих, а не других дифференциальных признаков и т. д.» (стр. 118).

Вероятно, именно это внимание к качественной стороне единиц языка, определяемое материалистическим подходом к проблемам языка, приводит В. М. Солнцева к важному выводу о наличии двух видов свойств у единиц языка — системообразующих и системоприобретенных. Для системы языка значение единицы дано как системообразующее свойство единицы, а значимость как ее системоприобретенное свойство. В. М. Солнцев иллюстрирует это положение на примере слова: «Значение слова есть, как уже говорилось, отражательная категория... Попадая в систему языка, слово благодаря наличию у него значения и в силу особенностей этого значения (например, в русском языке в значении слова *баран* отражены только признаки животного, но не кушанья из этого животного) вступает в определенные отношения с другими словами и наделяется системным свойством, которое и есть его значимость (ценность)... По Соссюру, понятия (значения) формируются системой, для нас они результат отражательной (познавательной) деятельности людей. От этого они не становятся ни заранее данными, ни полностью совпадающими в разных языках. Такой вывод, следует сделать из применения принципов теории отражения к анализу значения» (стр. 120).

Ограничения, накладываемые материально-субстанциональными свойствами элементов системы, проявляются, по мнению автора книги, в характере реализации самих системных отношений. Именно поэтому отношения элементов семиотических систем формируются при ведущей роли содержательной (иначе информационной) стороны (стр. 211). Правильным представляется нам утверждение В. М. Солнцева, что «семиотические системы существуют объективно в том смысле, что связи, установленные человеком между материальными элементами семиотической системы и тем, что они выражают, объективируются для данного общества и каждый новый член этого общества воспринимает их как нечто данное ему извне... Таким образом, семиотическая система не только возникает в силу деятельности человека, но и функционирует благодаря деятельности человека» (стр. 22).

Нельзя сказать, что функциональный подход к языку как к семиотической системе особого рода не отражен в работе В. М. Солнцева, но все же вопросам функционирования элементов языковой системы и условиям этого функционирования уделено автором мало внимания по сравнению с вниманием к структурным и смысловым чертам языковых единиц. Может быть поэтому решение проблемы взаимоотношений языка и речи, которой отведен ряд разделов книги, выглядит в трактовке В. М. Солнцева несколько противоречивым. Автор книги утверждает, что в речи дано все, что есть в языке, и язык дан в речи полностью без всякого остатка (стр. 86). «Вместе с тем в речи обнаруживается нечто помимо единиц языка и правил их соединения (комбинирования). Сюда относятся, во-первых, все те реальные комбинации единиц языка, которые составляют речь, как таковую, и, во-вторых, обширная „сверхлингвистическая“ информация о самом говорящем (информация о возрасте, образования, грамотности, тембре голоса, состоянии здоровья, настроении и т. д. говорящего)» (стр. 142—143). Для этих «остаточных» явлений автор книги берет

неудачный термин А. И. Смирницкого (сверхъязыковой остаток), но дело не в плохом термине (поскольку спорно, подлежат ли все эти «остаточные» явления компетенции лингвиста), а в том, что речевые произведения как свободные комбинации единиц языка (которые и составляют, по мнению В. М. Солнцева, «самоё речь как применение языка» (см. стр. 143) представляют собой «язык в действии». Выходит, что речь — это функциональная сторона, или функциональное назначение языка (см., например, утверждение: «Речевые произведения — это язык в действии, точно так же как сама речь — это язык в своем использовании, т. е. функционирование языка», стр. 143). Но в таком случае лишается смысла исходное определение языка, данное автором книги («...язык представляет собой функциональную материальную систему семиотического, или знакового, характера, функционирование которой и есть ее использование как средства общения», стр. 4), так как функционирование оказывается уделом речи!

Если согласиться с мнением В. М. Солнцева, что «общность функции — номинативная функция — у единиц языка и единиц речи позволяет считать все единицы речи (кроме предложения) потенциальными кандидатами в единицы языка» (стр. 160), то и со стороны речи мало что будет отличать ее от языка, так как свободное комбинирование единиц языка для создания единиц речи ограничено правилами языка. Последнее признает сам автор книги, когда пишет о двойственной и противоречивой природе речевых произведений, которые, представляя язык в действии, слагаются из традиционных элементов — единиц языка, а будучи результатом свободного комбинирования элементов языка говорящим, должны относится к речи (стр. 144). Однако так как формы комбинирования ограничены существующими правилами языка, то все опять попадает в тот же круг, где вращаются язык и речь с их весьма нечеткими критериями разграничения.

Создается впечатление, что автору книги очень не хочется отдавать речи всю область функционирования (ведь язык был им обозначен как функциональная материальная система), но тогда, вероятно, надо было при анализе единиц и категорий языка больше остановиться на их функциональных характеристиках, а, может быть, и не стремиться рассматривать одни и те же категории то в аспекте языка, то в аспекте речи. Так, указывая, что в лингвистической науке парадигматику связывают обычно с характеристикой языка, а синтагматику с характеристикой речи, В. М. Солнцев, с нашей точки зрения, правильно указывает, что собственно оба эти вида отношений присущи элементам языка и, следовательно, должны относиться к языку в его двух измерениях: парадигматика для языка как средства вне его функционирования и синтагматика как нереализованная способность элементов языка сочетаться между собой. «Язык как функционирующее средство — в форме речи — переводит присущую элементам способность к линейной сочетаемости в актуальные синтагматические отношения» (стр. 66). Но ведь можно сказать, что в известной мере и парадигматические отношения актуализируются в речи, так как речь не может оперировать тем, что не заложено в фондах парадигматики языка. Если же разделять язык и речь по признаку потенциального и актуализированного (что, с нашей точки зрения, возможно, но вовсе не обязательно), то надо было бы это выдерживать последовательно при решении ряда частных вопросов.

Безусловно, проблема языка и речи относится к одной из самых сложных и запутанных, так как по этому поводу высказывалось много противоречивых суждений, но автор книги не боится спорных проблем.

В книге В. М. Солнцева интересно и полно даны многие животрепещущие задачи лингвистической науки, показаны пути их реализации и подвергнуты острому критическому разбору концепции зарубежных и отечественных языковедов.

Отличительной чертой работы, несомненно являющейся ее достоинством, может быть названо широкое использование не только собственно лингвистической, но и философской литературы, дающее основание автору книги для постановки и решения трудных вопросов теории языка и методологии языковых исследований. Советская и мировая лингвистическая наука обогатилась ценной книгой. Вероятно, не все положения ее автора будут безоговорочно приняты его коллегами, многие вопросы и сам В. М. Солнцев отмечает как подлежащие дальнейшему изучению, но как новое слово в решении фундаментальных проблем лингвистической науки рецензируемая книга должна быть рекомендована всем интересующимся теоретическими проблемами языка.

В. Н. Ярцева

«Mały atlas gwar polskich». — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, I—III, Wrocław—Kraków, 1957—1960; IV—XIII, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1961—1970.

«Mały atlas gwar polskich» (MAGP) — труд большой важности не только для польской науки, но и для славистики вообще, для теории и практики общей лингвогеографии. Первый проект общепольского лингвистического атласа возник в 1939 г. [1]. План его представили М. Малецкий и К. Нич — составители первого в Польше регионального атласа [2]. Предполагалось, что в его сетку войдет 600 населенных пунктов, а вопросник его будет иметь свыше 2000 вопросов. Однако вторая мировая война не дала возможности начать даже подготовительные работы. В 1950 г. снова ставится вопрос об атласе польских говоров, но уже с более реальным учетом конкретных возможностей его подготовки. Было решено начать работу над MAGP с сеткой из 100 населенных пунктов и вопросником из 600 вопросов.

Инициатором и вдохновителем работ по MAGP был акад. К. Нич, под руководством которого были созданы первые два тома. После его смерти (1958) подготовкой всех последующих томов руководил М. Карась. В процессе работы общая теория MAGP была значительно углублена.

Общее руководство осуществлял редакционный комитет в составе К. Нича, В. Дорошевского, В. Курашкевича, З. Штибера, С. Урбанчика — т.т. I—II, а начиная с третьего тома и до конца — в составе З. Штибера, К. Дейны, В. Дорошевского, М. Карася, З. Клеменсевича, В. Курашкевича и С. Урбанчика.

Все тома MAGP, кроме последнего, тринадцатого, состоят из двух частей. Первую часть каждого тома составляют 50 (в т. XII — 51) карт, вторую часть — введение к тому, список источников, список карт тома, комментарии к картам, индекс скартографированных слов, формантов и т. п. Во второй части первого тома, кроме того, дано общее введение ко всему атласу, где изложена история его создания, основные принципы и общий план (автор К. Нич), характеристика каждого в отдельности населенного пункта, включенного в сетку, и характеристика информаторов, список лиц, собиравших материалы, вопросник и список сокращений названий уездов. В тринадцатом томе даны подытоживающие замечания о работе над MAGP (автор М. Карась), указания об использовании материалов, собранных по вопроснику, при составлении карт, список карт всего атласа, индекс всех скартографированных слов, индекс словообразовательных формантов, флексий, фонетических и других явлений, которые представлены в атласе, общий список источников, дополнения и поправки к тт. I—XII, список основных и дополнительных населенных пунктов сетки атласа, список рисунков и таблиц.

Вопросник MAGP (автор З. Штибер) состоит из 601 вопроса; многие вопросы содержат две и более частей или подвопросов. Составлен вопросник с учетом имевшихся сведений о говорах польского языка. Около трех четвертей вопросов посвящены лексике (в том числе и 53 по семантике отдельных слов) и приблизительно четверть вопросов — фонетике, морфологии и частично словообразованию. Синтаксис и фразеология вопросником не охвачены. Лексические вопросы составляют тематические группы: дом, хозяйственные постройки и их части, гужевой транспорт, сельскохозяйственные орудия, жернова и мельница, посуда, одежда, анатомические названия, фауна, флора, метеорология, топографические названия и т. п. Это позволяет производить опрос в виде тематических бесед.

По замыслу MAGP должен способствовать решению многих вопросов, касающихся развития польского языка, в том числе и вопроса о роли разных диалектов в формировании литературного языка. В связи с этим вопросником охватывались только такие противопоставленные явления, географическая проекция которых существенна в этом отношении. В вопросник не включались также вопросы о реалиях, названиям которых посвящены монографические описания, снабженные картами — таких, как *wilga*, *nietoperz*, *przycieś*, *krokwie*, *banty*, *kalenica*, *boisko* или *klepisko*, *sąsiek* или *zapole*, *sierdzień* или *sworzeń* (часть воза), *gryka*, *chaber* (Centaurea cyanus L.), *sokora* (Populus nigra L., Populus alba L.), *jegla* (Picea excelsa L.) [3]. В то же время в MAGP имеются карты на слова *kogut* (№ 438) и *kierownik* (часть воза) (№ 27), которые уточняют прежние сведения.

MAGP фиксирует состояние польских говоров в период между 1930 и 1955 гг. Материалы для MAGP собирались в течение 1951—1954 гг. Использовались также материалы регионального атласа Польского Подкарпатья, монографии З. Штибера и других работ. В каждом населенном пункте материал записывался от 1—5, а иногда и больше информаторов. Велось наблюдение над языком и других коренных жителей. Это отступление от требования Ж. Жильерона о записи от

[1] «Sprawozdania z czynności i posiedzień Polskiej Akademii Umiejętności za styczeń-czerwiec 1939 r.», Kraków, 1945.

[2] M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy Polskiego Podkarpacia, Kraków, 1934.

[3] См. в кн.: K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, II, Wrocław — Kraków, 1955.

одного информатора в каждом пункте сетки атласа, безусловно, оправдано, оно дает возможность получить более объективную картину о состоянии обследуемого говора. Вся собирательская работа выполнялась хорошо подготовленными специалистами (в количестве 63 человек). Преобладающее большинство материалов собрано известными польскими диалектологами. 22 собирателя произвели заполнение вопросника в своих родных селах. Все это обеспечило обстоятельность, полноту и высокую точность материалов MAGP.

В MAGP оригинально решается вопрос о сетке опорных пунктов. Здесь сетка состоит из пунктов двух категорий — основных и дополнительных. Основных пунктов 116, в их число входит 1 пункт с территории ляшских говоров и 7 пунктов с украинских, белорусских и литовских территорий. В состав дополнительных входят 69 населенных пунктов и 34 пункта атласа М. Малецкого и К. Нича Польского Подкарпатья [4], а также 41 пункт монографии З. Штибера «Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego» (Kraków, 1933). В число дополнительных пунктов сетки входят и так называемые «разные», материалы по которым взяты из словаря Я. Карловича «Słownik gwar polskich» (I—VI, Kraków, 1900—1911) и других печатных работ, а также из рукописных источников, имеющихся в Кабинете Атласа и Словаря польских говоров Института языкознания Польской АН в Кракове. При составлении сетки MAGP учтена специфика окраинных говоров. В сетку включено известное количество сел со смешанным (теперь или в прошлом) польско-украинским, польско-белорусским населением, а также украинских в прошлом сел, где в быту пользуются еще украинским языком. Учтена и специфика говоров южных и крайних северных районов современной Польши. В нововозвращенных Польше западных и северных районах материалы вообще не собирались ввиду смешанного характера говоров. На картах MAGP в целом используются материалы примерно из 300 населенных пунктов. Материалы основных пунктов представлены на всех картах атласа, а материалы дополнительных пунктов — на отдельных картах в том случае, если в них содержатся какие-либо новые данные о картографируемых явлениях. Благодаря такому использованию материала дополнительных населенных пунктов сетка MAGP изменяема, подвижна, она при надобности в той или другой части ареала может быть уплотнена. Тем самым удачно решается одна из трудных задач теоретической лингвогеографии — как при сравнительно редкой сетке избежать пропусков вариантов (в том числе и переходных).

По первоначальному замыслу основная лингвистическая ориентация MAGP может быть определена как преимущественно лексическо-историческая. Этому замыслу соответствовал и состав вопросника: главная его лексическая часть касалась преимущественно понятий традиционной материальной культуры, а вопросы по фонетике и морфологии — таких давних явлений, которые впоследствии подверглись лексикализации (т. XIII, стр. XIX). В тт. I—III преобладает лексика: из 150 карт здесь 104 лексических, 25 фонетико-лексических и только 24 фонетических и одна фонетико-морфологическая. С 1959 г. на первый план выдвигается изучение системных явлений современных польских говоров. Начиная с т. IV центральное место в атласе занимают проблемы фонетики и грамматики. Правда, из-за лексического характера вопросника на преобладающем большинстве карт фонетические явления представлены на материале одного, редко двух и только иногда трех и более контрольных слов. Лексический раздел атласа при таком изменении его ориентации не пострадал, так как на этих же фонетических картах при помощи определенных графических средств отражается и лексика. Тем самым содержание атласа стало богаче — из имеющихся материалов извлечена максимальная информация. В сводных картах обобщаются представленные в атласе вопросы вокализма и консонантизма, даются лексические ареалы. Отметим, что в атласе хотелось бы видеть и карты основного современного ареального членения говоров польского языка.

Карты отдельных языковых явлений в MAGP располагаются, в основном, тематически. Так, на картах 1—9 представлены названия жилого дома и его частей, на картах 10—18 — названия плуга и его частей, на картах 19—38 — названия воза и его частей, карты 256—322 посвящены носовым гласным и явлениям, с ними связанным, и т. д. Всего в атласе 601 карта, в том числе 575 карт языковых явлений и 26 сводных карт. Преобладают лексические карты.

Во многом оригинальна в MAGP техника картографирования. Здесь применяются буквально все известные графические средства лингвистического картографирования — картографические знаки (одноцветные или разных цветов), изоглоссы, цветные плоскости, разные штриховки, транскрибированные написания. Это позволяет оценить полиграфическую базу атласа. Знаки используются системно: основные противопоставления (например, названия разных корней на лексических картах) передаются при помощи цветов

[4] M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia. 2 украинские, 2 словацкие и 1 чешский пункт сетки этого регионального атласа в сетку MAGP не вошли.

(гамма которых доходит до 9), второстепенные — разными фигурами одного и того же цвета, третьестепенные — разными заполнениями этих фигур и т. п. Параллельно встречающиеся в одних и тех же населенных пунктах явления обозначаются двумя, тремя и т. д. знаками (причем реже употребляемое явление фиксируется меньшим знаком). Имеется специальный знак для обозначения отсутствия названия при наличии понятия, знак для отсутствующего понятия, знак для исчезающего явления, знак известного, но не употребляемого слова, знак отсылки к комментарию и пр. Таким образом, система сигнализации противопоставленных явлений на картах MAGP довольно сложная, но в то же время и гибкая.

Обычно применяются комбинации нескольких картографических средств. Это дает возможность на одной карте представить географические проекции различий нескольких разных в структурном отношении, но тесно между собой связанных языковых явлений, различия разных языковых уровней. В MAGP почти третья часть всех карт является многоплановой; среди них наибольшее количество фонетико-лексических, где на вариантах определенного слова изучается какое-то фонетическое явление и здесь же при помощи других картографических средств представлены синонимы этого слова. Карту же, например, 182 можно определить как фонетико-семантико-словообразовательную — здесь представлены фонетические и словообразовательные варианты слова *radło* с обозначением их лексических значений. Изоглоссы в рецензируемом атласе широко используются для обозначения ареалов отдельных явлений или их вариантов, картографированных другими графическими средствами (чаще всего знаками), что значительно повышает выразительность карт. Таким образом, по сравнению с другими опубликованными атласами, в частности славянскими, MAGP вносит много нового в технику лингвистического картографирования.

Следует особо остановится на жильероновском типе карт с транскрибированными написаниями. Редакторы MAGP во вступительной части справедливо утверждают, что такие карты невыразительны, что это лишь разложенный на географической карте сырой материал, который читатель должен сам обобщить в определенные группы (т. I, ч. 2, стр. XIV). Несмотря на это, такой прием картографирования в рецензируемом атласе все же не игнорируется. Правда, таких карт в MAGP немного, всего 7 (11, 43, 45, 47, 111, 137, 506). Применяется такой способ картографирования только в тех случях, когда факты так беспорядочно разбросаны и одновременно так мелко дифференцируются, что нет возможности объединить их в какое-то географическое целое (т. I, ч. 2, стр. XIV). При этом найдены эффективные способы улучшения жильероновского метода. Для повышения выразительности таких карт в MAGP, во-первых, использовано предложенное в 1949 г. М. Д. Мальцевым и Ф. П. Филиным [5] применение разноцветных написаний (варианты разных корней и т. п. надписываются разными цветами); во-вторых, метод написаний (одним цветом и разными цветами) скомбинирован с разноцветными плоскостями и изоглоссами (одноцветными и разных цветов). В таком модернизованном виде этот старый способ картографирования, как кажется, дал хороший результат и от него при лингвистическом картографировании вообще не следует отказываться [6], так как он позволяет избежать иногда чрезмерных обобщений многих вариантов противопоставляемых явлений в одном картографическом знаке (знаках), что часто затрудняет чтение карты, хотя и повышает ее выразительность. Оригинальной является карта 506, на которой написаниями картографированы названия жителей, образованных от названий сел, которые входят в сетку MAGP, типа *vitaradovany* (от *Witeradów*), *grapcoukovańe* (от *Grapcouka*), *maidanec* (от *Majdan*), *bańkoźec*, мн. ч. *bańkofce* (от *Bańki*), *vłudavaki* (от *Włodawa*), *hut'ńak* (от *Stara Huta*) и т. п. (трудно себе представить, как можно было бы такую карту составить при помощи других картографических средств — ведь в каждом населенном пункте употребляется свое название). При помощи изоглосс на этой карте обозначено распространение суффиксов *-an*, *-'an*, *-ec* в картографированных названиях. Здесь следовало бы дать и изоглоссу суффикса *-ak* (который в таких названиях широко распространен в центральных и северных районах Польши и довольно часто встречается в польском литературном языке, ср. *warszawiak*, *warszawianka*, *krakowiak* «житель Кракова», *Krakowiak* «житель Краковщины, Краковского воеводства» и пр.), а также изоглоссы суффиксов *-ok*, *-ouk* (юго-западные районы Польши). Этот метод с успехом можно использовать и при составлении топонимических, в том числе и гидронимических, карт и атласов.

Комментарии, помогающие правильно

[5] См.: М. Д. Мальцев, Ф. П. Филин, Лингвистический атлас района озера Селигер, М.— Л., 1949, карты 4—8, 19, 32, 35—37.

[6] Карт с транскрибированными написаниями, как известно, нет в «Атласе русских народных говоров к востоку от Москвы» (М., 1958), в белорусском (Минск, 1963) и болгарском (тт. I, II, София, 1964, 1966) атласах. Нет таких карт и в украинском атласе (первый том в печати).

и более обстоятельно понимать карты, состоят, как правило, из двух частей: из частных замечаний и из общих замечаний. В разделе частных замечаний указываются: варианты, объединенные одними картографическими знаками; варианты, которые по тем или другим причинам не отмечены картографическими знаками на карте или отведены от картографирования; замечания о семантических оттенках картографированных слов, об употреблении картографированных слов определенными возрастными, социальными и другими слоями населения, об употреблении этих слов только во фразеологических оборотах, о локальных этнографических особенностях предметов материальной культуры и пр. Общие замечания касаются преимущественно распространения картографированных явлений. Замечания эти, не будучи интерпретациями (от которых составители MAGP вообще воздерживаются), лишь обобщают представленный материал, чтобы облегчить чтение карт. В ряде случаев общие замечания даются к нескольким тематически связанным картам сразу, после чего идут комментарии к каждой карте в отдельности. В части комментариев в качестве вспомогательных сведений помещаются дополнительные лингвистические карты-таблицы всей территории Польши или какой-то ее части. Нередко обращается внимание на связь картографированных явлений с историей культуры.

В комментариях по возможности даются сведения об этнографических особенностях предметов материальной культуры, названия которых картографируются, схематические рисунки, сведения об этнографическом распространении предметов. Поэтому лексический раздел MAGP представляет интерес и для этнографа, и для исследователя истории материальной культуры.

Обстоятельное изучение в лингвогеографическом аспекте лексико-семантической системы говоров может осуществляться на материалах перекрещивающихся вопросов — от понятия к слову и от слова к понятию (значению). В MAGP такие спаренные карты есть (например, карта 122 посвящена названиям лопаты, а карта 121— семантике слова *łopata*; тема карты 124—«*opałka*, wyraz i znaczenie», а карты 125 — «*opałka* pleciona i synonimy», карты 126 — «torba do karmienia koni»; ср. еще карты 132, 133 и нек. др.), но, к сожалению, их мало, что обусловлено составом вопросника.

Сравнительно с другими опубликованными славянскими атласами процент семантических карт в MAGP самый высокий. Анализ этих карт показывает, что в большинстве случаев в их легендах первыми даются исходные или наиболее древние для картографированной территории значения изучаемых слов. Это вытекает из принятого в атласе принципа системности обозначения противопоставляемых явлений. Однако эта общая установка не всегда четко соблюдается. Например, для *chyż*, *chyża* (карта 2) первым в легенде лучше было бы дать значение «dom mieszkalny» (оно, как свидетельствует этимология, наиболее давнее и на изучаемой территории имеет, пожалуй, наибольшее распространение); для *koryto* (карта 69) более логично было бы первым дать значение «koryto do pojenia», а не «żłób» и соответственно для *bagno* (карта 518) — «trzęsawisko, topielisko», а не «roslina Ledum palustre L.», для *siwy* (карта 533) — «szary», «popielaty», «siwy, o włosach sierści», а не «niebieski» и т. п.

Материалы MAGP сразу же после выхода его первого тома начали широко использоваться в самых разнообразных исследованиях по польскому и славянскому языкознанию. Это и понятно, ибо содержащиеся в картах и комментариях богатейшие сведения дают много ценных данных для изучения ряда важных проблем, в частности таких, как проблемы отношения разных диалектных групп к польскому литературному языку, диалектной основы современного польского литературного языка, междиалектных контактов, генезиса отдельных диалектных групп, классификации польских говоров, воздействия на польские говоры говоров соседних языков и пр. Материалы атласа красноречиво свидетельствуют, например, о главенствующей роли в процессе формирования современного польского литературного языка великопольских и малопольских говоров, но вместе с тем атлас указывает на важную роль в этом процессе и мазовецких говоров.

MAGP содержит много ценного материала о связях и результатах влияния на польские говоры украинского, белорусского, словацкого, чешского, немецкого, литовского языков. Например, атлас свидетельствует о значительной близости малопольских говоров к соседним говорам украинского языка в области сельскохозяйственной терминологии; только здесь употребляются *trzósło* «плужный нож» (карта 12), ср. укр. *чересло́* «то же»; *blacha*, *blaszka* «отвал плуга» (карта 14), ср. укр. диалектн. *бл'а́хс* «то же»[7]; *capigi*, *czapigi*, *czepigi* «рукоятки, обжи плуга» (карта 16), ср. укр. *чепіги*, диалектн. ед. ч. *ч'е^{и}пи́га*, *ч'епи́га* и др. «то же» [8]; *istyk*, *styk*, *hystyk*, «чистик , палочка с наконечником для очистки земли с плуга» (карта 18), ср. укр. *і́стик*, диал. *и́стик*, *ги́стик* и др. «то же» и т. п. Большое количество польско-украинско-белорусских, польско-украинских и польско-белорусских изоглосс разного происхождения MAGP фик-

[7] См.: Й. О. Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР, ч. II, Ужгород, 1960, карта 182.

[8] Там же, карта 181.

сирует в говорах восточных районов Польши (см. хотя бы сводные карты 597, 598).

В MAGP с максимальной полнотой использована литература по говорам польского языка. Помещенный в т. XIII общий список источников представляет собой хорошую библиографию предмета. MAGP является своего рода энциклопедией по различным вопросам польской диалектологии.

Само название MAGP предполагает последующее создание большого атласа говоров польского языка. И действительно, первоначально был замысел подготовить атлас с сеткой в 1000 населенных пунктов и вопросником из 2000 вопросов. Но впоследствии польские диалектологи отказались от этой идеи в пользу создания региональных атласов (подобно тому, как это делают французские, а в последнее время и румынские коллеги). Используя богатый опыт по созданию MAGP и учитывая практику зарубежной диалектографии, польские диалектологи в последнее время широким фронтом развернули также углубленные лингвогеографические изыскания. К настоящему времени уже значительная часть Польши охвачена региональными атласами [9]. MAGP способствовал расширению и повышению теоретического и научного уровня диалектологических монографических исследований, которые в Польше обычно сопровождаются картами и атласами [10].

В заключение следует отметить высокую технику полиграфического изготовления карт MAGP, что для такого труда, как лингвистический атлас, очень важно.

MAGP представляет собою капитальное исследование говоров польского языка. Польские диалектологи сказали новое слово в теории и практике диалектографии, их опыт во многом поучителен. MAGP войдет в золотой фонд полонистики и славистики вообще.

И. А. Дзендзелевский

[9] См.: M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy Polskiego Podkarpacia; K. Dejna, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, I—II, Łódź, 1951—1953; его же, Atlas językowy województwa kieleckiego, I—VI, Łódź, 1962—1968; «Atlas językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich», I—VII, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964 — 1970; VIII, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1971; Z. Sobierajski, Atlas polskich graw spiskich, I—II, Poznań, 1966—1970; A. Zaręba, Atlas językowy Śląska, I, Kraków, 1969; H. Horodyska Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas graw mazowieckich, I, Wrocław — Kraków, 1971, и др.

[10] См.: W. Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Studium ze słownictwa i geografii lingwistycznej, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1963; J. Basara, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, I—II, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964; W. Kupiszewski, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969; 10 томов серии «Słownictwo Warmii i Mazur», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1958—1963, и др.

Б. Н. Головин. **Язык и статистика.** — М., изд-во «Просвещение», 1971. 191 стр.

Развитие и распространение логико-математического моделирования языка и статистики речи привело не к единству математического языкознания, а, напротив, к разному определению статуса этой науки. С одной стороны, такие исследователи, как А. В. Гладкий и С. Маркус, определяют ее как лингвоматематику, т. е. как ответвление математической логики и абстрактной алгебры. С другой стороны, ее определяют именно как металингвистику, т. е. как некое объединение некоторых математических приемов и некоторых лингвистических идей.

Однако и в этом случае полного единства достичь не удалось, и не только потому, что различается моделирование языка и статистика речи, но и потому, что самое соединение математики и лингвистики понимается различно. Одни исследователи, например, С. К. Шаумян, настаивают на соединении математических идей и методик с идеями и приемами структурального и семиотического языкознания. Другие исследователи, например Р. Г. Пиотровский, работают в области соединения математических идей и методик с теорией информации и задачами автоматического перевода и инженерной лингвистики.

Наконец, третьи исследователи говорят об использовании для нужд обычного (традиционного) языкознания простейших приемов моделирования, формализации и статистики. Такую позицию, в частности, отстаивает Б. Н. Головин. Он пишет: «Можно думать, что преподаватели-филологии высших учебных заведений нуждаются сейчас не в математизации своего языка и своих научных представлений, а в доброй помощи математической науки.

Такую помощь филолог почувствует тогда, когда научится применять некоторые, наиболее доступные инструменты математической статистики. Технология изготовления этих инструментов — дело математика, а их применение филологами может быть успешным и при минимальной математической подготовке, при помощи указаний и разъяснений специальной литературы» (стр. 3).

Эта адресованность к читателю-филологу, стремление познакомить его с наиболее доступными инструментами математической статистики — положительная особенность рецензируемой книги Б. Н. Головина «Язык и статистика». Второй ее особенностью является то, что она отражает десятилетний опыт работы горьковской группы лингвостатистики, изучающей статистические характеристики стилей и отдельных авторов, пишущих на современном русском языке [1]. Горьковская школа лингвостатистики применяет рассеянную, но количественно равную выборку с дальнейшей статистической обработкой и оценкой полученных результатов.

Книга Б. Н. Головина написана просто и доступно; композиция — свободная. Кроме введения, таблиц (многие из которых составлены и вычислены автором), основной литературы и краткого указателя терминов, в книге выделяются следующие разделы: теоретическое обоснование вероятностно-статистического изучения языка и речи (стр. 10—19), статистические инструменты и их использование (стр. 19—62), организация статистических исследований (стр. 63—112), учение о стилях языка и стилях речи и статистика (стр. 113—133); завершается изложение рассмотрением проблем и перспектив статистической лингвистики (стр. 133—166) и кратким освещением школ и направлений лингвостатистики (стр. 167—173).

Если отвлечься от композиционных «вольностей», вызванных, видимо, тем, что текст возник на базе лекций, читанных автором, то книга довольно четко распадается на две части. В первой части (стр. 5—112) освещаются вероятностно-статистические идеи, статистические инструменты (так автор называет формулы статистики) и выборочный метод изучения языка; во второй части (стр. 113—116) говорится о тех областях лингвистических знаний, где более применима статистическая методика.

Основанием вероятностно-статистического изучения языка и речи, по мнению автора, являются два объективных свойства языка. Во-первых, то, что единицы языка обладают не только качественными, но и количественными признаками, причем между качественными и количественными характеристиками единиц языка существует внутренняя зависимость. Вторым доказательством применимости вероятностно-статистического подхода к языку является признание того, что развитие и функционирование языковых элементов подчиняется статистическим законам. Второй аргумент считается более веским, так как повторяется не раз.

Однако одних оснований недостаточно для развития статистических исследований языка. Б. Н. Головин справедливо указывает, что эти основания могут быть успешно использованы, если будут соблюдены три условия применения статистики в лингвистических исследованиях. Этими условиями является союз статистики с традиционными методиками качественного анализа языка, разграничение типов лингвистических задач и, в-третьих, знакомство филолога (и уже — лингвиста) с минимально необходимыми статистическими инструментами (см. стр. 17—18).

Эта мысль выступает как лейтмотив. На протяжении всего текста книги говорится об ограничении круга фундаментально необходимых лингвисту понятий, заимствуемых из математической статистики, причем все понятия, связанные с раскрытием статистического закона и вероятности, вводятся на привычном для лингвиста анализе конкретного языкового и речевого материала. В то же время автор не раз предупреждает о необходимости различать статистическое описание и статистическое исследование: описание дает регистрацию частот и долей (вероятностей); выборочное же статистическое исследование, имея целью познать целое на основе изучения его нескольких частей, дает возможность увидеть законы развития и функционирования языка (см., напр., стр. 51).

Рассмотрение статистических инструментов начинается с рассказа об элементарных инструментах наблюдения (выборочной) частоты, средней частоты и отклонения от средней частоты. Сама формула среднего квадратичного (квадратного) отклонения берется в простейшем виде и приводится ее чтение (см. стр. 23). Формула вероятной ошибки в определении средней частоты получает простоту и доступность благодаря тому, что надежность ограничивается 95% и в формулу вводится постоянный коэффициент (см. стр. 27 и подробнее на стр. 52 и далее). Простейшие формулы исполь-

[1] По методике и задачам исследования горьковской группе Б. Н. Головина близка киевская группа лингвостатистики, возглавляемая В. И. Перебейнос; результаты лингвостатического изучения стилей украинского языка опубликованы в книге «Статистичні параметри стилів» (Київ, «Наукова думка», 1967, 260 стр.). Ср. библиографический указатель «Лингвистическая статистика» сост. Г. В. Ермоленко (Алма-Ата, 1970, 158 стр.).

зуются и для оценки расхождения между выборочными частотами — критерий «хи-квадрат» и коэффициент вариации.

Несомненно положительным моментом является то, что автор вводит методику сравнения долей. Доля — это и есть вероятность, т. е. отношение наблюдаемой частоты к длине выборки. Сравнение частот и сравнение долей показывает сохранение или нарушение действия статистического закона; однако сравнение фактических частот, наблюдаемых в серии выборок, признается предпочтительным, так как в этом случае обнаруживается взаимовлияние содержания текста и выбора языковых единиц (см. стр. 40). Кроме сравнения частот и долей, предлагается методика статистического сравнения средних выборочных частот и частотных рядов — при помощи критерия Стьюдента, формулы квадратичного отклонения и порядкового критерия «хи» (таблица числовых значений ψ вычислена автором).

Рассказав о статистическом наблюдении и статистическом сравнении, автор переходит к характеристике организации статистического изучения языка и речи; важнейшими компонентами этой организации являются выборка, программа и таблицы.

Изучение языка выборочным методом предъявляет определенные требования к количеству, длине и содержанию выборки. Б. Н. Головин считает, что «при изучении явлений морфологии и синтаксиса достаточно надежные результаты можно получить, имея 10 выборок длиной в 500 знаменательных слов каждая (или, если изучаются целые предложения,— длиной в 250 предложений)» (стр. 65). При этом специально подчеркивается, что при выборках требуется соблюдать жанровую, стилевую и содержательную однородность, хотя и предупреждается при этом, что практически «однородность выборок обычно определяется интуитивно».

В книге приведены и проанализированы программы, разработанные и применяемые в Горьковском университете. Обобщенная программа (программа № 1) дала возможность получить сведения о количественных соотношениях частей речи в языке художественной литературы XIX—XX вв. (результаты частично опубликованы в журнале «Вопросы языкознания», 1965, 3). Частные программы предусматривают статистическое изучение отдельных частей речи (имени существительного, прилагательного, глагола), простого предложения, сложного предложения.

Во второй части книги говорится о приложимости лингвистических идей и приемов к решению различных вопросов языкознания. На первое место выдвигается изучение функциональных стилей. Это объясняется, во-первых, тем, что в этой области уже получены данные, а во-вторых, тем, что функциональное расслоение структуры языка соответствует его природе. Язык, подобно очень сложному механизму, работает как бы в разных режимах, что и порождает варианты. «Возникает поэтому теоретическая и прикладная проблема варьирования вероятностей одних и тех же языковых единиц, проблема стилевой дифференциации вероятностей и выявляющих эту вероятность частот» (стр. 118).

Автор опирается на учение В. В. Виноградова о структуре языка как системе систем функциональных стилей — стилей языка и стилей речи. Функциональные стили языка и стили речи отличаются друг от друга существенными количественными характеристиками языковых единиц и их категорий, достаточными для совокупного, или суммарного качественного опознания модели на интуитивном уровне восприятия речи (см. стр. 121 и 130). Стиль языка отличается от стиля речи тем, что в в первом случае дифференцирующими и нейтральными оказываются стилевые вероятности (доли), а во втором случае — частоты.

Статистические характеристики стилей даются на материале частей речи и форм слова, которыми обладает та или иная часть речи. Так, приведя таблицу вероятности применения частей речи, автор пишет: «Внимательно вглядываясь и вдумываясь в таблицу, нетрудно заметить, что имена существительные и имена прилагательные в художественном стиле заметно менее активны, чем в научном и публицистическом; что местоимения и глаголы, наоборот, заметно более активны в художественном по сравнению с научным и публицистическим; что предлоги менее активны в публицистическом, нежели в художественном и научном; что союзы более активны в художественном, чем в научном и публицистическом; что причастие не обнаруживает заметных симпатий ни к одному из стилей, то же — имя числительное, и т. д.» (стр. 124—125).

Следует добавить, что, внимательно вглядываясь в тексты и фактический материал, нетрудно заметить, что слова и словоформы, принадлежащие одной и той же части речи и одной и той же парадигме, имеют значительные расхождения как в своих грамматических свойствах, так и в их семантике и стилевом предназначении. Например, форма родительного падежа имени существительного имеет значительное коммуникативное (смыслое и стилистическое) отличие в зависимости от того, используется ли она в единственном или во множественном числе, присубстантивна или приглагольна она, идет ли речь о родительном определительном или поссесивном, небезразличен также охват формой родительного падежа именной лексики.

Существует мнение, что сама категория

части речи — вероятностная и «вероятностное определение частей речи исходит из того, что, во-первых, принадлежность слова к некоторой части речи определяется некоторым комплексом грамматических свойств, пучком грамматических оппозиций, вскрываемых в этом слове; во-вторых, что состав этого комплекса не является чем-то абсолютным, что он может меняться в определенных пределах, т. е., что отдельные свойства, характерные, вообще говоря, для данной части речи, могут быть не выявлены у данного слова, хотя оно тоже принадлежит к данной части речи» [2]. Поэтому эффективность статистической методики возрастает при том условии, если увеличивается не только охват фактического материала, но и увеличивается число качественных (содержательных) признаков единиц языка, рассеивание которых изучается и которые избираются параметрами количественных характеристик.

Кроме проблем «стилостатистики», Б. Н. Головин говорит о необходимости создания «в недалеком будущем грамматик и словарей, описывающих не язык вообще, а его функциональные стили, т. е. типы его функционирования», о применении статистической методики к изучению художественного произведения, к решению вопросов речевой культуры в широком смысле, к изучению речи школьника, в области атрибуции литературных текстов, в исследовании истории языка вообще и истории литературного языка в частности. Рассказывается в книге также о таких направлениях отечественной лингвостатистики, как составление частотных словарей, изучение стиха, расшифровка древних текстов, и об общих вопросах статистического изучения языка, квантитивного подхода к языковым структурам.

Освещение статистической методики, сфер ее применения и возникающих при этом проблем и задач приводит автора к выводу о том, что статистическая лингвистика — это один из вариантов современного языкознания.

Высоко оценивая направление исследования Б. Н. Головина, считаю необходимым высказать одно пожелание. В рецензируемой книге, как и в ряде других работ, даются статистические характеристики стиля языка, стиля речи и стиля автора; при этом ставится общетеоретический вопрос о взаимосвязи языка и речи, однако эта взаимосвязь определяется, как мне представляется, недостаточно четко и правильно.

Для решения данной проблемы Б. Н. Головин вводит понятие «лингвоструктура»; он пишет: «Эта лингвоструктура социально существует либо в виде языка, либо в отвлечении от какого бы то ни было конкретного логического или эмоционального, эстетического и иного содержания, либо в виде речи, т. е. в связи с таким содержанием» (стр. 129). Обычно эти понятия выражаются терминами «язык», «норма» и «речь». Отличие языка и речи, как об этом свидетельствуют неоднократные замечания автора, сводится к тому, что язык рассматривается как статическое образование, представляя собой совокупность и систему единиц общения и их категорий, тогда как речь понимается как их функционирование, при котором они конкретизируются и наполняются содержанием; развитие и функционирование подчиняется вероятностно-статистическим законам.

Думается, что язык обладает не только типовыми формами, набором средств выражения, но и общепринятой семантикой, типовой информацией. Говорящий выбирает языковые средства и организует их в контексты, руководствуясь определенными целями и задачами, так что его речевое поведение является в известной степени сознательным. Поэтому функционирование языка, как и его развитие, подчиняется не только вероятностно-статистическим закономерностям, но и закономерностям иного рода. Так, выявление частоты и частотности той или иной части речи или словоформы требует не только и не столько статистической интерпретации, сколько содержательной интерпретации, включающей понятийные, эмоциональные, эстетические и стилистические признаки.

Любой стиль языка и любой стиль автора становятся таким только тогда, когда они получают содержательную интерпретацию. Говорящий, прибегая к тому или иному способу изложения, руководствуется прежде всего содержательными критериями. Выразительным и характерным нередко является слово или форма языка, не обладающая ни большой частотой, ни нормативностью. Они не имеют статистической закономерности. Напомню также, что специальные статистические исследования показывают, что в речи есть не только вероятности употребления языковых единиц и их распределение, но и «вероятностные схемы речи» [3].

В заключение считаю нужным еще раз подтвердить общую положительную оценку рецензируемой работы. Книга Б. Н. Головина «Язык и статистика», несомненно, полезна и нужна лингвистам. Она хорошо отражает методику и результаты исследований автора и его учеников

[2] А. Е. Супрун, Части речи в русском языке, М., 1971, стр. 87.

[3] См.: Р. Г. Пиотровский и Л. А. Туругина, Антиномия «язык — речь» и статистическая интерпретация нормы языка, сб. «Статистика речи и автоматический анализ текста», Л., 1971, стр. 46.

в области статистического анализа стилей современного русского литературного языка. Книга Б. Н. Головина в то же время является своеобразным введением в проблематику статистической лингвистики, знакомит читателя с техникой и идеями этой новой отрасли знаний, показывает ее сильные и слабые стороны, решенные и нерешенные задачи, толкает к новым поискам и размышлениям.

В. И. Кодухов

Е. А. Реферовская. **Синтаксис современного французского языка. Сложное предложение.** — Л., изд-во «Наука», 1969. 236 стр.

С выходом в свет книги Е. А. Реферовской советская литература по романскому языкознанию обогатилась новой теоретической работой по такому трудному разделу грамматики, как синтаксис сложного предложения в современном французском языке. Работ в области французского синтаксиса в литературе немного, и это неудивительно, ибо синтаксис предложения является наиболее высоким и наиболее сложным уровнем языкового анализа и одновременно — наиболее скрытой частью языка, по выражению К. де-Бура.

Содержание синтаксиса определено автором как изучение словосочетаний, предложений и сочетаний предложений, иначе говоря, как изучение способов сочетания слов в группы и взаимоотношения слов внутри этих групп, изучение структуры предложения, т. е. способов сочетания членов предложения и их отношения друг к другу, изучение способов сочетания предложений и их взаимоотношения.

Предложение понимается либо как синтаксически объединенная группа слов, образующая предикативное ядро, имеющая в своем составе подлежащее и сказуемое, либо как группа, имеющая только сказуемое с зависящими от него членами предложения (безличные, повелительные, эллиптические предложения с опущенным подлежащим), либо как группа слов, имеющая в своем составе только подлежащее и зависимые от него члены, но сказуемое которой или подразумевается, или легко восстанавливается по содержанию подлежащего и по общему контексту (именные предложения).

Предметом книги Е. А. Реферовской является рассмотрение некоторых структур сложного предложения в современном французском языке, т. е. сочетаний двух и более предложений в один сложный комплекс.

Е. А. Реферовская в своем труде обобщает ряд теоретических и классификационных положений, высказанных в последнее время исследователями как в отечественной языковедческой литературе, так и в зарубежной, и относящихся к различным языкам,— Н. С. Поспелова, Е. В. Гулыги, Л. Л. Иофик, С. Г. Ильенко, Л. И. Илия, Р.- Л. Вагнера и Ж. Пеншон, В Вартбурга и др.

Автор указывает, что в качестве ведущего принципа при классификации предложений внутри подчинения выбрано единство учета содержательного отношения между подчиняющим предложением или его членом и зависящим от него придаточным, учета грамматического оформления подчиненной части, учета степени смысловой связанности главного предложения с придаточным, учета степени интонационной самостоятельности придаточного.

Автор не ставит своей целью дать явления синтаксиса сложного предложения во французском языке в виде системы моделей и не занимается собственно классификацией сложных предложений с точки зрения перехода от сочинения к подчинению. Скорее задачей автора является выявление семантической стороны и, между прочим, многозначности, дополнительных связей и отношений между предложениями и их частями — например, условной связи между главным и придаточным в случаях употребления временных наречий-союзов, значения уступки или противопоставления в случаях условного союза *si* и т. д. Кроме подчинения и сочинения, в работе подробно рассматриваются случаи соположения — бессоюзного соединения предложений, разделенных запятой, и присоединения после точки новых, формально самостоятельных предложений, составляющих продолжение мысли предыдущего предложения и начинающихся с подчинительного или сочинительного союза. Эти синтаксические типы ранее не подвергались детальному рассмотрению, и Е. А. Реферовская в своей книге уделяет им особое внимание.

Книга отличается от многих аналогичных исследований по синтаксису сложного предложения стремлением увидеть новейшие тенденции в синтаксисе современного французского языка и, в частности, в синтаксисе сложного предложения — свободное обращение с синтаксическими конструкциями, возникновение новых конструкций, употребляемых параллельно с уже существующими,— тенденции, связанные с воздействием живой разговорной речи на литературный язык.

В качестве материала для исследования выбраны предложения из художественной,

научно-лингвистической литературы и из театральных пьес самого последнего времени — Ж. Ануй, М. Эме, С. де Бовуар, П. Бенуа, Ф. Мориак, А. Моруа, Ж.-П. Сартр, Ж. Сименон, Ф. Саган, Ш. Плинье, Ж. Лаффит, Ж. Жироду и др. Для этих писателей чрезвычайно характерна свободная манера «письма под диктовку мысли», в силу чего их язык весьма близок к разговорной речи и одновременно содержит множество сложных предложений, разнообразных по форме, по способам их соединений и по выражаемым ими оттенкам связей и отношений. Е. А. Реферовская разъясняет многообразные оттенки смысла и заставляет читателя вслушиваться в ритм фраз и целых отрывков, в их интонацию, понять намерения говорящего, обращает внимание на пунктуацию,— другими словами, раскрывает «raison d'être» их синтаксических особенностей.

Материал ограничен рамками «связного синтаксиса» (syntaxe liée), т. е. синтаксиса спокойной письменной речи. Неполные, сегментированные предложения и т. д. не составляют предмета исследования в данной работе.

Сложное предложение понимается автором книги не как соединение более или менее самостоятельных предложений, а как некое «целостное синтаксическое выражение единой сложной мысли», по выражению Н. С. Поспелова. Отношение неравноправности, подчинения между отдельными частями предложения характерны для сложноподчиненных предложений в отличие от сложносочиненных. Разницу между сочинением и подчинением нередко бывает трудно уловить, и здесь многое зависит от условий конкретного контекста. Так, например, многие придаточные, вводимые относительными местоимениями, имеют значение отдельного предложения: *J'ai rencontré un ami qui ne m'a pas salué = J'ai rencontré un ami; il ne m'a pas salué.*

В зависимости от того, разъясняет ли придаточное все главное предложение в целом, или только служит членом предложения главного, распространяет главное, в русской традиции научного синтаксиса установилось деление сложноподчиненных на двучленные и одночленные. Эта традиция идет еще от Ломоносова, так понимали природу сложноподчиненного предложения А. Х. Востоков, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, в этом же направлении развивали теорию сложного предложения В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов. Эта традиция противопоставляется рассмотрению подчинения одного предложения другим на основе лишь внешних формальных средств.

Е. А. Реферовская неоднократно подчеркивает, что привлечение только одного какого-нибудь критерия — семантического или формального — еще недостаточно. Необходимо учитывать внутренние связи между частями предложения, степень полноты и отдельности ⟨ ⟩ зависимости каждого из них, формальные показатели — союзы и местоимения, определяющие их соотносительные слова — антецеденты; соотношение времени действий, выражаемое временными формами глагола, взаиморасположение главного и придаточного — пост-, пре- и интерпозиция.

Принимая положение В. А. Белошапковой, касающееся анализа предложения в плане языка, а не в плане речи, вследствие чего смысловая и интонационная цельность предложения как единой коммуникативной единицы не должна отождествляться с его актуальным членением, Е. А. Реферовская указывает, что сведение сложного предложения всегда к одному сообщению неправомерно.

Автор освещает также новые синтаксические структуры, которые утверждаются сейчас в литературном языке под влиянием фактов живого разговорного языка, развивая и обогащая синтаксическую систему сложного предложения в целом, становясь языковой нормой, одновременно влияя на синтаксические конструкции, уже утвердившиеся в языке, и изменяя их. Так, Е. А. Реферовская обращает особое внимание читателя на возникающие в современном литературном языке новые продуктивные синтаксические конструкции, в которых реализуется тенденция языка к слиянию мелких частей предложения в более крупные единицы. В частности, к таким новым синтаксическим конструкциям относятся предложения типа *Heureusement vous m'avez compris→ →Heureusement que vous m'avez compris*, где модальное наречие становится как бы дополнительным придаточным.

Среди новых синтаксических конструкций Е. А. Реферовская отмечает также изменения в предложениях с придаточными, зависимыми от глаголов, которые осуществляют управление с помощью предлогов *à* или *de*, например: *Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez me trahir → →Je ne m'attendais pas que vous puissiez me trahir*, с опущением предлога и местоимения *ce*.

Среди синтаксических явлений, характерных для французского языка на современном этапе его развития, автор отмечает также присоединение придаточных предложений к главному при посредстве существительных общего значения — *acte, fait, chose* — и особенно введение придаточных подлежащего существительными *acte* и *chose* как в роли антецедента, так и при репризе в сегментированной фразе, например: *Bien entendu, qu'il y eut identité entre l'usurier et l'homme en fuite, la chose ne faisait doute pour personne* (J. Kery, Qui est à l'appareil?).

В традиционной классификации сложноподчиненных предложений придаточные до сих пор рассматриваются как

члены предложения главного. Мало чем от нее, по словам Е. А. Реферовской, отличается «семантическая» классификация Кр. Зандфельда, который во втором томе «Синтаксиса» выделяет: 1) придаточные дополнительные, 2) косвенный вопрос, 3) относительные независимые предложения, соответствующие имени действия (*qui dort = dormeur*), 4) относительные сказуемого, соответствующие причастию (*qui dort = dormant*), 5) зависимые относительные предложения, 6) адвербиальные [1].

Р.-Л. Вагнер и Ж. Пеншон в качестве исходного положения при определении придаточного исходят из грамматической его несамостоятельности и из мелодического признака. Так, при выражении условия *Il me le dirait, je ne croirais pas*, где придаточное предшествует главному, интонация незавершенности является единственным формальным признаком придаточного.

В качестве формального признака придаточного предложения может выступать и порядок слов. Так, в одном случае налицо два предложения: *Cet homme m'exaspère, il est tellement bavard*. В другом случае второе становится придаточным: *Cet homme m'exaspère, tellement il est bavard*, и т. д.

Главное предложение является опорой для придаточного, формально подчиняя его, а придаточное завершает, дополняет главное, и оба компонента, таким образом, оказываются взаимозависимыми. По мнению Е. А. Реферовской, наиболее важное во взглядах Р.-Л. Вагнера — привлечение интонации как одного из показателей грамматической природы предложения и указание на связь последней с семантикой всей фразы в целом.

Показателем степени слияния двух предложений в один комплекс служит наклонение глагола в придаточном. Так, в предложении *Je constate que vous êtes venus* придаточное содержит отдельное сообщение, а в *Je suis contente que vous soyez venus* — нет.

Е. А. Реферовская, много и плодотворно занимавшаяся грамматикой французского языка, считает сюбжонктив не пережитком, а гибким орудием живого современного языка. Выбор между сюбжонктивом и индикативом используется для передачи тонких оттенков значения, выражаемых сложноподчиненным предложением. При этом автор в своем анализе строго ограничивается рамками одного плана — плана синтаксиса предложения. Вопроса об актуальном членении предложения автор касается, по сути дела, только в разделе, посвященном сложноподчиненным предложениям с придаточными, содержащими глагол в сюбжонктиве. И актуальное членение предложения в понимании Е. А. Реферовской — это явление не столько логико-смыслового плана, сколько синтаксического. Актуальное членение — это выражение отношения между главными и второстепенными частями предложения как между моментами подчиняющими и подчиненными, а также основными и дополнительными, это выражение семантических отношений, показывающих степень полноты и завершенности высказывания в целом и его частей в отдельности. Главной по смыслу частью предложения Е. А. Реферовская считает ту часть, которая содержит высказывание по поводу другой части того же предложения, являющейся основанием, поводом для высказывания, например:

	повод
Je suis contente	*que vous soyez venu*
высказывание	

Таким образом, по мнению автора, сюбжонктив в придаточном всегда выражает второстепенную мысль. Для данного примера известное — *vous êtes venu*, вновь сообщаемое — *je suis contente*. Здесь автор солидаризируется с Э. Лерхом, который считал сюбжонктив средством выражения психологического субъекта.

Между тем, книга Е. А. Реферовской содержит множество примеров сложноподчиненных предложений с придаточными, содержащими глагол в сюбжонктиве, анализ актуальноого членения которых убеждает нас в том, что придаточное здесь может составлять как известный момент в сообщении, так и новый. В примере на стр. 113: (*Petit Doré n'avait pas honte d'être rouquin*). *Il pensait même que ce fût une couleur distinguée* «(Маленький Доре не стыдился того, что он рыжий.) Он думал даже (будто), что это очень изысканный цвет»— новым является все предложение в целом, причем наиболее важный момент —*une couleur distinguée* как антитеза *rouquin*.

Актуальное членение в ряде случаев может быть очевидным даже и без контекста. В приводимом автором примере *Je cherche un chemin qui conduise à la vérité* придаточное, уточняющее прямое дополнение, составляет вместе с последним рему высказывания, о чем свидетельствует, между прочим, неопределенный артикль.

В целом представляется, что выбор между сюбжонктивом и индикативом в придаточном зависит от каких-то оттенков смысла на уровне лексического значения слов — например: *J'entends que vous ne me suivez pas* → *J'entends que vous ne me suiviez pas* «Я слышу, что Вы не следуете за мной» → «Я понимаю (это дело) так, что Вам не нужно следовать за мной», тогда как актуальное членение определяется намерениями говорящего на значительно более высоком уровне — на уровне логических отношений в пределах

[1] Kr. Sandfeld, Syntaxe du français contemporain, Paris, 1936.

целого абзаца, периода и т. д.— в зависимости от того, какая часть предложения действительно несет новую информацию, составляет «предицирующую часть» высказывания (термин И. П. Распопова), независимо от того, реально ее содержание или нет.

Вполне в соответствии со своим пониманием актуального членения сложноподчиненного предложения Е. А. Реферовская истолковывает и примеры следующего типа: (*Il vécut un moment de désespoir*). *Non pas qu'il redoutât les menaces de la mère Lachaume*; ... (M. Druon, La chute des corps) «Не то, чтобы он боялся угроз матушки Лашом...». По мнению автора рецензируемой книги, отрицания *non que*, *non pas que* составляют центр коммуникации и являются имитацией главного предложения. С этим, однако, трудно согласиться: если главное предложение способно составить самостоятельную акцентную группу (синтагму, по определению Л. В. Щербы и его последователей), то отрицания *non* (*que*), *non pas* (*que*) вряд ли могут образовать самостоятельную синтагму, не сделав подобное предложение бессмысленным: *Non*, ‖ (или *non pas*),‖ *qu'il redoutât les menaces de la mère Lachaume*. Кроме того, по нашему мнению, коммуникативная нагрузка членов предложения здесь возрастает до сказуемого *redoutât*, которое противопоставлено последующей части предложения: *mais tout cela rappelait à Simon ce qu'il avait espéré d'oublier*.

Отметим попутно, что аналог этой конструкции в русском языке может перемещаться: «Не то, чтобы он боялся» → «Он не то, что боялся», «Он не то, что боится» и ничуть не претендует на то, чтобы стать имитацией главного предложения.

Е. А. Реферовская неоднократно обращает внимание читателя на паузировку и на движение мелодии во фразе, передаваемые на письме пунктуацией, указывая, что запятая, по сравнению с точкой (или с точкой с запятой), передает меньшую интонационную законченность, что соответствует меньшей паузе и подъему тона, а не его падению. Здесь автор даже использует своеобразный эксперимент при анализе синтаксических явлений французского языка. Например, при выяснении роли тех или иных знаков препинания, употребленных данным писателем в разбираемом отрывке, убедительно показывается, как изменяется членение отрывка и вместе с ним темп, степень напряженности повествования в связи с заменой запятых на точки (или наоборот). Представляется, что эксперимент можно было бы использовать в работе шире, выявляя смысловые различия в употреблении элементов, близких по значению. Например, в употреблении союзов, вводящих временные придаточные, Е. А. Реферовская (на стр. 156) пишет, что нередко вместо ожидаемого союза *où* может стоять *quand* или *que*. Между тем, как это видно в следующем примере (та же стр.): *Nous revoici à l'époque d'Homère quand les déesses présidaient d'un nuage aux batailles des héros* (Barrès, Au service...) «Вот мы снова переносимся в гомеровские времена, когда богини, восседая на облаке, управляли героическими битвами» — замена *quand* на *où* привнесла бы оттенок излишней конкретности: «... в ту самую эпоху, когда богини с облаков председательствовали на битвах героев». Относительно же случаев замены *où* на *que* в оборотах типа *C'est la première fois que...* → *C'est la première fois où...* можно было бы добавить, что здесь происходит еще и распадение усилительной конструкции *c'est... que*, употребляемой обычно для логического подчеркивания дополнений или обстоятельств.

Синтаксическая структура сложного предложения французского языка изучена автором на обширном материале языка писателей самых последних лет. Однако Е. А. Реферовская не ограничивается рамками исключительно синхронического анализа, а в отдельных случаях делает экскурсы и в область диахронии, обращаясь к истории французского языка в качестве дополнительного доказательства. Очень интересны и убедительны примеры из области истории союза *car* (развившегося из латинского *quare* «по причине каковой вещи»), который может не только вводить придаточные причины или следствия, но также и быть средством сочинения, присоединяя предложение, содержащее мотивировку, пояснение к мысли, высказанной первым предложением. Различное использование этого союза проиллюстрировано автором книги на примерах, начиная с XI в.

При рассмотрении соположения Е. А. Реферовская опирается на высказывания Н. С. Поспелова и С. Г. Ильенко, считая вслед за ними соположением такое бессоюзное соединение предложений, при котором они, находясь в промежутке между двумя точками, не составляют единого смыслового целого, не связываются, не противопоставляются друг другу, но сопоставляются, выражая однородные явления — одновременные или последовательные. Однако между ними может существовать и имплицитная подчинительная связь. Подчинительная связь может существовать и между двумя предложениями, разделенными точкой, но тогда налицо уже не соположение, а присоединение предложений, «посылка вдогонку». Автор приводит большое количество примеров как на соположение, так и на присоединение предложений, которые составляют весьма распространенные явления в современном французском языке. Присоединение может происходить как без помощи союзов, так и с помощью союзов сочинительных (с усилительными наречи-

ями) *et*, *mais*, *donc*, *car*, *or*, *ou*, и подчинительных — *parce que*, *si*; присоединенные предложения могут начинаться с отрицания *ni*: *Je ne tiens pas à te faire «ronronner» comme tu dis. Ni à ce que tu sois béate avec moi* (F. Sagan, Un certain sourire); с союза *que*: *Et je vis qu'il n'avait pas choisi. Qu'il avait déversé pêle-mêle les éditions les plus humbles et les plus rares* (Vercors, Le silence de la mer).

Автор указывает, что возможность такого «расчленения предложения на отдельные предложения и предложения простого на самостоятельно выступающие члены предложения ставит вопрос о границах предложения вообще» (стр. 227). Традиционное учение о предложении,— говорит Е. А. Реферовская,— не дает ответа на вопросы, связанные с несовпадением форм логического мышления с языковыми формами: является ли точка концом предложения и можно ли считать предложениями присоединенные отрезки, стоящие между двумя точками, но не имеющие предикативного ядра? Постепенные дополнения предложения, даваемые как в виде новых предложений, так и в виде отдельных членов предложения — свидетельство того, что мысль формируется постепенно, а вовсе не является реализацией какого-то заранее данного целого большого или сложного предложения, которое было затем искусственно разрублено на части (парцелляция, style haché). Обрастание предложения в ходе повествования все новыми деталями в виде как полных, так и неполных предложений — прием, вошедший в литературу из живой непринужденной речи, для которой характерно свободное обращение с фразой.

В заключение автор дает общую оценку всем рассмотренным в книге фактам синтаксиса современного французского литературного языка, которые, придя из живой речи, способствуют точности выражения, упрощают конструкции, пополняют и обогащают арсенал грамматических средств языка; возникновение же параллельных конструкций дает возможность различного их стилистического использования.

Книга написана живо и увлекательно и содержит много примеров, которые могут быть использованы для разговорной практики на французском языке. Кроме того, книга является важным пособием для тех лиц, изучающих или преподающих французский язык, которые не имеют возможности непосредственно ознакомиться с новейшими работами зарубежных теоретиков по вопросам синтаксиса сложного предложения во французском языке. Книга Е. А. Реферовской ценна не только для исследователей в области синтаксиса французского языка, но и для синтаксистов других языков, для студентов и преподавателей, для всех интересующихся вопросами теории литературы, стилистики и перевода, она интересна и для исследователей вопросов о соотношении языка и мышления, о соотношении содержания и его формального выражения, вопросов об эксплицитных и имплицитных способах выражения связей и отношений и несомненно является вкладом в дело разработки такой важной и новой проблемы, как синтаксис речи.

Касаясь вопроса о предикативности как о факторе, формирующем предложение, автор отмечает, что законченное предложение в том виде, в каком оно проявляется в живой речи, не всегда сводится к предикативному ядру, т. е. сказуемости. Так, на основе рассмотрения фактов, изменяющих синтаксические нормы, автор приходит к ряду замечаний, направленных на углубление и уточнение положений учения о предложении, не прибегая при этом ни к каким методам исследования, кроме традиционных. Книга Е. А. Реферовской — доказательство того, что традиционные методы исследования не изжили себя, но в руках умелого ученого являются точным орудием исследования.

А. А. Смольевский

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1973

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

ОБ АТЛАСЕ БЕЛОРУССКИХ ГОВОРОВ В ПОЛЬШЕ

На северо-востоке Польши, в Белостокском воеводстве, часть населения говорит по-белорусски. Наиболее сходными с белорусским языком являются говоры Дубровского, Сокольского и Белостокского поветов (районов). В говорах, находящихся к югу от реки Нарева, встречаются украинские черты. Во многих деревнях наблюдается билингвизм, белорусские говоры сосуществуют с польскими.

Исследование белорусских говоров Белостокского воеводства с целью создания лингвистического атласа началось по инициативе и под научным руководством А. Обрембской-Яблонской. С 1957 г. оно ведется сектором белорусской филологии Института славяноведения ПАН в Варшаве (до 1969 г. заведующим сектора была А. Обрембская-Яблонская, в настоящее время — Я. Сятковский). Подготавливается к изданию «*Atlas gwarowy wschodniej Białostocczyzny*».

Обследуемая территория занимает приблизительно 7000—8000 кв. км. Изучены говоры 110 населенных пунктов, которые находятся один от другого в среднем на расстоянии свыше 9 км (частота обследованных населенных пунктов в среднем — один населенный пункт на 70 кв. км; см. карту 1). Густота сетки обследованных пунктов не везде одинакова, однако отклонения от среднего расстояния между соседними пунктами небольшие. В части пунктов белорусские говоры сохранились полностью, ими пользуются все жители деревни, в других пунктах на белорусском диалекте говорит только старшее поколение. При сборе материала обследовались все пункты сетки, даже и в тех случаях, когда на белорусском языке говорит хотя бы один уроженец.

Собирание диалектных материалов начиналось по программе, изданной АН БССР в 1950 г. в Минске [1].

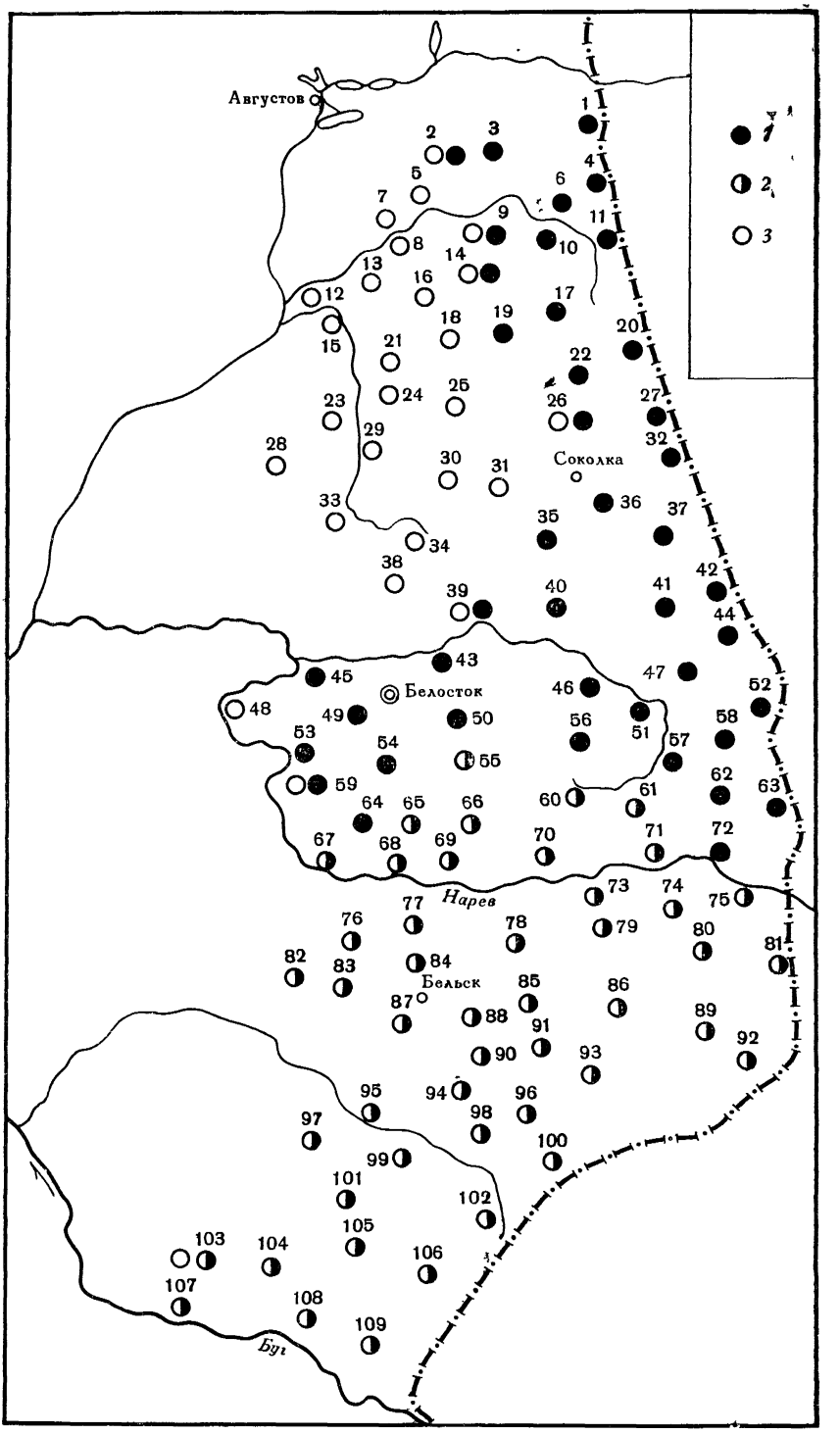
Эта программа хорошо отражает особенности и проблемы белорусской диалектологии. Однако вскоре выявилась необходимость корректирования ее с учетом местных условий. С этой целью был подготовлен новый вопросник, в котором вопросы группировались по тематическим группам, охватывающим разные стороны деревенской жизни — такие, как животноводство, земледелие, обработка льна, хозяйственные постройки, одежда, предметы домашнего обихода и т. д. Вопросник имеет лексический уклон, но его словарный состав подобран так, чтобы можно было получить сведения по фонетике и морфологии. Для многих слов есть вопросы о флективных формах. Таким образом, почти все требования минской программы в новом вопроснике учтены, причем лексическая часть его значительно расширена. Всего в нем около 1700 вопросов. Однако на деле под одним номером нередко дается несколько вопросов о разных флективных формах, и таким образом всего оказывается свыше 2000 вопросов. На последнем этапе работы было прибавлено еще более 100 вопросов.

Исследователи стремились по мере возможности зафиксировать говор самого старшего поколения, однако не всегда удавалось сделать это последовательно.

В собирании материала для Атласа принимало участие более десяти человек: научные сотрудники сектора белорусской филологии Института славяноведения ПАН, сотрудники, выпускники и студенты кафедры белорусской филологии Варшавского университета и др. Участие отдельных лиц в сборе материала было не одинаковым: два научных сотрудника собрали около 65% всего материала, два других — около 20%, все остальные — около 15%. Пять населенных пунктов обследовали подготовленные в области диалектологии бывшие коренные жители этих деревень, материал 3 пунктов коллективно собрали студенты. Сомнительные материалы проверялись впоследствии на местах.

В качестве информаторов отбирались уроженцы данных деревень, люди старшего поколения. Однако там, где белорусский язык мало употребляется, возможности подбора информаторов были

[1] «Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складания Дыялекталогічнага атласа беларускай мовы», Мінск, 1950.

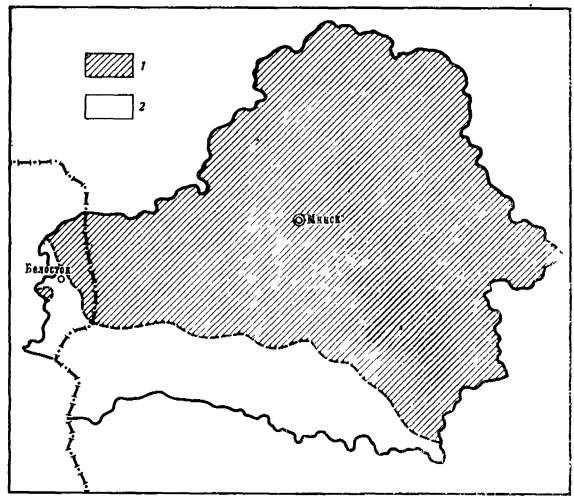


Карта 1. Название валька: 1 — *пра́ник*; 2 — *пра́ч*, *3* — ***кня́нка***

ограничены. Как правило, из одной деревни было несколько информаторов, и только в некоторых пунктах был опрошен один информатор.

Использовались разные методы опроса. Важно было, чтобы информатор хорошо понял, о каком предмете идет речь. Если была возможность, исследователь показывал предмет, спрашивая его название.

В соответствии с подготовленным проектом в Атлас войдет 500 карт, которые будут изданы в нескольких томах. I том Атласа, кроме вступительных статей и справочных материалов, будет содержать карты по фонетике. На них будут показаны ареалы распространения аканья, яканья, цеканья и дзеканья, отвердения согласных, мазураканья и т. д. На некоторых картах будут представлены примеры лексикализованных фонетических явлений. В следующие тома будут включены карты морфологические, лексические и относящиеся к словесному ударению. Бóльшую часть Атласа, т. е. около 300 карт, будут составлять лексические карты. Каждый том Атласа будет сопровождаться комментариями к картам. Карт по синтаксису не предполагается. Конечно, в Атласе найдут отражение не все собранные материалы; они будут храниться в Институте славяноведения ПАН в Варшаве и будут открыты для исследователей.



Карта 2. Аканье в первом предударном слоге: 1 — аканье; 2 — оканье

Подготавливаемый Атлас говоров, с одной стороны, будет территориальным продолжением «*Диалектологического атласа белорусского языка*»[2]; с другой — это областной атлас, в котором широко учитывается местная проблематика.

Территориальное соотношение обоих атласов показано на карте 2. На ней дана изоглосса аканья на территории БССР и ее продолжение на территории Белостокского воеводства.

Одна из специфических областных проблем атласа — вопрос о взаимовлиянии белорусского и польского языков. Эти явления особенно многочисленны в лексике. Ареалы распространения некоторых лексем не всегда совпадают с территорией распространения данного языка. Здесь могут наблюдаться различные отклонения.

На карте 1 представлен случай, когда польское название выступает на территории белорусских говоров. Из трех названий валька: *пра́ник*, *прач*, *кия́нка* — последнее является польским по происхождению. В ДАБМ на соответствующей карте 252 выступают только два названия: *пра́ник* и *прач*.

Бывает и наоборот. Белорусское название чибиса («Vanellus vanellus») *кни́гаўка* (*книгу́та*, *кни́га*) выступает не только на территории польско-белорусского двуязычия, но и на территории собственно польского языка. Может быть и так, что польское название какого-нибудь предмета выступает в некоторых белорусских говорах, а белорусское название этого же предмета в некоторых польских, ср. диалектн. польск. *тлу́цка* и белорусск. *бо́йка* «посуда для сбивания масла».

Много внимания в атласе отводится полосе переходных белорусско-украинских говоров.

В Атласе говоров восточной части Белостокского воеводства не будут полностью картографироваться языковые явления, представленные на картах ДАБМ: для части из них в белорусских говорах Белостокского воеводства диалектных различий не наблюдается. Так, например, «утка» на территории БССР имеет название: *ка́чка*, *ву́тка*, *ву́тва* (ДАБМ, карта 297). В белостокских говорах выступает только *ка́чка* и его фонетический вариант *ка́цка*. Это будет отражено не на карте, а в комментариях. В случае необходимости такой материал будет использован для иллюстрации соответственного фонетического явления (например, *ка́чка*, *ка́цка* для мазураканья). Все слова, по которым не имеется диалектных различий, будут перечислены в отдельном списке.

С другой стороны, в Атлас войдут карты, которых нет в ДАБМ. Некоторые из них будут соответствовать картам бело-

[2] «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», пад рэд. Р. І. Аванесава, К. К. Крапівы і Ю. Ф. Мацкевіч, Мінск. 1963 (далее — ДАБМ).

русского лексического атласа, над которым сейчас ведутся работы в Минске.

Польские говоры восточной части Белостокского воеводства картографировались в «Малом атласе польских говоров»[3]. Однако большинство картографированных там явлений можно понять только в их связи с белорусской средой, после получения подробных данных о белорусских говорах этого района.

Таким образом, перед Атласом белорусских говоров восточной части Белостокского воеводства ставятся следующие цели:

1) зафиксировать данные о говорах, которые на части исследуемой территории уже исчезают;

2) пополнить в территориальном отношении «Диалектологический атлас белорусского языка», изданный в 1963 г., иначе говоря, продолжить изоглоссы этого атласа;

3) дать сведения о полосе переходных белорусско-украинских говоров. В этих говорах сохранилось много архаизмов, что дает возможность изучать языковые процессы на разных стадиях их развития;

4) представить данные, необходимые для исследования польско-белорусских языковых контактов, в частности, особенностей польского языка на белорусском субстрате;

5) отразить факты влияния литовского языка на говоры восточной части Белостокского воеводства.

С. Глинка, М. Кондратюк, И. Савицкая
Перевел с польского *М. Кондратюк*

*

Важным моментом в деле разработки практических и теоретических вопросов сопоставительной грамматики современных языков явилась Международная конференция, организованная Печским высшим педагогическим институтом и состоявшаяся 14—16 октября 1971 г. в г. Пече (Венгерская Народная Республика). На конференции, в которой приняли участие ученые восьми стран, было прослушано свыше 60 докладов и содокладов.

Во вступительном слове зам. директора Института языкознания Венгерской Академии наук Кираль П., отметив вполне понятные трудности в разработке обсуждаемой проблематики, обратился к участникам конференции с призывом интенсивнее вести исследования в области сопоставительной лингвистики, всячески развивая международное сотрудничество ученых.

Разработанный совместно с В. Немсером (Вашингтон) доклад на тему о типологии языков и сопоставительной грамматике прочитал Дежке Л. (Будапешт). В докладе рассматривались современные возможности использования достижений типологии в сопоставительном языкознании и, в частности, при разработке усовершенствованной методики обучения иностранным языкам; особое внимание было уделено также соотношению синхронной и диахронической типологии. Этот основной доклад сопровождался содокладами на тему о методике сопоставления венгерского и сербскохорватского языков (М. Микеш, Новый Сад, СФРЮ), о функциональных моментах в сопоставительном исследовании (Деме Л., Сегед, ВНР), о некоторых вопросах сопоставительных моделей изучения языков (Я. Банцеровский, Будапешт), об интерференции родного языка и сопоставительном описании фонологии двух языков (В. Мах, Прага), о роли латинского языка при усвоении иностранных языков (Бахат Л., Ниредьхаза, ВНР).

Далее работа конференции продолжалась в секциях — славянских, германских и романских языков.

На заседаниях секции славянских языков обсуждалась проблематика, касающаяся взаимоотношений и сопоставления русского, украинского, словацкого, сербскохорватского языков с венгерским и другими иносистемными языками.

В докладе П. Н. Лизанца (Ужгород, СССР), посвященном венгерско-украинским межъязыковым контактам, лексическое взаимопроникновение украинского и венгерского языков рассматривалось в неразрывной связи с историей народов-носителей этих языков.

Бихари Й. (Эгер, ВНР) поделился мыслями о некоторых важнейших проблемах двуязычия, Ференци Д. (Будапешт) проанализировал особенности русского газетного текста информативного характера. Бано И. (Будапешт) рассказал о некоторых проблемах методики лексического сопоставления при обучении иностранному языку.

В сообщении о подготавливаемом русско-венгерском словаре глаголов Палл Э. и Саламин Э. (Сегед) обратили внимание на практическое значение коллективного академического исследования, которое открывает широкие возможности для изучения русского языка иностранцами.

М. Павук (Братислава, ЧССР) критически проанализировал в плане сопоставительного исследования русского и

[3] «Mały atlas gwar polskich», I—XIII, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1957—1970.

словацкого языков новые программы и методические указания по обучению русскому языку и литературе в средних общеобразовательных школах Словацкой Социалистической Республики. Т о в е л ь д и Г. (Печ, ВНР) в докладе о роли и месте сопоставительной грамматики в обучении иностранным языкам подвел некоторые итоги современным исследованиям, пытаясь определить предстоящие задачи и способы работы в этой области.

О функциональных вариантах языка говорил в докладе П е т е р М. (Будапешт), об особенностях сопоставления глаголов действия в русском и венгерском языках сообщил Г а й ц е р Л. (Печ), о методах сопоставительного исследования грамматики словацкого и венгерского языков доложил Я. Г о р е ц к и й (Братислава, ЧССР), сопоставительному исследованию категории определенности посвятила свой доклад К. Б у з а ш и о в а (Братислава), о взаимных словацко-венгерских языковых влияниях проинформировал участников конференции Ф. Ш и м а (Братислава), проблему «общих слов» в речевой практике двуязычия рассмотрел М о к у т е р И. (Будапешт).

Вопросам анализа сопоставимых явлений в венгерском и сербскохорватском языках были посвящены доклады М. М и к е ш (Новый Сад), Й. Б у л ь о в и ч а (Суботица, СФРЮ) и Й. В а й д ы (Суботица).

Подчеркивая лингвистическое и методическое значение элементов сопоставления при обучении иностранным языкам, И. Б е р т о к (Братислава) в докладе о методах сопоставления венгерского и словацкого языков особо остановился на генеалогически обусловленных морфологических различиях этих языков, проследив затем подобные различия в синтаксисе и фонетике. Такие различия требуют своеобразного подхода как при переводе, так и при изучении грамматики и стилистики этих двух языков.

Участники конференции приняли решение интенсивнее разрабатывать теоретические и практические вопросы обучения иностранным языкам, а также шире использовать результаты научно-исследовательских работ по сопоставительной лингвистике в педагогической деятельности.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике.

М. Павук (*Братислава*)

*

24 февраля 1972 г. в Институте языкознания АН СССР состоялось совместное заседание Бюро Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», секторов социальной лингвистики и кавказских языков, посвященное памяти одного из выдающихся лингвистов-кавказоведов доктора филологических наук проф. Е. А. Б о к а р е в а.

Открывая заседание, В. Н. Я р ц е в а подчеркнула разносторонность исследовательских интересов Е. А. Бокарева (иберийско-кавказское языкознание, общее языкознание, интерлингвистика, социальная лингвистика).

В докладе Ю. Д. Д е ш е р и е в а «Основные направления лингвистической деятельности Е. А. Бокарева» указывалось, что ученый разрабатывал проблемы синхронного, сравнительно-исторического, типологического исследования дагестанских языков, комплексные проблемы иберийско-кавказского и общего языкознания, социолингвистики, интерлингвистики, прикладной лингвистики, педагогики и т. д. Наиболее значительными являются труды Е. А. Бокарева по горским дагестанским языкам [1]. В области социальной лингвистики Е. А. Бокарев уделял особое внимание прикладным вопросам социолингвистики в связи с созданием письменности для ранее бесписьменных языков. Ученый активно участвовал в создании алфавитов, в разработке терминологии. Будучи одним из признанных теоретиков эсперанто, Е. А. Бокарев занимал правильную позицию в социальной оценке эсперанто, в определении места интерлингвистики среди лингвистических дисциплин.

С. М. Х а й д а к о в в докладе «Исследования Е. А. Бокарева по дагестанским языкам» отметил большое теоретическое значение, которое имеют попытки ученого восстановить систему общедагестанского языка.

М. И. И с а е в в докладе «Интерлингвистические взгляды Е. А. Бокарева» отметил, что в области интерлингвистики Е. А. Бокареву принадлежат весьма интересные работы [2]. Е. А. Бокарев обосновал возможность применения вспомогательного языка наряду с другими сферами и в сфере художественной литературы.

[1] Е. А. Б о к а р е в, Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959; е г о ж е, Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков, Махачкала, 1961.

[2] См.: О. С. А х м а н о в а, Е. А. Б о к а р е в, Международный вспомогательный язык как лингвистическая проблема, ВЯ, 1956, 6; А. Б е р г, Д. А р м а н д, Е. Б о к а р е в, 64 языка... и еще один, Лит. газ. 28 VIII 68; «Русско-эсперантский словарь» (под ред. Е. А. Бокарева), М., 1966, и др.

М. А. Кумахов говорил о большом внимании Е. А. Бокарева к вопросам описательной грамматики, принципам ее построения. В его трудах глубокое освещение получили проблемы частей речи, склонения, соотношения эргативной и номинативной конструкций предложения в дагестанских языках.

А. К. Шагиров остановился на изучении Е. А. Бокаревым лексики многочисленных языков Дагестана: в фундаментальном труде исследователя «Цезские (дидойские) языки» содержится анализ словарного состава всех пяти бесписьменных цезских языков, а в «Материалах к словарю гунзибского языка» [3] дан краткий гунзибско-русский и русско-гунзибский словарь с пометами исследовательского характера.

Э. Г. Туманян говорила о месте компаративистики в научном наследии Е. А. Бокарева, который считал, что внутригрупповое родство кавказских языков доказано, а межгрупповое родство нуждается в достаточно обоснованных материальных данных. Исходя из звуковой системы праязыка, Е. А. Бокарев определил фонетические процессы, которые были характерны для развития каждого из дагестанских языков в отдельности, начиная с момента распада праязыка.

Т. И. Дешериева отметила большую роль фонологических исследований в творческом наследии Е. А. Бокарева, в ряду которых особое место занимает «Сравнительно-историческая фонетика восточно-кавказских языков», законченная в 1968 г. и пока неопубликованная. Это чисто фонологическое исследование, задачей которого явилась реконструкция фонологической системы нахско-дагестанского праязыка и определение основных закономерностей развития этой системы в дагестанских языках.

Д. Л. Арманд указал основные этапы в эсперантистской деятельности Е. А. Бокарева, который первым из советских ученых был избран членом Международной эсперантистской академии.

Г. А. Климов подчеркнул, что Е. А. Бокарев через всю свою научную деятельность пронес интерес к проблематике теоретического языкознания. Он разрабатывал вопросы методики описательного и сравнительно-исторического анализа бесписьменных языков, теории грамматики, разные аспекты проблемы «Язык и общество».

В. П. Григорьев отметил необходимость подготовки рукописи эсперанто-русского словаря в качестве итогового издания, так как замысел этого словаря был очень глубок и автору удалось его осуществить.

Участники заседания единодушно отметили необходимость публикации неизданных трудов Е. А. Бокарева.

В. Ю. Михальченко (*Москва*)

*

18—19 апреля 1972 г. в Ленинграде состоялось расширенное пленарное заседание Научного совета по лексикологии и лексикографии Отделения литературы и языка АН СССР совместно с Институтом русского языка АН СССР и ЛО Института языкознания АН СССР. На заседании обсуждался Проспект нового академического словаря русского языка [1].

Во вступительном слове Ф. П. Филин (Москва) отметил, что успешное развитие словарного дела может осуществляться только при постоянной заботе о завтрашнем дне лексикографии. Наряду с изданием словарей, надо постоянно вести подготовительную работу над новыми словарями русского языка.

А. М. Бабкин (Ленинград) сообщил, что в Проспекте выдвинут ряд предложений и даны конструктивные решения по узловым и существенным для замысла нового словаря вопросам — таким, как хронологические границы словаря, его нормативность, состав словника, подача фразеологии и др. Рассказав о структуре нового словаря, истолковании значений слов и их употреблении, иллюстративном материале, А. М. Бабкин отметил всю важность этого лексикографического предприятия.

О хронологических рамках будущего словаря говорили почти все выступающие. По замыслу, новый словарь включит лексику «от Пушкина до наших дней». Е. А. Василевская (Москва), И. С. Ильинская (Москва), Д. С. Лихачев (Ленинград), Н. П. Лобан (Минск) и др., отметив, что хронологические границы в Проспекте в общем намечены правильно, рекомендовали все же их уточнить. Следует, в основном, ориентироваться на то, что словарь должен представить словарный инвентарь наших дней.

Говоря о словнике будущего словаря, участники заседания обменялись мнениями по вопросам включения в словарь лексики разных пластов. А. С. Чикобава (Тбилиси), Ф. А. Абрамов (Москва), Г. Г. Мусабаев (Алма-Ата), В. В. Акуленко (Харьков) предло-

[3] См. сб. «Вопросы изучения иберийско-кавказских языков», М., 1961.

[1] А. М. Бабкин, Новый академический словарь русского языка. Проспект, Л., 1971.

жили смелее вводить в новый словарь народные слова, лексику и фразеологию из разговорно-речевой стихии. Широко обсуждался вопрос об отборе для нового словаря специальной лексики из разных областей науки и техники. Ф. А. Абрамов счел правильной установку Проспекта вводить в словарь наиболее употребительную научную лексику. Отбор терминов в новый словарь должен опираться на экспериментальные данные (В. П. Берков, Ленинград), на данные распределительных словарей (Н. А. Андреев, Ленинград). При отборе терминов в толковый словарь предлагалось ориентироваться на учебники для средней школы (А. С. Чикобава, Л. С. Паламарчук, Киев), учитывать широту употребления термина в разных науках (Н. Д. Андреев) и вхождение его в круг общеупотребительной лексики (Е. Н. Толикина, Ленинград), ограничиваться только терминами, которых нет в специальных справочниках (Д. С. Лихачев).

По вопросу о включении архаизмов были высказаны разные мнения. И. С. Ильинская считает, что известная часть архаической лексики пушкинской эпохи должна быть в новом словаре, так как без нее нельзя будет понимать художественную литературу той поры. Л. И. Ройзензон (Самарканд), Р. Р. Гельгардт (Калинин), Р. М. Цейтлин (Москва) говорили о том, что лексика и фразеология Пушкина и его современников, перешедшая сейчас в пассивный фонд, не должна входить в новый словарь. Участники заседания — представители национальных республик З. Б. Мухамедова (Ашхабад), Г. Г. Мусабаев, Л. С. Паламарчук и др. подчеркнули важность выработки хорошего словника нового словаря как будущей основы для составления русско-национальных словарей.

В ходе заседания обсуждалась также структура словарной статьи. Е. А. Василевская высказалась в пользу того, что в одной статье следует помещать видовые пары глаголов, парные соответствия типа *лифтер-лифтерша* и др., но не прилагательные и наречия; она предложила показать в словарной статье стилистическое функционирование слова. Н. П. Лобан рекомендовал расширить в словарной статье показ сочетаемости. О необходимости грамматического, акцентуационного комментария в словарной статье, а также указаний на социальную сферу применения слов говорил В. В. Акуленко. Разработке производных слов в словаре посвятила свое выступление Е. А. Иванникова (Ленинград). О лексикографической разработке глагольного вида говорил А. В. Бондарко (Ленинград). А. К. Рейцак (Таллин) предложила увеличить информацию о слове за счет включения в словарную статью дополнительных сведений: латинское обозначение названий растений и животных, параллельные интернациональные названия или формулы к русским названиям химических элементов.

Вопросу литературной нормы и отражению ее в новом словаре русского языка уделили внимание академики А. С. Чикобава и Д. С. Лихачев, писатели Ф. А. Абрамов и Л. В. Успенский (Ленинград) и др. Вопрос об изменчивости литературной нормы обсуждался в выступлениях Л. И. Ройзензона, Д. И. Арбатского (Ижевск), Р. Р. Гельгардта, Л. С. Паламарчука и др. В. В. Акуленко полагает, что норму для будущего словаря нужно определять перспективно.

Каким должно быть толкование слов в новом словаре? По мнению Г. Г. Мусабаева, в новом словаре должен присутствовать элемент энциклопедизма, и многие слова (особенно — редкие) требуют более широкого толкования и объяснения, чем это до сих пор делалось в словарях. В. Г. Гак (Москва) считает, что определения слов в новом словаре совершенно необходимы, но они должны быть просты. А. С. Чикобава предлагает использовать разные типы толкований слов. А. А. Оруджев (Баку), И. С. Ильинская рекомендовали основательно пересмотреть существующую систему стилистических помет для нового словаря. Д. И. Арбатский призывал повысить научный уровень определений, а также обратить внимание на дифференцированное толкование слов.

Об объеме и характере словарной статьи говорили В. П. Берков, А. П. Евгеньева (Ленинград) и др. Касаясь вопроса иллюстрирования слов в новом словаре, отбора источников, из которых берутся цитаты, большинство выступавших высказалось за экономную подачу иллюстративного материала, одобрив использование словосочетаний для иллюстрирования.

В Проспекте было выдвинуто предложение об отделении фразеологии от лексики и их самостоятельной разработки в отдельных томах (9—10 томов будет посвящено лексике и 2—3 — фразеологии). Выступавшие по этому вопросу заняли полярные точки зрения. Одни [Е. А. Василевская, Г. К. Гаспарян (Ереван), Л. И. Ройзензон, А. В. Кунин (Москва)] одобрили раздельную подачу лексики и фразеологии, другие [Г. Г. Оруджев, И. С. Ильинская, А. С. Чикобава, М. Н. Чабашвили (Тбилиси), Д. С. Лихачев, Л. С. Паламарчук, З. М. Магруфов и Г. Н. Михайлов (Ташкент), Н. П. Лобан] сочли такую подачу фразеологии неудобной, затрудняющей пользование данным словарем.

Подводя итоги, Ф. П. Филин сказал, что характер будущего словаря вырисовывается довольно четко. Он должен быть нормативным, т. е. в нем должны быть слова, отвечающие нормам современного словоупотребления. Новый словарь будет создаваться на базе произведений как современных писателей, так, безусловно, и на произведениях классиков, начиная с Пушкина. Естественно, за пределами словаря останутся архаизмы и то, что умерло, не выдержав испытания временем. В новом словаре будет отражена та часть терминологии из области науки и техники, которая прочно вошла и входит в нашу жизнь. Будущий словарь должен значительно превзойти 17-томный словарь по количеству слов. Однако увеличения числа томов не произойдет. Читатель получит компактный академический словарь. Объем словаря сократится до 10—12 томов. Материал будет подан более экономно, концентрированно. Например, длинные цитаты уступят место коротким словосочетаниям, будут использованы и другие лексикографические приемы экономной подачи материала.

В заключительном слове А. М. Бабкин поблагодарил выступивших за пожелания и рекомендации, которые были высказаны в ходе обсуждения. Он сказал, что материал заседания будет обсуждаться и изучаться в коллективе ленинградских лексикографов и все ценное будет учтено при работе над новым словарем.

Участники совещания приняли решение опубликовать материалы расширенного пленарного заседания и возобновить издание «Лексикографических сборников» (Бюллетеней).

В. Н. Сергеев (*Ленинград*)

*

Заседание Сектора кавказских языков Института языкознания АН СССР 23 мая 1972 г. было посвящено 80-летию со дня рождения одного из крупнейших советских кавказоведов Н. Ф. Яковлева.

Во вступительном слове Г. А. Климов подчеркнул, что творческое наследие Н. Ф. Яковлева, которому была свойственна основательность в систематизации языкового материала, широта научных интересов, сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Безусловны заслуги Н. Ф. Яковлева в области фонологии (критика психологизма фонемы), известны его работы по глоттогонической проблематике, по вопросу о генезисе эргативной конструкции предложения. В сфере лигвистических интересов Н. Ф. Яковлева были абхазо-адыгские языки, нахские, некоторые дагестанские. Н. Ф. Яковлеву принадлежит одно из интересных открытий в трудной области междугрупповых взаимоотношений кавказских языков (а именно: сопоставимая в абхазо-адыгских и картвельских языках роль словообразовательного префикса *m-/ma-*, образующего в обеих группах имена от глаголов и реже — от других имен).

М. А. Кумахов остановился на вкладе Н. Ф. Яковлева в изучение фонетики абхазо-адыгских языков в описательном синхронном плане (менее удачны у него исторические экскурсы). Н. Ф. Яковлева с полным правом можно считать одним из создателей МФШ. Н. Ф. Яковлев разрабатывал также грамматики абхазо-адыгских языков, главным образом — синтаксис. Большое внимание ученый уделял лексике, где влияние на него Н. Я. Марра особенно ощутимо.

Исследованиям Н. Ф. Яковлева в области лексики было посвящено выступление А. К. Шагирова. Н. Ф. Яковлевым впервые а) дана характеристика исконной лексики адыгских языков с точки зрения ее бедности и богатства; б) выделены односложные слова и корни типа *CV*, дана их фонетическая характеристика и определен круг обозначаемых ими понятий; в) односложные корни разделены на самостоятельные и несамостоятельные.

С. М. Хайдаков отметил широкий диапазон знаний Н. Ф. Яковлева, особенно в области фонологии, благодаря чему, в частности, принцип построения алфавитов, разработанный ученым, остается в силе до настоящего времени. Был отмечен также глубокий подход Н. Ф. Яковлева к проблемам общей теории языкознания.

Т. И. Дешериева сконцентрировала внимание на ценном вкладе Н. Ф. Яковлева в области изучения нахских языков, где он известен, прежде всего трудами по грамматике, главным образом — синтаксису [1]. Одним из результатов его исследований по прикладной лингвистике является статья «Математическая формула построения алфавита» [2]. Т. И. Дешериева предложила уточнение в написании предложенной ученым формулы, считая целесообразной такую ее запись: $А = (С + Г) - (\pm С' \mp \mp Г') + (0V1)$. Благодаря этому формула приобретает универсальность, т. е. пригодность для применения в языках с различной структурой слога. Было предло-

[1] Н. Ф. Яковлев, Синтаксис чеченского литературного языка, М.— Л., 1940; его же, Морфология чеченского литературного языка, М., 1960; его же, Синтаксис ингушского языка (ркп).

[2] В кн.: «Культура и письменность Востока», М., 1928, стр. 41—64.

жено также алгоритмизировать процедуру применения формулы.

Ю. Д. Дешериев отметил, что с именем Н. Ф. Яковлева — одного из крупнейших кавказоведов и лингвистов-теоретиков — связан целый период в исследовании горских иберийско-кавказских языков. В итоге почти 30-летней деятельности на поприще кавказоведения он создал и опубликовал фундаментальные труды, посвященные почти всем уровням структуры ряда иберийско-кавказских языков. Н. Ф. Яковлев являлся одним из ведущих теоретиков и организаторов языкового строительства в нашей стране. Его основные теоретические установки по вопросам фонемы, фонологической системы языка сыграли большую роль в создании письменности для ранее бесписьменных народов и в замене средневековых несовершенных алфавитов более совершенными и удобными для народов СССР. Заслуживают внимания его этнографические исследования (особенно очерки об ингушах). Н. Ф. Яковлев чутко относился к подготовке научных кадров. Творческий путь Николая Феофановича,— сказал в заключение Ю. Д. Дешериев,— был тернистым, как и любого большого ученого. Не всегда сопутствовала ему удача. Имели место промахи, заблуждения. Но он всегда оставался страстным, влюбленным в свое дело, принципиальным исследователем.

На заседании подчеркивалась необходимость изучения творческого наследия Н. Ф. Яковлева, целесообразность издания его неопубликованных работ. В заключительной части заседания выступили С. М. Хайдаков с сообщением «К вопросу об образовании личного спряжения в дагестанских языках» и А. К. Шагиров с сообщением «Этимология адыгейского глагола *пшъэрыхъан* „готовить пищу“».

Т. И. Дешериева (*Москва*)

*

С 10 по 21 января 1972 г. в Мозжинке (под Москвой) проходило совещание по формальной морфологии и словообразованию, в котором приняли участие сотрудники Института языкознания АН СССР, Института русского языка АН СССР, Лаборатории машинного перевода МГПИИЯ им. М. Тореза и Института прикладной математики АН СССР. Совещание было организовано Проблемной группой по экспериментальной и прикладной лингвистике, созданной в 1969 г. по решению Бюро ОЛЯ АН СССР при Институте русского языка. По форме организации и научному содержанию совещание явилось продолжением 1-й лингвистической зимней школы, которая проводилась в Москве — Дилижане в 1970 г.[1]

Основной целью совещания было обсуждение принципиальных сторон формальной модели русской морфологии и создание системы правил глагольного словоизменения. Для глагола должна была быть решена задача автоматического получения любой словоформы от любой лексемы, которая применительно к имени решалась в брошюре Н. А. Еськовой, И. А. Мельчука, В. З. Санникова «Формальная модель русской морфологии. 1. Формообразование существительных и прилагательных» (М., 1971)[2]. На входе данной модели находится глубинно-морфологическое представление (ГМП) словоформы, из которого в результате серии последовательных переходов должна быть получена реальная словоформа в орфографической записи. ГМП глагольных словоформ (исходные задания) включают имя лексемы, записанной в форме инфинитива, и набор конкретных значений глагольных словоизменительных категорий (характеристику). Кроме того, указываются морфологические признаки, характеризующие данную лексему как целое, т. е. необходимые для образования всех возможных форм (эта часть называется синтактикой). В состав синтактики глагольной основы вводятся, например, такие признаки, как переходность, обязательное наличие *-ся* (ср. *смеяться*), некоторые сведения о способе образования видов у данной лексемы, указания на нестандартность или неполноту парадигмы (например, «только сов. в.» при лексеме *хлынуть*, «нет 1 л. ед. ч. наст. вр. изъяв. накл.» при *победить*), указание на тематичность — атематичность основы.

На основе исследования возможной и обязательной сочетаемости значений переменных морфологических признаков был составлен список правильных, т. е. реализующихся в русском языке ГМП глагольных словоформ. Примером правильного ГМП с минимальным набором признаков в характеристике (синтактика опущена) может служить *делать* инф., несов., возвр., из которого по правилам должна возникнуть словоформа *делаться*.

Система переходов от ГМП к конкретной словоформе предусматривает следующие шаги: переход от ГМП к цепочке морфем с упорядочением их в линейной последовательности; переход от каждой морфемы к представляющему ее морфу; постановка ударения; выполнение морфонемных преобразований; переход

[1] Сообщение об этом см. в сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 13, М., 1970.

[2] Первоначально эта модель описания была разработана И. А. Мельчуком на материале венгерского и испанского языков.

к орфографическому виду словоформы.

Поскольку русской морфологии, и особенно глагольной, в большой степени свойственна фузионность, уже при формулировании правил перехода от ГМП к цепочке морфем приходилось решать достаточно сложные задачи. Представление о характере принимавшихся решений может дать следующий пример.

Какой набор морфем необходим для реализации синтетических личных форм изъявительного наклонения? Как и в другие глагольные словоформы, в словоформы этой группы входят морфемы: «основы» (она равна либо корню, либо словообразовательной основе глагола и в этом случае бывает неодноморфемна), темы (она представлена в тематических глаголах, причем при соответствующих условиях на морфном уровне тема может целиком усекаться), вида (см. ниже) и возвратности (в случае страдательного залога). Специфическую часть морфемного состава словоформ изъявительного наклонения, по принятому решению, составляют либо морфема {изъяв. прош.} + одна из морфем {число. род} (в ряду: (*с*)*делал* — (*с*)*делали*), либо одна из морфем {изъяв. непрош. число. лицо} (в ряду (*с*)*делаю* — (*с*)*делают*). Таким образом, ряд признаков был объединен в означаемом «слитных» морфем, так как каждый из них в отдельности — отдельно изъявительное наклонение, отдельно прошедшее время и т. д.—не имеет своего означающего, и было признано нецелесообразным вводить здесь морфные «нули», выделяя дополнительные морфемы. Кроме того, в модели реализовано уже выдвигавшееся в литературе положение, согласно которому система русских времен строится на противопоставлении прошедшего/непрошедшего времени resp. соответствующих морфем.

В правилах перехода от морфем к морфам были учтены разные типы отношений между морфами одной морфемы. Если один морф может быть выведен из другого — представляющего — по правилам чередований, то выбор регулируется условиями применимости этих чередований. В других случаях устанавливаются условия распределения двух и более представляющих морфов (например: *ут*/*ат* {изъяв. непрош. мн. 3}, *л*/*ø*{изъяв. прош.}, *ся*/*сь*{возвр.}, *ть*/*ти*/*чь* {инф.}).

В качестве морфов одной морфемы в модели рассматриваются тематические элементы. Указание о выборе соответствующего морфа записывается в синтактике глагольной основы, если глагол не является атематическим и если он не образует обе видовые формы при помощи суффикса (типа *вскрикнуть* — *вскрикивать*), который, присоединяясь, приносит с собой тему. В правилах отражены регулярные мены тем. Темам свойственны также определенные чередования. Таким образом, авторы не идут по пути приписывания глаголу двух основ, но выводят все вариации глагольной основы из одной.

Правила постановки ударения строились на основе следующих предпосылок. Глагольная словоформа с точки зрения акцентуации трехэлементна: основа — тема — флексия. Ударение может быть постоянным — на основе (*a*), флексии (*b*), теме (*d*) — или подвижным (*c*). В описание глагольного ударения Н. А. Еськовой были введены три подпарадигмы: I — личные формы непрош. времени и пов. наклонения, действ. причастия и деепричастия несов. вида; II — личные формы и действ. причастия прош. времени, инфинитив и деепричастия сов. вида; III — страд. причастия прош. времени. Ср., например, *зарубить* — *1c2d3a* (подвижное в I подпарадигме; на теме — во II, на основе — в III) и *делать* — схема *a* во всех трех подпарадигмах.

В программу совещания были включены также вопросы, касающиеся места словообразования в системе последовательных переходов от смысла к тексту. Обсуждался конкретный вид правил словообразовательного синтеза, их соотношение с системой лексических функций, с одной стороны, и системой словоизменения, с другой.

Граница между словообразованием и словоизменением внутри создаваемой модели была проведена так, что к словоизменению были отнесены все обязательные для определенного морфологического класса единиц формы, характеризующиеся регулярными отношениями в области означаемого. Поэтому в словоизменении как залоговые рассматриваются лишь формы актива/пассива; как видовые — формы, связанные лишь видовыми отличиями. Глагольные образования с префиксами, вносящими вместе со значением сов. вида менее регулярные значения, порождаются в словообразовании и в морфологию поступают в качестве основ, обладающих внутренней перфективностью; «непассивные» глаголы с аффиксом *-ся* также приходят из словообразования как обладающие внутренне присущей им возвратностью.

Возникающая при таком подходе потребность в понятии «внутренне присущего вида» не ограничивается, однако, лишь префиксальными глаголами. Признак наличия того или другого «внутренне присущего вида» введен в модель в качестве классификационного признака глаголов. Выделены четыре класса: внутренне перфективные (исходный сов. вид.) — *заработать*/*зарабатывать*, *решить*/*решать*; внутренне имперфективные (исходный несов. вид) — *делать*/*сделать*; внутренне перфективно-имперфективные — *казнить*; не имеющие внутренне присущего вида — *вскрикнуть*/*вскрикивать*.

Эта классификация задает условия применимости различных правил видообразования в конкретных лексемах. Она отражает также тот важный со структурной точки зрения факт, что в определенных группах словоформ — сов. или несов. вида соответственно у разных глаголов — отсутствует «отдельный» морф для выражения вида, в то время как противоположный вид у тех же глаголов обычно включает аффикс вида. В описание структуры первой группы словоформ И. А. Мельчук предложил ввести понятие мегаморфа, т. е. морфа, означающее которого «покрывает» означаемые двух морфем. Особый подкласс составляют глаголы типа *решить — решать*. Мена тем здесь, по мысли И. А. Мельчука, может быть подведена под общеморфологическое понятие конверсии.

Итогом совещания было создание предварительного варианта описания формальной морфологии русского глагола.

Е. В. Красильникова (*Москва*)

CONTENTS

Articles: R. A. B u d a g o v (Moscow). A contribution to the theory of syntactic relations; **Discussions:** G. V. K o l š a n s k i j (Moscow). The functions of paralinguistic means in language communication. N. I. Ž i n k i n, V. N. S o b o l e v, L. N. K h r o m o v (Moscow). The work of the larynx while pronouncing intervocalic voiceless stops in Russian; L. V. B o n d a r k o, L. A. V e r b i c k a j a (Leningrad). On phonetic characteristics of post-accentuated inflections in modern Russian; **Materials and notes:** L. P. D u l s o n (Tomsk). The origin of case-affixes in the Altaic languages; L. A. G i n d i n (Moscow). Problems of antique balkanistics; B. B. K h o d o r k o v s k a j a (Moscow). The root-type perfect and the structure of the verbal root in Latin; L. N. M a k a r o v a (Kirov). Contribution to the history of affricates in Russian; **Linguistics in Union Republics:** S. K. K e n e s b a j e v, A. T. K a i d a r o v (Alma-Ata). The Kazakh linguistics during 50 years; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: R. П. B o u d a g o v (Moscou). Contribution à la théorie des relations syntactiques; **Discussions:** G. V. K o l š a n s k i j (Moscou). Fonctions des moyens paralinguistiques dans la communication linguistique; N. I. Ž i n k i n, V. N. S o b o l e v, L. N. K h r o m o v (Moscou). Le travail du larynx pendant la prononciation des occlusives sourdes intervocaliques en russe; L. V. B o n d a r k o, L. A. V e r b i c k a j a (Léningrad). Caractéristique phonétique des flexions post-accentuées en russe moderne; **Matériaux et notices:** A. P. D o u l z o n (Tomsk). L'origine des affixes des cas dans les langues altaïques; L. A. G i n d i n (Moscou). Problèmes de balkanistique antique; B. B. K h o d o r k o v s k a j a (Moscou). Le parfait radical et structure de racine verbal en latin; L. N. M a k a r o v a (Kirov). Contribution à l'histoire des affricates en russe; **Linguistique dans les Républiques Fédérées:** S. K. K e n e s b a j e v, A. T. K a i d a r o v (Alma-Ata). Linguistique kazakh pendant 50 ans; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их — в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями; все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» is deeply obliged to the Publishing Houses who send us their books for review. The Editorial Board announces that it cannot guarantee the reviewing of all the books received at the Editorial office. The critiques will be published according to the possibilities of our journal. Two offprints will be sent to the Publishers. Books received are not sent back.

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 30/X-1972 г. Т-01208 Подписано к печати 10/I—1973 г. Тираж 7130 экз.
Зак. 1340 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0. Бум. л. 5,0. Уч.-изд. л. 16,0

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10